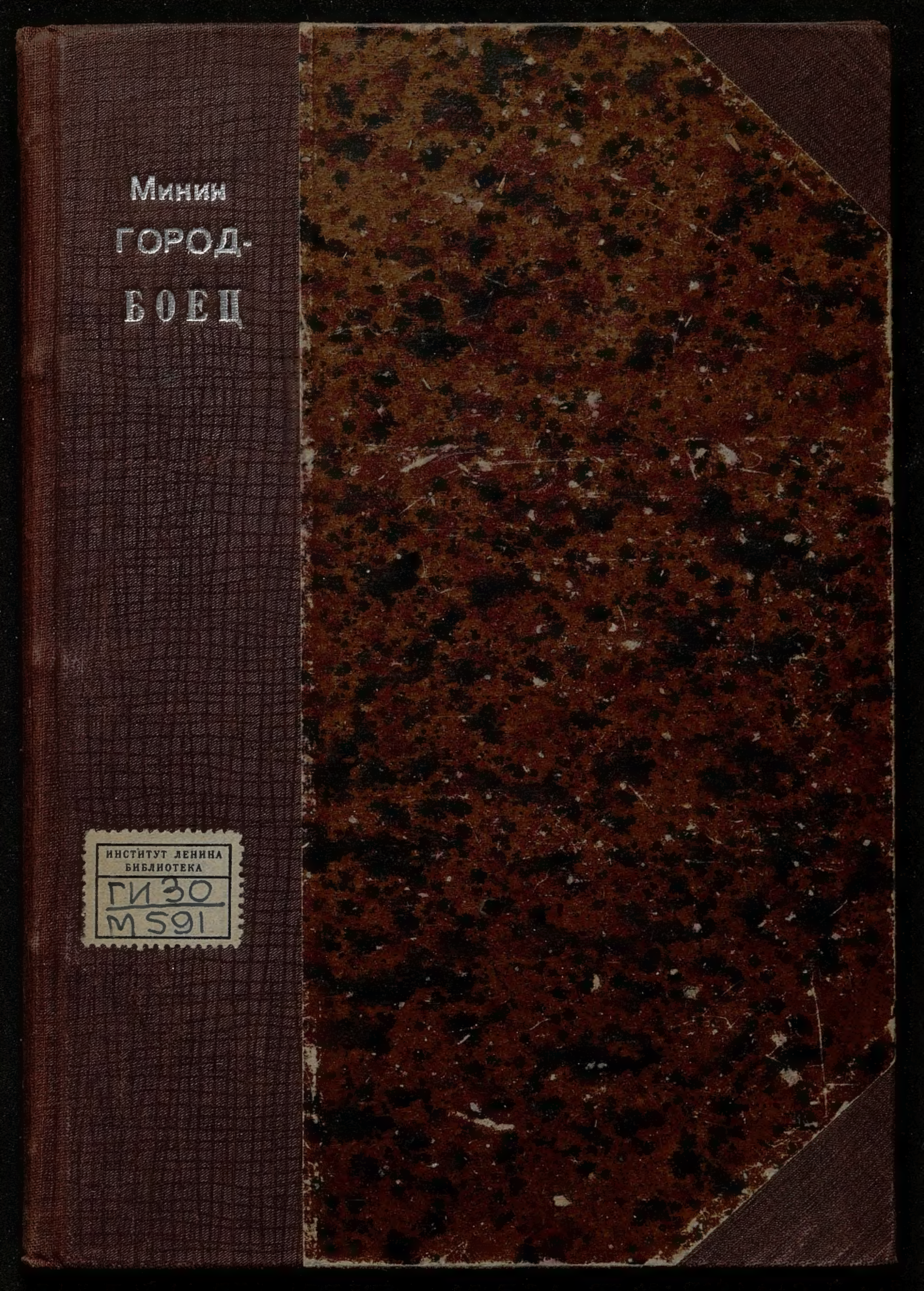


ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА
ГИ 30
М 591

С. К. МИНИН

ГОРОД-БОЕЦ

ГИЗО
М591

ИЗД-ВО
ПРИБОЙ
ЛЕНИНГРАД

—Сергей Пожарский—

ПИ30 р
М 591

С. К. МИНИН

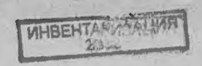
ГОРОД-БОЕЦ

ШЕСТЬ ДИКТАТУР 1917 ГОДА

(ВОСПОМИНАНИЯ О РАБОТЕ В ЦАРИЦЫНЕ)

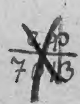
РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД :: 1925





ГИЗО
М591 Р





БИБЛИОТЕКА
ИМЭЛ
[redacted]

98380

Ленинградский Гублит № 12575. Тираж 10.130—16 л. Зак. № 108.

Вернемте прошлое...

Мчится время. Неутомимо вращается колесо истории. Вот промелькнула и еще одна годовщина великой революции. Промелькнула и поставила на место прежних — новые задачи, не менее важные, не менее трудные, но также и не менее ослепительные и захватывающие, чем за пережитые четыре года.

Новые задачи это — новая работа, новая борьба, это — опять напряжение сил, опять неослабное внимание, новые победы, но попутно также и новые потери.

Мчатся годы, решаются великие проблемы. Одерживаются колоссальные победы, а вместе с этим неудержимо и незаметно меняется состав участников, творцов и выразителей небывалой эпохи.

Ветераны партии... С каждым годом и с каждым месяцем их становится все меньше и меньше. Участники переворота в конце 17-го года. Они также выбывают из строя. А поскольку те и другие остаются в строю в качестве ли рядовых или на командных постах — они так поглощены текущей работой, так охвачены жаждой победоносно решить новые и новые задачи, что прошлое, даже такое блестящее, даже такое близкое, как эти промелькнувшие первые годы великой революции, уплывают из памяти.

Яркие когда-то образы превращаются в бледный снимок плохой фотографии. Нить потрясающих когда-то событий становится тоньше, разрыхляется, а потом и порывается во многих местах.

Кто не знает, что пренебрежительно или по необходимости оставленное без внимания прошлое постепенно превращается в сухой комочек, маленький орешек с твердой скорлупой, раскусив который, иной раз мы находим уже нес'едобное зерно. Вот о чем пора пожалеть и пожалеть искренно, от всего сердца.

Ведь прошлое это — регулятор настоящего, это — факел будущего. Даже для старой гвардии коммунизма, для ветеранов. Даже для непосредственных участников переворота и первых лет его развития.

А для тех, кто лишь в последующие годы стал сознательным борцом или даже членом партии?

Как многие из молодых коммунистов не знают, что коммунист должен быть также большевиком, а быть большевиком это значит быть революционным марксистом, т.-е. в первую очередь понимать и знать борьбу классов. Но где же лучше всего и прежде всего научиться понимать и знать борьбу общественных классов, как не на эпохе величайшего в истории переворота, который в самых основах потряс буржуазное общество и с невиданной ясностью и силой обнажил всю непримиримость интересов общественных классов старого мира... Да, наконец, не забудем и о грядущих поколениях. Конечно, для последних важнее всего, чтобы мы сейчас отстояли революцию до конца, чтобы развернули ее в международном масштабе. Это правда, но, с другой стороны, как раз именно для указанной-то цели и необходимо и для будущего, отдаваясь целиком настоящему, не забывать пренебрежительно или легкомысленно прошлого.

Мы учились раньше, главным образом, в прогимназии буржуазной французской революции конца XVIII века и на красных курсах Парижской коммуны 1871 года. В этих двух школах, кроме повседневной борьбы, прежде всего и постигал пролетариат анатомию, физиологию и патологию капиталистического общества. В этих двух школах больше всего пролетариат и научился быть хирургом и могильщиком старого мира.

А теперь, после повторительных курсов революций 1848 и 1905 г.г., история распахнула перед нами двери университета величайшего в мире переворота октября—ноября 1917 года.

Вернемте же прошлое.

Не для того, чтобы его переделывать с начала: в этом природа отказала человеку. И не для того, чтобы только воспевать победы или чтобы каяться в ошибках.

Нет. Вернемте его в памяти, восстановим его в воображении со всем тем беспристрастием, которое так свойственно пролетариату и его авангарду, но также и со всем тем энтузиазмом, который озаряет нашу славную эпоху возрождения всего человечества.

А вспомнить есть что, и для записи материал, даже отобранный, даже ценнейший, — неисчерпаем. И материал этот имеется не только у руководителей, не только у командного состава пролетариата или его партии, но и у бесчисленного

множества рядовых участников революции и первых лет ее обороны. Но проложить путь, но показать пример должны, разумеется, прежде всего те, кто был на гребнях событий, перед кем открывалось широчайшее поле действия или наблюдения, или того и другого вместе. А вслед за ними или вместе с ними пусть в универсальную библиотеку революции принесут свой труд и менее заметные участники или наблюдатели событий — вплоть до самых рядовых и доселе безыменных.

Урвемте же хоть частицу времени у настоящего и хоть на миг оглянемся назад. Настоящее от этого потеряет немного. Но за эту потерю вознаградит нас с избытком прошедшее.

Вернемте же его.

Январь 1922 г.

I. Город-подросток.

Не дожидаясь, пока освещена будет полностью революционная история наших столиц и крупнейших и старинных провинциальных центров, я хочу набросать краткую биографию одного города, расположенного на окраине республики. Город этот невелик и, сравнительно, очень молод: город-подросток. Но подростку этому суждено было играть в известные моменты революции довольно-таки заметную роль. К нему обращались взоры широких рабочих масс и на него же обрушивались лютая ненависть и бешеная травля, а потом и вооруженные атаки буржуазно-помещичьей контр-революции.

Словом, я хочу рассказать о Царицыне.

До февральской революции Царицын ничем особенным себя в революционном движении не проявил, вероятно по причине своей необычайной молодости. Основан-то он, говорят, очень давно, но вот, по данным одной местной газеты, в 1862 году в посаде Дубовке (50 верст выше города по Волге) населения было 14 тысяч, а в Царицыне только семь тысяч — вдвое меньше. Зато через пятьдесят каких-нибудь лет к моменту февральской революции в Посаде насчитывали жителей 30, а в городе уже 200 тысяч, т.-е. в семь раз больше. До проведения железной дороги Дубовка была на юго-востоке важнейшим перевалочным пунктом для товаров, шедших по Волге на Дон и с Дона на Волгу. После проведения железной дороги, особенно, когда Царицын стал узловой станцией трех дорог (Юго-Восточной, Донецкой и Владикавказской), а также в связи с развитием пароходства на Волге, Царицын не только перехватил у конкурента-посада весь транзит между Волгой и Доном, но стал узлом крупнейших водных и железных путей, которые соединяли Астрахань и Москву, Владикавказ и Нижний, Донецкий бассейн и верховья Волги.

Расположенный географически необычайно счастливо (там, где западное колено низовьев Волги подходит всего на 60 верст к восточному колену Верхнего Дона), Царицын стал расти не по дням, а по часам.

Безземельная, безлошадная, безинвентарная деревенская беднота ринулась в город на заработки и вместе с немногочис-

ленными старыми или иммигрантами рабочими заложила основание царицынскому пролетариату. Город-подросток и пролетариат-юнец...

Вот почему, когда, не говоря уже о столицах, Ростов устраивал свою «неделю» (1902 год), а по всему югу гремела политическая стачка (1903 год), в Царицыне было, по внешности, тихо и спокойно. Температура фабричного котла далеко не поднялась еще до точки кипения, и только весной 1905 года там появились первые заметные признаки политической забастовки и демонстрации. Лишь с осени того же года загорается широкая, но неглубокая политическая жизнь, которая, однако, к лету 1907 года снова замирает, чтобы надолго уступить место мракобесию Илиодора. Этот политический перевертень и церковный фокусник увлекает за собой не только сытых купчих, промозглых мещан и тупых обывателей, но также значительную часть рабочих, особенно женщин. Причина — необычная молодость и недавнее деревенское происхождение пролетариата.

Однако, в двадцатых числах августа 1914 года второй раз (после первого мая 1906 года) мостовые улиц были обагрены кровью невинных: из-за столкновения родственниц мобилизованных с полицией, рота Бобруйского полка открыла в центре города стрельбу, при чем убито было на месте 20 и умерло от ран 5 человек. Вот когда было положено начало будущего антимилитаризма красного города.

К моменту февральской революции царицынский пролетариат был в боевой готовности и походил на туго заведенную пружину. Не стары были его года, но мужал он ускоренным темпом, так как предприятия росли быстро, насаждались в крупном масштабе и сосредоточены были на сравнительно небольшой площади города, который, вместе с пригородами, кроме того, представлял собою сплошной узел и густой перекресток железных и водных путей юго-востока.

Не будучи губернским городом, Царицын к февральской революции примкнул третьим по счету в ряду губернских городов.

Город-подросток стал взрослым воином и нанес дряхлому режиму свой первый стальной удар.

II. Крупнейшие факты из биографии города.

С момента февральской революции Царицын, идя, разумеется, в общей линии развития со всей страной, в то же время обнаруживает особенности, которые и привлекли к нему такое усиленное внимание как друзей, так и врагов.

1917-й год... За 12 месяцев этого года Царицын пережил шесть политических режимов: 1) царизм, 2) диктатуру крупной буржуазии, 3) власть мелкой буржуазии, 4)диктатуру большевиков, 5) интервенцию казаков и юнкеров из Саратова и, наконец, опять 6) диктатуру пролетариата.

К концу 1917 года диктатура рабочего класса утверждается бесповоротно. В декабре сламывается единственный крупный саботаж контр-революционных почтово-телеграфных чиновников, а к концу месяца национализируется первое крупное предприятие — лесопильный завод Максимова, бежавшего к белым.

Но в конце того же месяца и года — 30 декабря генерал Каледин на Войсковом Круге в Новочеркасске определенно заявил, что казачий Дон должен захватить и присоединить к себе Царицын. На город был об'явлен поход.

1918 год и январь — июнь 1919 г. За эти 18 месяцев город ликвидировал один крупный заговор, подавил два восстания и разрывал пять раз кольцо осады. И, наконец, 29 июня 1919 года, не выдержав шестой осады, достался врагам, не только в силу собственного изнеможения, но и благодаря дезорганизации в соседней армии.

Июль — декабрь 1919 года — полгода диктатуры и мести барона Врангеля и генерала Деникина.

Взяв Царицын, Деникин тотчас об'явил поход на Москву.

Однако, 3 января 1920 года ему пришлось покинуть Царицын.

С этого момента и до настоящего дня город опять нашел ту форму власти, которую в нем поддерживало подавляющее большинство населения.

III. На тот же фронт.

Февральская революция застала меня в Москве. Но через несколько дней после переворота я стал получать телеграммы от старых соратников с приглашением опять приехать в Царицын. Москва влекла меня, но в то же время страстно хотелось быть в эти дни там, где, при царизме, трижды насильственно обрывалась моя революционная работа. Я решил поехать. Вот и вокзал, улица, площади, где так еще недавно царили жандармы, свистела казачья плеть, безобразничали полицейские стражи... Теперь этой нечисти не было. Но... город все же разочаровал меня своей внешностью. Правда, кое-где виднелись революционные плакаты. У входа в аудиторию «трезвости», где еще в 1905 году бывали митинги, свободно стояли красные знамена. Но это не то. Этого слишком

мало. Хотелось, чтобы в эти дни, великие исторические дни свержения монархии, даже улицы, здания, мостовые выглядели совершенно иначе, как-нибудь совсем празднично.

Однако, этого не было. Даже казалось иногда, особенно в этот сумрачный и серый вечер середины марта, что вот подойдет к извозчику какой-нибудь старый знакомый жандарм и скажет: «Остановитесь. Вы арестованы»...

Адрес одного большевика-рабочего оказался в телеграмме искаженным. Куда же теперь? Ездить по старым адресам — это едва ли будет иметь успех. И я направился к старому знакомому врачу Н. С. Розанову. Я знал уже, что он теперь глава буржуазного городского исполнительного комитета. Когда-то,



Царицынская тюрьма.

12 лет назад, мы с ним организовывали первые митинги, потом по одному делу он сидел с нами в тюрьме, там же от эс-эров перешел к нам и опять покинул нас во время судебного процесса и после своего оправдания. На процессе в 1907 г. держался очень сепаратно, что отметил даже прокурор, хотя потом в черные 1909—10 годы снова оказывал нам, по крайней мере, финансовую поддержку. «Дикий» депутат Государственный Думы, популярнейший врач, неугомонный культурник и буржуазный индивидуалист-революционер.

Как-то он теперь?..

Встретил он меня радостно. Как же! Сбылись мечты: монархия свергнута, и он руководит революцией родного промышленного города.

Но в то же время, по отношению ко мне был какой-то холодок. Остаться у него приглашения не было. И я напра-

вился в последнее убежище, в семью родственников, которые в прежние времена относились ко мне благожелательно. Там как раз были в гостях жена крупнейшего лесопромышленника и еще некоторые граждане из буржуазных кругов.

— Приехали!.. Ну, вот и хорошо. А как там Учредительное Собрание? Скоро?.. Знаете, мы хотим избрать вас депутатом...

— Да?!. Благодарю вас, — отвечал я.

В тот же вечер я попал на заседание городского исполнительного комитета.



Доктор Н. С. Розанов.

Председательствовал Розанов. Его плотная фигура, с лысой головой и живым лицом явно торжествовала от сознания победы и важной роли.

Тут же был весь цвет буржуазной революции: два крупнейших адвоката Федоров и Перфилов, городской голова Кленов, директор оружейного завода, лесопромышленник Кистов и другие. Скромной группой за этим колоссальным столом Земской Управы сидели в ряду почтенных буржуа и члены Исполнительного Бюро Совета Депутатов — меньшевики Ш., П., Г., и другие, а также какие-то эс-эры.

Адвокат Федоров подсел ко мне.

— Вы, ведь, меньшевик?

— Большевик.

— Разве!?. А мы слышали, будто вы меньшевик...

И он отошел к столу.

Меня просили информировать.

Я рассказал, как все это произошло в Москве.

В Царицыне 10 марта был тоже национальный день памяти по жертвам революции. Руководил там этот самый буржуазный Исполнительный Комитет, избранный в дни переворота городской

думой вместе с собранием «виднейших граждан». И теперь, несколько дней спустя, Комитет сиял всеобщим признанием и революционным ореолом.

Меньшевики и эс-эры из Совета играли незаметную роль. Большевиков не было.

Вдруг меньшевики внесли предложение — вооружить рабочих. Буржуа заколебались и, как эксперту... решили обратиться ко мне.

— Как вы полагаете?

— Мы за вооружение рабочих, — ответил я, — а буржуазия вообще против. Но это близоруко. Чем вы гарантированы от возвращения монархии!..

Если не ошибаюсь, вооружать рабочих было признано необходимым.

На следующий день я пошел в Совет Депутатов. Совет ютился в помещении биржи и заседал по очереди с биржевиками в одной и той же зале, а его Исполнительное Бюро теснилось за какими-то некрашенными перегородками и заседало под стук биржевых пишущих машинок.

Меня включили в бюро товарищем председателя - меньшевика Ш.

Вечером зашел в газету «Волго-Донской Край» — орган буржуазии и меньшевиков.

Мне предложили «непременно участвовать» и, на первый раз, написать статью «Об Учредительном Собрании»...

Словом, в городе царила идиллия социального мира. Буржуазия была несколько революционней, а меньшевики и эс-эры были несколько буржуазней, чем в других городах. Буржуазный Исполком опирался на учебный студенческий батальон и не интересовался тремя пехотными полками гарнизона. Меньшевики и эс-эры заседали в Бюро Совета, в буржуазном комитете, где сравнительно легко получили восьмичасовой рабочий день и паритетную примирительную камеру, и не считали необходимым почаще заглядывать на заводы и в рабочие кварталы.

Взяточник-полицеймейстер Бочаров, жандармский подполковник Тарасов были вместе с их подручными свергнуты, арестованы. А дальше что?..

Дальше предполагалось нечто в роде настоящей революции 1905 г. и самое настоящее продолжение империалистической войны.

Посылая роту за ротой на Западный фронт, буржуа и попы, меньшевики и эс-эры каждый раз после напутственного молебна кричали: — «Вперед, свободные солдаты, за свободную Россию!..»

Социал-демократическая организация была едина. Подавляющее большинство было за меньшевиками, а среди них пре-

обладали интеллигенты и служащие. Группа рабочих-большевиков была немногочисленна, слаба и не уверена в себе, но чувствовала, что дело идет не так, как бы следовало.

Едва увидев меня, большевики заговорили.

— Что же это такое — рабочих забыли, среди них ничего не делается. Вообще у нас нет никакой партийной работы. Все они (меньшевики) только и заняты там — в зале земской управы. Несколько раз мы поднимали об этом вопрос, но они заминают.

Скоро я увидел пленум Совета. Жалкое зрелище. Депутатов немного, и все они разместились в небольшой зале биржевого комитета. А вопросы!.. Как будто в насмешку над революцией два или три заседания почти исключительно занимались... примирительными камерами!

Будничные улицы, безмолвные серые дома — это было снаружи. Но и внутри картина оказалась неприглядной на моем старом боевом участке. После первого порыва, после свержения старого режима рабочие затихли, гарнизон оставался пассивен.

И все-таки, какая колоссальная перемена. Вот здесь, на базаре, у больших магазинов весной 1905 года, подкупленные и подпоенные торговцами извозчики избивали первых демонстрантов-приказчиков, студентов и рабочих.

Депо Юго-Восточных дорог... Это тут товарищей и меня арестовали жандармы 13 декабря 1905 года прямо на трибуне, при полном бездействии большого собрания рабочих.

25 верст от города — ст. Сарепта — там рабочие охотно выслушали мою речь об Учредительном Собрании, но, разобравшись в привезенных мною прокламациях «против царя», хотели по телефону остановить поезд, с которым я ехал, чтобы потребовать меня к ответу.

Это вот здесь 1 мая 1906 года была на центральной площади расстреляна мирная демонстрация...

И т. д. и т. д. А теперь!..

Полиция и жандармы сидели в тюрьме. Для рабочих и гарнизона полная свобода организации вокруг партии и Совета.

Война продолжается, но теперь бороться с ней в тысячу раз легче, чем при царе.

Теперь пока здесь господствует социальный мир и политическое ослепление.

Крупная буржуазия (городской комитет) и мелкая буржуазия (меньшевики, эс-эры) воображают себя вершителями судеб.

Но что-то скажут они, когда заговорят на самом деле рабочие кварталы и солдатские казармы.

Прежде, чем перейти к дальнейшему, коснусь одного эпизода, весьма характерного для старых времен и для переломного момента.

В Бюро Совета пришел однажды и вызвал меня мой старый знакомый по прежней работе — слесарь юго-восточного депо Гриша Шишлянников. Он пригласил меня к себе ужинать и ночевать.

Времени, как всегда, у меня было в обрез. Ночь была темная. Шел дождь. А жил Гриша где-то далеко на новой квартире, уже в собственном домике. Итти не хотелось. Но, с другой стороны — ведь это тот самый Гриша, который устраивал нам нелегальные собрания в 1909/10 годах. Он любил книги. Была у него хорошая пролетарка жена и сынок, умный не по летам и развитой мальчик.

— Я возьму извозчика, — сказал он.

Это меня окончательно тронуло, и мы поехали.

Ехали мы долго и почти все время под проливным дождем.

Зато, как приятно было снова очутиться в его семье и в его кабинете, украшенном книгами, количество которых заметно пополнилось.

После чаю и яичницы Гриша сказал:

— Я хочу с вами очень серьезно поговорить об одном предмете... И только с вами. Больше я не сказал-бы никому.

— Говорите, Гриша, я слушаю.

Его маленькая, сухопарая фигурка как будто сжалась в комочек. А маленькое лицо с мелкими чертами и серьезными глазами смотрело то на меня, то в окно, где чернела ночная тень и хлестал дождик.

— Я хотел сказать... начал он: — я хочу вам сказать...

«Что с ним», подумал я: «в чем дело?..»

— Я был... провокатором...

— Что такое! Да что с вами? Неужели?

— Да, — продолжал он, — я был провокатором, был на службе у охранки. Впрочем, дело мое не было так преступно, как это проклятое слово. Я не принес никакого вреда... нашим, а тем тоже никакой пользы...

— Но как же это случилось? И когда это было — когда вы нам устраивали собрания?

— Нет, позже. Уже после вашего ареста. Когда вас выслали, арестован был и я. Сидел в одиночке. Допрашивали. Грозили вечной Сибирью. Напоминали постоянно про семью — погибнет, мол. А ведь вы знаете, как я любил их...

— Да за что? В чем обвиняли-то вас?

— Ничего особенного не нашли. Кое-что из нелегальных газет, брошюры 1905 года. Но они уверяли, что у них имеются серьезные материалы, вполне достаточные для вечного поселения.

— Ну, и вы согласились?

— Они долго мучили меня. Стращали. Жутко было. Ведь я же пролетарий. Но и за них-то было страшно (он указал на комнатку, где за занавеской легли спать его жена и ребятки). Особенно за мальчика. Ведь вы его знаете. Предлагали деньги — 25 рублей в месяц. Я сказал: денег мне не надо, я буду работать так. «Да нам ничего и не нужно от вас особенного» — говорил подполковник Тарасов: «сообщайте только то, что увидите, больше ничего»... После освобождения (это было весной 1911 года) я уехал за Волгу и пробыл там все лето, лишь изредка наезжая в город... Призывали меня тогда... вместе с другими для доклада. Но мы не видели друг друга — нас держали в отдельных комнатах. Ничего особенного я и не говорил. Отделывался пустяками. Убеждали брать жалованье. Я, наконец, согласился и брал... не для себя, конечно. Я их тратил на книги. Видите, какая библиотека. Прекрасные сочинения, некоторые очень ценные и все — наших авторов...

Я посмотрел на корешки: Бебель, Маркс, Энгельс, Лассаль...

Оглянулся на него: Гриша — трус. Гриша — провокатор. Получал деньги. Вот несчастный...

— Общество трезвости, кружок самообразования — больше я ни о чем не говорил им. Да у нас и не было ничего больше.

— Деньги все тратили на книги?

— Да... почти все, целиком на книги...

— Гриша... Шесть лет!..

— Да, это была слабость. Ну, пусть Сибирь, разве мало там народу живет и с семьями. Впрочем я, как был, так и остался революционером. И я прошу вас — дайте мне оправиться, воскреснуть. И я буду работать, как никто. Вы же меня знаете...

— Что дальше было?..

— С января настроение рабочих и других становилось революционным. Я говорил об этом Тарасову, но прибавил... нарочно, конечно, что «ничего особенного не будет». За эти два месяца нам увеличили жалованье.

— Сколько же вы получали?

— По сорок рублей в месяц...

Мне стало нестерпимо душно в этом уютном, «культурно» обставленном кабинетике предателя. Хотелось немедленно уйти. Но куда и как? Ночь. Дождь. Незнакомые улицы и овраги отдаленной окраины.

Пришлось ночевать.

Он лег на полу. Я на кушетке. Впрочем, я не спал почти всю ночь.

В голове не умещались два чудовищно противоположных понятия: Гриша — рабочий, наш энергичный подпольный сотрудник. И Гриша — провокатор, наемный предатель. А я с ним пил чай, ужинал, а теперь лежу в его комнате. Шишлянников лежал спокойно и, видимо, спал. Мне опять захотелось уйти, и снова я видел, что это утопия. «Раскаивается», думал я: «неужели искренно... Это после шести-то лет измены, после переворота, после ареста его шефа... Но, может быть, на самом деле его только ловко опутали, и он остался тем же и будет на самом деле искренним поборником революции. Ведь это он теперь только что организовал так блестяще торжественный митинг в Юго-Восточном депо».

Но тут я вспомнил, как буржуазная газета изо дня в день твердила:

«Охранники, сдавайтесь. Провокаторы об'явитесь. Иначе плохо будет».

«Ну, конечно, ему некуда податься, и он смотрит на меня, как на громоотвод. Рано или поздно, но его раскроют»...

И вдруг припомнилось мне: начальник милиции, читавший жандармский архив, меньшевик «князь» Цицианов говорил както: «почти все провокаторы изловлены, остались немногие, в том числе один из видных, под кличкой „Серый“—никак не можем его найти».

Не он ли это, — думал я... Не Григорий ли Шишлянников.

Утром опять самовар и яичница.

Я пил только чай. И это несколько подкрепило меня после бессонной ночи.

— Мне кажется, — говорю моему оригинальному хозяину, — что деньги вы тратили не только на книги. Говорите прямо.

— Да... конечно... тратил и на себя.

— Скажите, вы работали там под своей фамилией, или...

— Нет, под кличкой.

— Под какой?

— «Серый»...

Он проводил меня до полотна железной дороги и пошел в депо, еще раз горячо и как будто искренно уверяя, что он — тот же, прежний Гриша 1909 — 10 годов и еще раз просил товарищески помочь ему выпутаться из нелепого положения.

Вечером того же дня видный провокатор Григорий Шишлянников, под кличкой «Серый», был арестован...

IV. Диктатура буржуазии.

Февральский переворот я видел в Москве. Отлично помню один характерный момент. Возле крыльца громадного здания Городской Думы собралась большая толпа рабочих, солдат, учащихся, интеллигентов и просто обывателей. Чего-то ждали. Всем хотелось новостей, еще более потрясающих, еще более пламенных, чем те, которые уже были получены и заучены наизусть.

Вдруг на под'езде появляется из Думы некто из новоявленных руководителей событий. Потрясая только что полученной телеграммой из Петрограда, думец обратился «к народу».

— «Граждане, итак, монархия свергнута. Теперь за дело... Расходитесь по домам и принимайтесь за работу. Теперь уж недолго — и мы разобьем немцев до конца»...

В толпе недоумение и холодок. Посыпались вопросы.

У думца в голосе тревога. От декларации он переходит к агитации, к отеческим увещаниям... А в голосе и во всей фигуре опасение и страх, а что если захотят чего-то побольше... Что, как не разойдутся, а возьмут за полы, да и выбросят совсем вон из этой прекрасной революционной Думы...

И это было в первые же дни после переворота.

Не был я в эти дни в Царицыне. Но, судя по рассказам, не так там обстояло дело.

На собрании думцев и прочих именитых граждан было искреннее и безграничное ликование. Крепкий хозяин-кулак Серебряков, из мелкого торгаша ставший миллионером, кричал: «Христос воскресе», и лобызался с единоверцами по революции. Интеллигент—радикал Розанов, другие врачи, адвокаты, промышленники, купцы — они, действительно, как пасху, встретили переворот. Без опасения, без особой тревоги эта почтенная компания пошла навстречу революции.

Что за причина?

Во-первых, большинство этих господ были сравнительно демократического происхождения. Они сами или их ближайшие предки вчера или позавчера только выбрались наверх и сколотили себе положение не столько путем наследования или рантьерского безделья, сколько путем энергичного и самоличного участия в делах.

Во-вторых, их было сравнительно немного, об'единены они были между собою на деловой почве в Думе, за чайным столом на дому, да за зеленым полем в клубе. Классовой организованности и сознательности у них не имелось.

В-третьих, они почти не знали пролетариата и не боялись его.

Правда, они тоже ворчали на какое-то «двоевластие», которое насаждал Петербургский Совет своим обращением к народам всего мира. Но это было далеко. Здесь же, под боком, все обстояло благополучно. Да и чего же им было тревожиться, когда не только понять 17-й год, но даже, как следует, оценить 5-й год они были не в силах.

10-е марта, день памяти по жертвам революции, был днем их высочайшего, непривычного, ослепительного торжества.

Большевики набирали сил, меньшевики и эс-эры бегали возле буржуазного Комитета на цепочке.

Такое благополучие продолжалось почти целый месяц. И никто из этих наивных диктаторов не подозревал, что через какие-нибудь еще две-три недели их великолепной диктатуре настанет неожиданный конец.

В конце марта большевики настояли на большом партийном митинге «по текущему моменту». Митинг был назначен в деревянном цирке возле Астраханского моста на Царице.

Там были рабочие, солдаты, интеллигенция и просто обыватели — всего не меньше трех тысяч человек. Неуместившиеся в здании залегли на крышу, там шумели кровельным железом и смотрели внутрь в открытые купольные окна, загораживая доступ солнечным лучам.

По старой памяти (о выступлениях против царизма в 1905 г.) меня избрали председателем, а на помощь мне—двух товарищей председателя меньшевиков.

Доклад был мой. Начинаю говорить:

— «Политика держав и Временного Правительства... Продолжение революции... Война войне»...

После торжественной встречи вдруг водворяется гробовое молчание. Потом понемногу начинается шум, протесты. Наконец, бешеные крики: «Долой!»

Мои «товарищи председателя» захватывают власть, громят «предателей-большевиков» и пожинают лавры.

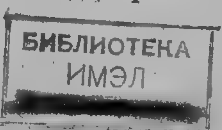
А я в конце концов остался даже без заключительного слова.

После митинга в том же здании остался и заседал Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Предстояло выбрать делегатов на I-е Всероссийское Совещание Советов (конец марта — начало апреля, в Петербурге).

Из 150 человек только 32 депутата от рабочих — голосовало за меня. Остальные — против. А солдатские депутаты (офицеры) опять закричали «долой»...

После заседания провожает меня т. Григорьев, служащий орудийного завода, член партии и мой соратник-сотрудник с 1905 года:

98380-98380





«Нет. Это уже слишком. Ты выступал очень резко. Не годится. Ты увлекаешься... И чего же было требовать от царицынских рабочих, тем более офицеров и студентов, когда даже петроградская «Правда», наш центральный орган, спотыкалась и угрожала в одном из номеров повернуть революционные винтовки против немцев. Когда формула усеченного доверия, но все-таки доверия буржуазному революционному правительству, — «постольку-поскольку» принималась даже столичными рабочими».

А. П. Григорьев.

Я пытался переубедить Григорьева. Он упирался. А несколько времени спустя он сам стыдился за эти свои слова.

После митинга в цирке господа буржуа с их меньшевистско-эс-эровским резервом почуяли опасность. Классовое сознание у них начинает проясняться. «Волго-Донской Край», только-что любезно пригласивший меня участвовать, открывает против большевиков кампанию клеветы и издевательства. Только что приглашали меня и в гражданский комитет, и на проводы маршевых рот, а теперь отказывают в помещении под наши собрания, убеждая повременить, пока вот они еще и еще, вкупе с попами, отправят пополнения на фронт.

Через пару дней после митинга было общее партийное собрание для выбора делегата на Всероссийское партийное совещание.

Тут мы получили первое большинство. Из 80-ти всех участников $^2/_3$ уже голосовали за большевика. И только по тактическим соображениям мы провели также и меньшевика Сагерашвиля. Мы с ним очень дружески расположились в поезде и покатили к центру революции — в Петербург.

В древонасаждении революционных событий Всероссийское совещание Советов, если не говорить о советах местных, было первым дубом, дубом «демократии», про который можно было сказать:

«Златая цепь на дубе том,
«И днем, и ночью кот ученый,
«Все ходит по цепи кругом».

Руководили Совещанием эс-эры и меньшевики. Буржуазия и Антанта были тем дубом, вокруг которого на прочной цепи ходили эти ученые коты. Для нас, большевиков, было интересно и в то же время как-то нудно на этом совещании. Кто ясно понимал, кто только догадывался, но все мы чувствовали, что здесь, на этом высоком собрании, революции обрезаются крылья...

Вот на высокой трибуне думского зала Таврического дворца воссели Чхеидзе и Церетелли...

Вот принесли на кресле живые мощи — Брешковскую — «бабушку революции», впоследствии кумушку контр-революции.

Вот забежал впопыхах Керенский и отграммофонил, вне очереди, одну из своих очередных пластинок...

К резолюции о международном положении от фракции большевиков я вношу поправку — призыв к пролетариям всех стран об'единиться, положить конец войне и начать гражданскую борьбу.

Поправка «затерялась». Пишу еще раз. Опять не находят. Пробираюсь к самой трибуне и воздействую на Церетелли. Поправка, наконец, оглашается и подавляющим большинством отвергается.

А Ленин уже едет. Он уже близко. Меньшевики и эс-эры слишком «ученые коты», чтобы затянуть Совещание до приезда страшного «Каменного Гостя». И прежде, чем Ленин успел ступить на родную почву, Всероссийское совещание Советов было закрыто.

А ночью приехал он. Это было под 4-е апреля.

Историческая ночь.

Я видел разные встречи и торжества. Наблюдал празднества 80-тилетней годовщины кумира буржуазной и мещанской Австрии — короля-императора Франца-Иосифа. Но никогда не мог и представить себе чего-либо подобного по задушевности

мощи и даже по внешнему эффекту, как в эту замечательную ночь с 3-го на 4-е апреля 1917 года.

На Финляндский вокзал я пришел с одним из районов. Площадь заполнялась рабочими, матросами, солдатами, автоброневиками. Делегатский билет партийного Совещания помог мне пробраться на самый перрон.

Вот подкатил и поезд, быстро и почти бесшумно и внезапно остановился. У нас всех огромное напряжение. Еще стройнее стал со своими винтовками почетный караул из матросов по обе стороны перрона.

До сих пор мне не приходилось видеть Ленина. Да и многие из собравшихся думали увидеть его в первый раз.

Через пару минут, окруженный друзьями, Ленин вышел из вагона и пошел между двумя шеренгами почетного караула, тепло, просто и как-то дружески отвечая на приветствия.

Толпа ринулась к вокзалу и на площадь перед ним.

Ленин скоро вышел туда же и поднялся на авто-броневик. Площадь чернела от людей. В свете нескольких прожекторов блестело оружие, грозно возвышались броневики. На одном из них стоял он, испытанный вождь, которого ждали с таким горячим нетерпением и любовью.

Воздух сотрясся от бурных приветствий и ликований.

А Ленин ответил:

— Да здравствует Международная Социалистическая Революция!

Крики радости, рукоплескания.

Броневики шевелятся и трогаются дальше.

Снопами пышных, фантастических лучей сопровождают их прожектора. Восторженная масса передвигается.

Остановка. Приветствия. И опять:

— Да здравствует мировая социалистическая революция!..

Все ж-таки это было очень странно. Тут мы путались между «постольку-поскольку», собирались даже повернуть революционные штыки против германцев и вдруг... социалистическая революция, да еще международная, да еще с первого слова на русской почве.

Как вынесли рессоры авто-броневика тяжесть этого лозунга...

А лозунг осветил между тем сильнее прожекторов окружающую ночную тень.

* *
*

Утром, 4-го апреля, в одной из комнат того же Таврического Дворца на собрании большевиков-делегатов Советского и Партийного Совещания — доклад Ленина и его пророческая скрижаль с 10 заповедями-тезисами. А потом его же доклад

в Думском зале Дворца на об'единенном заседании меньшевиков и большевиков — делегатов уже закрытого Совещания Советов.

«Братание на фронте... Переход ко второму этапу революции... Никакой поддержки Временному Правительству... Теперешние советы—блок мелкой буржуазии... Не парламентарная республика, а Республика Советов Депутатов снизу до верху... Конфискация земель... Немедленное слияние банков под контролем Советов... Контроль советов над производством... Долой грязное белье социал-демократии — необходимо новое название партии — «Коммунистическая», немедленный партийный с'езд, исправление устаревшей программы».

Нечего скрывать, у многих даже твердокаменных большевиков забегали мурашки от этого громоподобного синайского законодательства. Они говорили друг другу:

— «Как вы думаете: пожалуй, Ильич немного слишком перехватил!?..»

А меньшевики, так те прямо лезли на стену:

— «Бакунизм!.. анархизм!.. измена!.. При чем тут «грязное белье!?.»

Потом-то, конечно, всем стало ясно, что камень из пращи Ильича попал очень метко в голову мелко-буржуазного дурня—Голиафа...

Получив экземпляр тезисов, потрясенный всем виденным и слышанным, я поторопился в Царицын.

* *
*

А город был уже не тот: рабочие кварталы и солдатские казармы втихомолку, по своему, переваривали события, росли по часам и чутким классовым инстинктом намечали свой предстоящий путь.

Заметных большевистских вождей не было. Меньшевики же и эс-эры кричали в газетах, барабанили на митингах, провожали солдат, попрежнему писали в резолюциях: «постольку-поскольку». Но гарнизон и рабочие уже круто повернули прочь от буржуазии, подальше от мещан.

Вечером 12 Апреля я был зачем-то в Думе, как вдруг узнаю, что в большом театре «Парнас» происходит собрание гарнизона. Спешу туда и застаю непривычную, поразительную картину: партер и ложи набиты серыми шинелями. С первого взгляда казалось, что это те же самые «солдаты», которые всего три недели тому назад вопили: «долой» по адресу большевиков. А для чего на сцене сам Розанов, меньшевик П. и прочие господа из Гражданского Комитета и из Бюро Советов? Неужели до сих пор недостаточно просветили свою «паству» эти «дурные пастыри»?

Однако, скоро мне стало ясно, что тут происходит нечто необыкновенное. Прежде всего: ни гарнизона, ни его представителей никто не приглашал. Солдаты собрались сами и грозно потребовали для отчета представителей новой революционной власти.

Один за другим появляются на сцене шинельные ораторы:

— Нас гонят на фронт, а здесь обкрадывают.

— Кормят хуже собак — дают не суп, а воду, ни одной картошки.

— Гоните на фронт! Опять война? Да что дала нам ваша революция?!.

— Долой Думу и Управу. Долой Комитет. Реквизировать немедленно всю торговлю и промышленность.

— Разогнать их!.. Долой!.. Реквизировать!..

Это говорили не опрятные офицерики из так называемого «Совета Солдатских Депутатов», а сам гарнизон, то-есть вооруженная сила. Буржуа и мещане отлично понимали это и чувствовали себя на сцене, как минога на горячей сковороде.

Председатель Комитета Розанов, Председатель Совета Ш., меньшевистский вития П. пытаются одурачить и это непокорное солдатское вече. Они взывают к патриотизму, грозят германцами. Ругают царя и хвалят революцию. Намекают на «темную агитацию», которая де подбивает «хулиганов».

Не тут-то было! Раскраденная картошка прочно засела в солдатских мозгах. Ораторов перебивают.

— Разогнать их! Долой! Реквизировать...

Положение было не на шутку грозное и могло закончиться далеко не пустяками.

Потом, успокоившись, эти вожди из буржуа и мещан обливали грязью и это собрание, и гарнизон, и большевиков: «Шкурники, хулиганы» и т. д. и т. д. А между тем положение гарнизона и отношение к нему было на самом деле глубоко оскорбительно и обидно. Из его рядов чуть ли не каждый день вырывали и гнали на фронт маршевые роты. При этом солдат кропили святой водой и начиняли звонкими и пустыми фразами. Но ни одному идиоту из всей правящей братии не приходило в голову не то что материально помочь полкам, но хотя бы поинтересоваться и узнать: да как же теперь живут или в чем нуждаются эти уже не «серые скотинки», а «свободные солдаты свободной России». Не до того им было. По инерции работала торговля и промышленность и давала-таки барыши. Война тоже давала барыши и обещала контрибуцию. Вместо полиции и жандармов у руля сидела сама «черноземная сила». Меньшевики и эс-эры из подворотни были переведены в теплое помещение между швейцарской комнатой

и господским кабинетом... Чего же больше! Революция почти закончилась. Пора «приниматься за дело».

И все пошло бы еще пару недель хорошо и гладко, если бы эти чванливые, но близорукие вожди не проглядели... картошку.

С каждой минутой положение вождей становилось грозней и опасней. Солдаты буквально горели от ненависти и не поколебались бы сопроводить делом свои гневные слова. Что было делать вождям-банкротам? Убеждать? агитировать? Бесполезно. Не верят. Еще хуже получается. Бежать? Но тогда конец и конец немедленный, потрясающий. И вот господа буржуа и мещане начинают посматривать с надеждой, как на громоотвод, то на меня, то на левого эс-эра прапорщика Федотова, по убеждениям очень близкого к большевикам.

Первым выступил тов. Федотов.

— Ваше положение тяжелое и мы заставим его исправить. Реквизировать? Да. Но не сейчас. Мы не готовы. Это не делается вдруг.

Крики возмущения продолжаются, но тише. Собрание оценило первое живое, близкое слово.

Вторым и последним говорю я.

— Реквизировать? Немедленно и все? Но, ведь вы, кажется, слышали про Ленина. Да, вижу, что знаете его и уважаете. Отлично известно вам также, как его ненавидят, как на него клевещут ваши кровные враги. Так вот, как будто отвечая на ваши требования, тов. Ленин написал тезисы, которые я только что привез. Читаю. Слушайте.

В громадной зале театра полная тишина.

— «Пункт 8: Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны С.Р.Д. за общественным производством и распределением продуктов»... И так, пока контроль, а не социализация, не реквизиция... Ваше материальное положение тяжелое. Да. Так его можно поправить. Этого и требуйте, а реквизировать — зачем? Чтобы растащить все ценности и уничтожить. Разве в этом наша задача. Взять легко, это мы можем сделать каждую минуту. Вы — сила. Взять легко, расточить еще легче; неизмеримо труднее удержать производство и вести его лучше, чем теперь. Комитет и думу розогнать? Хорошо. А дальше что? Кто же будет управлять? Вы. Но, ведь вы даже собрания не умеете вести: шумите, кричите, предлагаете сейчас невозможное. А управлять — это дело очень серьезное. Ему надо учиться. А вы этого не хотите. Где Совет солдатских депутатов. Пока делегаты ездили в Петербург, совет ваш омертвел, не собирается. Да и что за депутаты в нем! Лощеные буржуазные сынки —

офицеры. Какие же они ваши представители! А потому предлагаю: завтра же переизбрать Совет. А депутатами пошлите наиболее дельных и наиболее близких вам товарищей. Слейте ваш Совет в одно с рабочими депутатами. И заставьте этот единый Совет работать. А когда он окрепнет, он сам увидит, когда и кого надо будет разогнать и как надо управлять; и как улучшить ваше положение. Начав с контроля, Совет подготовится также и к полной социализации.

Предложения были приняты.

А на завтра появился новый совет солдатских депутатов.

Между тем тов. Федотов, по собственной инициативе, (я узнал об этом через несколько месяцев), там же, на сцене театра, подсказал господам буржуа мысль, до которой они сами никак не могли или не хотели додуматься: «Соберите добровольно деньги и помогите гарнизону. Не то... хуже будет»...

Буржуа трепетали перед гарнизоном. Но не меньше пугала их и «жертва».

Эта подлая копеечная жадность миллионеров, этих золотых мешков, заставила их потом обещать и не давать, лицемерить и клеветать, без конца клеветать на большевиков, на гарнизон и на весь революционный город.

По окончании собрания ко мне вышел из-за кулис какой-то молодой студент и показал документ:

«В Царицынскую организацию командируется большевик Яков Зельманович Ерман...» Подпись: «Секретарь ЦК...».

Я был слишком утомлен после собрания, а молодой большевик показался мне слишком молодым, чтобы я заинтересовался им тотчас же.

— «Приходите в Комитет».

— «Хорошо», — сказал он и моментально куда-то скрылся.

Не успели господа буржуа прийти в себя от ужаса после встряски 12-го апреля, как судьба приготовила им ровно через $1^1/_2$ суток новое тяжкое испытание.

В городе расквартировано было всего три запасных пехотных полка: 141-й на северной окраине, по соседству с металлургическим заводом Дюмо («французский»), 155-й на южной окраине, на Дар-Горе в районе кварталов лесопильных рабочих и грузчиков. Эти полки были наиболее сознательными, революционными. А в центре города был разбросан сравнительно отсталый 93-й полк.

14-го апреля должна была отправиться на фронт маршевая рота этого полка. В роте же этой был порядочный процент городовых. Революция лишила городовиков привилегии отлынивать от фронта. Но фронт, как известно, далеко не то, что полицейский участок. Воинственностью городовики отли-

чались преимущественно в каталажках. Империалистические тенденции ограничивались у них ближайшим базаром. О Константинополе же и Дарданеллах они имели весьма смутное представление и едва ли особенно горели желанием присоединить их к России путем личного участия.

С другой стороны, гораздо ближе, чем Константинополь, почти в нескольких шагах от казарм, в подвалах городской управы был богатейший частный винный погреб. И вот городовики (прекрасно знакомые с дислокацией подобных пунктов) решили, прежде чем освободить сербов и присоединить Дарданеллы, немного подкрепиться на бранный путь в этом винном погребе. Подбили всю роту и двинулись на приступ.

Узнав о погроме, я поспешил во двор Городской Управы. Длинные вереницы солдат с кружками, чайниками, бадейками и целыми ведрами тянулись и лезли во двор, а навстречу вылетали подпившие солдаты с посудой, наполненной красным вином. В подвале — кошмарный клубок: банда полупьяных солдат разбивала бочки, наполняла посуду, а вино текло на пол и поднималось выше и выше.

Там же, в погребе, кого-то толкал, на кого-то кричал до хрипоты, до потери голоса председатель Совета, меньшевик Ш.

Ясно было, что уговорами и толчками тут не проймешь и что, с другой стороны, если запустить болезнь, она перекинется на другие погреба, затянется на несколько дней и вообще может окончиться для города плачевно.

Тороплюсь назад и вижу: командир полка Коробкин расставляет шеренгу, несущуюся к погребу, в строгом порядке.

— Эй, куда, куда прешь! Не успеешь! В затылок становись!

Буржуазный Исполком рядом,—в Земской Управе. Захожу.

Да. Жарко. Очень жарко. То бледные, то потные растерянные лица. Мечутся по комнатам и никто не знает, что им делать.

— Ведь, это погром! Погибнет весь город. Подожгут еще, негодяи...

Откуда-то явился Федотов.

— Придется вызвать 141-й полк...

— Полк? Это хорошо... Целый полк?.. А он не... не того... не присоединится к этим громилам?..

— Что вы, — говорю, — это не такие солдаты, чтобы...

— Тогда, хорошо, зовите. Вот машина. Эй, автомобиль! Скорей... Только как-же... без оружия? ничего не сделаешь. С оружием? А не будут они так-себе стрелять, куда ни попало?..

Жалкие людишки. Они не знали массы и презирали ее. Нуждались в ней и страшились ее... Боялись потерять все, но дрожали над каждой копейкой.

Какой прекрасный солнечный день и какой шикарный автомобиль. Или это всегда так кажется человеку, который в первый раз в жизни едет на автомобиле...

Вот и полковые казармы.

— Где учебная команда?

— А что такое?

— В ружье! Надо разогнать погромщиков.

— Разогнать солдат? Это пожалуй... Как бы чего не вышло.

Мы согласились. Действительно, неудобно.

— Командиру полка! Из Исполнительного Комитета — телефонограмма.

Взяли. Читаем:

— Привести весь полк с ружьями, но... без патронов.

Бедные буржуа... Почему же не наоборот: с патронами, но... без ружей. Ведь тоже было бы страшно для громил и... безопасно для домовладельцев. Прапорщик Федотов (он того же 141-го полка) командует:

— Полк, стройся!.. Под знамена. Без оружия!.. С оркестром.

Одновременно дано было знать рабочим на заводы.

Я вернулся в Комитет, потом на двор Управы.

Картина та же. Только в Комитете еще несколько позорнее, а у погреба еще несколько безобразнее.

Вдруг по шеренге виночерпиев пронеслась грозная весть и проникла тотчас в подвал:

— Идет 141-й полк...

Пьяная банда выскочила во двор, потом ринулась на улицу и тотчас рассеялась.

Из-под окон погреба и со двора потекли на площадь мимо сквера красные ручейки. Это по приказанию перепугавшихся меньшевиков из Бюро Совета уничтожался драгоценный целебный напиток.

Мощные звуки «Интернационала» становились ярче и слышнее. Наконец, подошел и полк, стройный величественный и прекрасный под лучами апрельского солнца.

Банды уже не было. Не видя ее, полк сделал свое дело. Солдаты с презрением смотрели на распахнуые ворота склада и на красные ручейки, через которые они переступали, направляясь к зданию Земской Управы. Туда же скоро подошли демонстранты рабочие и работницы.

Открылся редкий по энтузиазму митинг. Ораторы от нас, из воинских частей и от рабочих заклеймили позором и революционным проклятием громил и подстрекателей к погрому...

А это что за часть пришла с таким опозданием?

На балкон поднимается оратор.

— Товарищи... Я от маршевой роты 93-го полка. Не все мы согрешили. К нам пролезли провокаторы. Они подбили малодушных. Мы выбросили их из наших рядов. А сами сейчас садимся на поезд и поедем сменить наших усталых товарищей. Простите...

Господа буржуа не показывались: страх ли не прошел или было им стыдно или просто они в конец потеряли голову... Правители!..

Подошел конец буржуазной диктатуре.

Рабочие просвещали солдат. Солдаты просвещали рабочих. Те и другие жили, как хорошие соседи и росли с каждым днем в понимании своих общих интересов.

А буржуа! Полтора месяца тому назад у них еще был некоторый налет демократизма: под давлением, но без упорства, они согласились на 8-ми часовой рабочий день. Не прочь были допустить и вооружение рабочих. Революцию они представляли себе, как победоносное продолжение войны, как идиллическое царство капитала, правда с маленькими уступками «народу», «толпе», но без тревоги, без помех.

Однако, каждый день разочаровывал их. Особенно же ударило им по нервам выступление большевиков. А рост сознательности и требовательности массы застал их совершенно врасплох. Люди без перспективы, без анализа событий, без серьезного понимания даже собственных классовых интересов, господа буржуа, оказавшись у «кормила правления», не считаясь ни с воздушными бурями, ни с подводными течениями, держали курс к догматически намеченной цели: «власть капитала», «война до победы».

«Гуманность»... Так называют сколько-нибудь внимательное, сердечное отношение к вопиющим нуждам и страданиям человека, хотя бы и недруга, хотя бы и врага. Ее, разумеется, нельзя было ожидать от всех этих крупных торговцев рыбой, лесом, железом и шерстью, от собственников мельниц, металлических и лесопильных заводов, от пайщиков пароходных и железнодорожных компаний. Но гуманность приписывают обыкновенно интеллигенции. А она тоже стояла у руля. Но что такое была эта правящая интеллигенция? Радикал, когда-то «революционер», доктор Розанов к моменту февральской революции уже был собственником трех прекрасных домов в центре города. Адвокат Ф., тоже «революционер» 1905-го года, владел теперь крупным домом в центре города и совсем не плохой загородной дачей. Другой адвокат был наследником поместья в Царицынском уезде. Адвокаты вообще (наиболее удач-

ливые) были к тому же акционерами и пайщиками предприятий. А врачи вообще (наиболее популярные) были собственниками больниц и лечебниц, в которых ремонтировали буржуазное здоровье и от которых получали барыши не меньше, чем другие от акций или от непосредственной эксплуатации рабочих. Словом, руководящая интелигенция — была та же буржуазия.

Гуманность... Жалкое лицемерное слово... Его употребляют, когда хотят или оправдать слабо понятый, или, наоборот, затушевать отлично понятый, но тот же классовый интерес.

Ни в том, ни в другом, да и вообще ни в каком смысле царицынская буржуазия гуманностью не отличалась.

Жадная до подлой копеечности, тупая до полной слепоты, сначала беззаботная до глупости, потом трусливая до паники— царицынская буржуазия уже через полтора месяца свой государственный корабль или, вернее, свою административную беляну посадила на прочную, безнадежную мель.

События 12-го и 14-го апреля подорвали в массах окончательно всякий авторитет буржуазного исполкома, всякую даже тень уважения к нему.

Гражданский Комитет умирал. Его заседания становились все более редкими, все более нудными и скучными. Даже члены-буржуа посещали его все менее и менее охотно.

Чтобы гальванизировать этот труп, чтобы оправдать себя перед гарнизоном и рабочими, а также, чтобы на всякий случай застраховать себя, господа буржуа об'явили в газете:

— Мы хотим помочь гарнизону. Соберем для него два миллиона. Подписано уже миллион двести тысяч рублей. Как прибавку к жалованью солдата (50 коп.), будем выдавать по 5 руб. в месяц, по случаю 1-го мая единовременно — 5 рублей и каждому отправляющемуся на фронт — по 10 целковых.

Для 20-титысячного гарнизона, от которого требовали продолжения войны за чужие интересы, это было бы, конечно, весьма слабой, но все же-таки некоторой поддержкой.

А для буржуазии, владевшей сотнями миллионов и получавшей за время войны колоссальные барыши, обещанные два миллиона были буквально крохами.

Тем не менее, дать эти крохи не собирались. А собранное (с великим трудом, со скандалами, чуть не с драками между собой) задерживалось, не выдавалось. При этом под «первым мая» разумелось, конечно, не заграничное, а по русскому календарю, т.-е. все-таки почти на две недели позже.

За эту гнусную политику, за это жалкое крохоборство, постоянное лганье и лицемерие 141-й полк, на самом деле

пригрозил штыками, и господа буржуа раскошелились. Но зато, в отместку за эту добровольно об'явленную жертву на помощь «свободному солдату свободной России», потом разразились неслыханной, чудовищной клеветой.

Март и половина апреля... 45 суток. Срок вполне достаточный для такой «чумазой» буржуазии. Из гражданского комитета центр политической жизни и руководства передвигается в меньшевистско-эс-эровский совет. На сцену выступает вместо буржуазии ее подворотня.

С 1-го мая (18 апреля) в Царицыне водворяется диктатура мещан.

V. Соломенная диктатура.

Сколько солнца... Так много тепла, света и покоя в природе в этот благоуханный день Первого Мая (по старому календарю 18-го апреля)... Праздник международного труда... Впервые легально, впервые так открыто, безо всяких помех, без разгонов и расстрелов собирались рабочие ознаменовать этот подлинно торжественный день.

Гарнизон и рабочие, из разных концов города направляясь крупными группами — заводами и полками — все должны были собраться на самой просторной площади в городе — на Никольской (впоследствии — «Площадь Интернационала»).

Уже немало стройных колонн из рабочих и солдат, под яркими знаменами, с блестящими оркестрами, с ликующими песнями, продвинулось через центр города к назначенному пункту, когда мы — председатель Совета, меньшевик Ш., член бюро Совета, меньшевик Г. и я — сели в тот же великолепный автомобиль буржуазного Исполкома и тоже направились на площадь. По дороге мы заехали на квартиру Г., где нас поджидала его крохотная четырехлетняя дочка Сусанна по плану тоже непременная участница первомайского праздника. В руках ее был заранее заготовленный небольшой белый флажок с нашитыми на нем ярко-красными буквами: «Мир». Мы поставили девочку в середине машины с ее знаменем в руках и помчались к месту праздника.

А там уже строился громадный квадрат из воинских частей и рабочих колонн. В середине же площади, возле самой церкви, толпились ребятишки-школьники во главе с учителями и учительницами.

Мы остановили машину как раз перед воротами церковной ограды, при чем старательный фотограф не преминул тотчас же направить на нас свое недремлющее око.

— А не послать ли нам автомобиль за Розановым и другими... — сказал Ш.

— Ну, что ж, посылайте, пожалуй.

И скоро на площадь были привезены господа из буржуазного Исполнительного Комитета. Высадились они из машин и, в сторонке ото всех, расположились робкой сиротливой группой.

Так «проходит слава мира сего»... Чуть ли еще не вчера, в национальный день памяти по жертвам революции (10 марта) «они» были на гребне волны и, захлебываясь от



Представители Исполкома на демонстрации 1-го мая.

радости в виду открывшихся блестящих перспектив, руководили событиями. А теперь!..

Все, даже отставшие группы демонстрантов подтянулись. Темно-серо-зеленоватый квадрат чуть шевелился и гудел говором, колыхая знаменами и блестя оркестрами. Пора начинать...

Грянули хоры трубачей. Наш автомобиль без шума тихо пошел вдоль рядов, привлекая внимание всех маленьким белым флажком в руках крохотной девочки. От имени Советов Депутатов мы все трое, по очереди, приветствовали с праздником собравшихся. Нам отвечали криками радости и торжества. Особенно горячо встречали нас полки 141-й и 155-й: слово «мир» их сердцу говорило больше, чем кому бы то ни было.

Под'езжаем к колонне солдат студенческого батальона.

— Товарищи!.. Сегодня великий День Труда. По всему миру...

— Долой!.. Вон!..

— В чем дело? — недоумеваем мы в первый момент.

— Позор!.. Долой «мир». Долой! Да здравствует война!.. До победного конца...

Ни большевик, ни меньшевики, ни убеждения, ни раз‘яснения не действовали на буржуазную молодежь. Студенты бешено требовали снять с машины белый флажек с ненавистными для них, но притягательными для солдат тремя красными буквами... Возмущенные, мы поехали дальше.

Сделав полный круг, мы слезли с машины и пошли приветствовать уже каждый от своей партии. Я направился к полкам и рабочим, наиболее крупных заводов. Я говорил об ужасах бойни за интересы капитала. Призывал хоть в этот день и час об‘единиться в одном чувстве со всеми тружениками мира. Опьяненные солнцем, невиданным зрелищем, чувством солидарности и жаждой борьбы, солдаты и рабочие с необычайным энтузиазмом приветствовали День Труда — День Перваго Мая. А по адрессу студенческого батальона солдаты 141 полка кричали:

— На фронт!.. Завтра же на фронт, коли вам так люба война. Не то... штыками погоним...

Был уже пятый час пополудни. Много демонстрантов разошлось.

Давно не было уже на площади господ буржуа из Исполнительного Комитета: они, бедные, так, кажется, ни перед кем и не выступали, очевидно, и справедливо, опасаясь лишних осложнений.

Я почти лишился голоса. Но я обещал говорить еще перед 155 полком. Только где же он теперь? Ах, там, — перед самыми церковными воротами...

Подхожу. Перед громадной массой солдат на помосте из грубо сколоченных досок на высоких козлах кто-то говорит. Оратор — молодой человек в солдатской форме, с умным красивым лицом. Слушаю — большевик... да еще какой большевик!.. С горящими глазами, забыв усталость, полк слушает речь, время от времени перебивая ее бурными аплодисментами и криками одобрения. А оратор кидает сочные фразы и мечет огненными словами прямо в сердце слушателей, резко жестикулируя, как взмахами крыльев, обеими руками. Вскидывая кверху голову, то полузакрывая глаза, то впиваясь ими в слушателей, оратор буквально приковал их к себе. Казалось, дремавшие думы, затаенные мысли не только этих солдат, но их дедов, прадедов, предков теперь высказывал этот незнако-

мый им оратор, как бы острием сабли проводя резкую грань между дряхлым миром рабства, угнетения, обмана и нарождающимся новым миром освобожденного труда... Самодержавие, временное правительство, эс-эры, меньшевики — все попадали хоть на момент под меткие удары его огненного красноречия и все получали по заслугам. Большевики—вот единственная партия рабочего класса. Вот революционеры до конца. Вот за кем идите в борьбе против всякого гнета, рабства из обмана.

Я был очарован всей этой картиной.

Однако, кто-же это такой?..

Оратор кончил. Ураган восторга провожал его, пока он спускался ко мне с высокого помоста. Не успел я разгадать незнакомца, как мне пришлось тоже подниматься на трибуну...

Под конец речи я, казалось, окончательно потерял голос.

Не успел я соскочить с трибуны, как восторженные солдаты подхватили меня и незнакомца-оратора усадили на откуда-то появившиеся венские стулья, высоко подняли на руках и понесли с площади, направляясь к центру города. А мы были рады отдохнуть, хотя бы и в таком неудобном положении. Мы забавно раскачивались, едва не падая со своей высоты, под нами сменялись крепкие руки. Откуда-то приносили в невероятных количествах ледяную воду и отпаивали нас.

По прибытии на центральную площадь города толпа не только не разошлась, но еще увеличилась, и нам опять и опять пришлось говорить, пока, воспользовавшись речью незнакомца, так и не разгадав его, я не устремился куда-нибудь отдохнуть. Вместе с одним товарищем из 155 полка попал я на пристань и с нее на стоявший там большой пароход. Солнце уже заходило. Вечерняя прохлада реки и несколько стаканов чаю освежили меня.

— Не знаете — спрашиваю товарища: — кто такой этот оратор, который так замечательно говорил, а потом так странно вместе со мной путешествовал?

— Не знаю. А вы разве незнакомы с ним?

— Да, в первый раз вижу... Подождите-ка... нет... позвольте... Так это же... Вот так молодец. Ну, да. Это он, конечно, он. Помните, подходил ко мне в «Парнасе» после того бурного собрания.

— Кто же такой? Не знаю.

— Он тогда только что приехал... Это — Яков Ерман.

* *
*

Много солнца, тепла и покоя было в природе Первого Мая — 18-го апреля. Но то было в природе... Совсем иное наблюдалось в общественных отношениях нашего города. Котлом кипела борьба классов. Казалось, мы ходили по раскаленной почве, под небом, обильно насыщенным грозой. Классовое сознание рабочих и солдат росло буквально по минутам. И по минутам же в глазах большинства населения теряли доверие все эксплуататорские классы и группы, вместе с их мелкобуржуазными подголосками.

Обер-господа из буржуазного Исполнительного Комитета явились на площадь, как будто нарочно для того, чтобы демонстрировать свое полное и жалкое бессилие. На глазах у всех диктатура перешла к меньшевистско-эс-эровскому большинству Совета Депутатов. Унтер-господа торжествовали. И как же им было не ликовать!.. Где же это видано, где же это слыхано в современном обществе, чтобы идеологи—вожди городского мещанства и деревенского кулачества одни,—без участия крупной буржуазии, стояли у власти. Однако, вторая половина того же первомайского праздника с очевидностью показала каждому серьезному наблюдателю, — и многие почувствовали это инстинктом,—что власть эс-эров и меньшевиков надломлена в самом начале, что эти неудачники — плясуны между двумя скрещенными мечами, скоро до конца исчерпают свою опереточную программу, что их диктатура — диктатура соломенная...

Ураган классовой борьбы выбил из седла помещиков и крупную буржуазию и посадил туда буржуазию мелкую. И странно: как полтора месяца тому назад обер-господа не понимали своего положения, так теперь унтер-господа не сознавали, что они посажены не на спину чистокровного коня, а на смешное чучело из мещански-кулацкого тряпья.

Забавно вспомнить, но мы—большевики и меньшевики—все еще состояли в одной партийной организации, в «единой, неделимой» РСДРП!..

Причины?.. Очень простые: одни из большевиков были еще не уверены в себе, а другие по этому самому считали преждевременным раскалывать организацию, то-есть предпочитали перерабатывать ее изнутри.

В четверг, 20 апреля я и меньшевик Сагерашвили делали доклады в Городской Думе общему собранию о всероссийском партийном совещании 28 марта — 3 апреля. Меня основательно поддержал Ерман своим резким выступлением в пользу десяти громовых тезисов Ленина. В результате, подавляющее большинство было за нами.

В пятницу, 21 апреля мой платный доклад (по стенограмме) о Всероссийском Совещании Советов в театре «Парнас». Народу

масса. Публика разнообразная. Однако, преобладали рабочие и солдаты.

Помню два характерных момента.

Когда я обрушился на меньшевиков, их местный вождь П., один сидевший за мной на сцене, подал отчетливую реплику:

— Так, что же — вы не считаете меньшевиков социалистами!?.

Повернувшись к репликанту, я так же громко и отчетливо, коротко ответил:

— Нет!..

Театр загудел от рукоплесканий и смеха против несчастного П.

Когда после меня выступал какой-то меньшевик, не то эс-эр, и что-то резко и оскорбительно сказал по адресу Ленина, театр, особенно ярусы, опять задрожал, но на этот раз уже от негодования:

— Долой!.. Не сметь оскорблять Ленина!.. Долой!..

Я был поражен до крайности: несмотря на бешеную травлю против Ленина банкирской, обще-буржуазной и мелкобуржуазной печати, несмотря на отсутствие в городе большевистской газеты, гарнизон и рабочие прониклись глубоким уважением к Ленину и какой-то трогательной внимательностью к его революционному имени. Не могли сделать этого ни наши с Ерманом немногие, после приезда из Петрограда, выступления, ни работа еще слабой нашей фракции, ни те сравнительно немногие экземпляры московского «Социал-демократа», которые попадали к нам в Царицын.

Масса жила и росла по хронометру: где смутным, но чутким инстинктом, где вспышками отчетливого классового сознания рабочие и крестьяне-солдаты сами торопливо нащупывали свою тактику в тогдашнем хаосе изощренной буржуазной лжи, подлейшей клеветы и гнусных намеков по адресу революции, нашей партии и вождя ее — товарища Ленина.

Новое доказательство этому дало воскресенье, 23 апреля.

Начался этот день заседанием Совета Депутатов по вопросу о «займе свободы». Докладывал меньшевик П. Я выступал, как содокладчик.

Бой происходил уже в новом помещении Совета — в клубе «Общественного Собрания», куда перебрался и аппарат Исполнительного Бюро Совета, вырвавшись, таким образом, из об'ятий деревянных некрашенных перегородок Биржевого Комитета. О занятии этого клуба «Русское Слово» не преминуло оповестить своих читателей специальной (и на этот раз довольно беспристрастной) телеграммой от 17 мая:

«В конце апреля в Царицыне, по постановлению местного совета рабочих депутатов, были реквизированы помещения

Царицынского Общественного Собрания. Первоначально был реквизирован зал в нижнем этаже, в котором ютились, в виду занятия остальных помещений войсками, карточная, биллиардная, столовая, читальня и библиотека. Клубные учреждения были переведены в летний павильон. Вскоре совет рабочих депутатов реквизировал и верхний этаж, сданный клубом в аренду частному предпринимателю под устройство кинематографа. Распоряжение о реквизиции мотивировалось тем, что большой зал верхнего этажа нужен для устройства митингов. Арендатору зала Ковалеву было об'явлено, что он от аренды устраняется, а договор его с советом старшин уничтожается. В реквизированном зале совет рабочих депутатов стал устраивать, кроме митингов, и платные вечера. Совет старшин запротестовал против этого и заявил о необходимости установить плату за пользование залом. Президиум совета депутатов ответил, что фактически расходы собрания он будет оплачивать, если будут платные вечера, а никакой добавочной платы устанавливать не намерен, так как ему самому нужны большие деньги» (№ 111, 1917 г.).

Для читателей «Русского Слова» должно было быть ясно безо всяких комментариев это чудовищное «безобразие» Царицынского совета депутатов, точно так-же, как для царицынских рабочих и солдат было очень естественно для постоянной работы совета выгнать из очень удобного здания, с хорошим садиком над берегом Волги, господ буржуа, развлекавшихся там картами, флиртом, биллиардом и жратвой.

В указанный день, как, впрочем, и всегда в те времена, зал заседаний совета был переполнен: внизу депутаты, на хорах — солдаты и рабочие, наш «народ», наши избиратели.

Меньшевик П. развернул свои способности, а он был, несомненно, очень способный оратор. Как это часто с ним бывало, он удивительно искусно использовал все, что только можно было использовать при его очень неудобной соглашательской позиции, в защиту пресловутого «займа свободы». Особенно ярко и выпукло упирал он на такое соображение, возмущенно бросая его правой солдатской половине Совета и серым шинелям на хорах:

— Средства от займа пойдут на вас же самих, на улучшение вашего же материального положения. Большевики — лицемеры и предатели: на словах они защищают вас и кричат о ваших нуждах, а на деле хотят сорвать заем свободы, опустошить казну и тем лишить правительство возможности улучшить положение армии, одеть, обуть и накормить солдат...

А содокладчик отвечал ему:

— Нельзя давать деньги в липкие руки буржуазного правительства, ибо они пойдут исключительно на продолжение

мировой бойни и на борьбу с рабочими и крестьянами. И не вашим путем улучшить положение армии. Когда-то при Государственной Думе мы сидели в царских тюрьмах, и материальное положение наше там далеко не было блестящим. Тем не менее, мы требовали от нашей фракции в Думе сокращения кредитов на тюрьмы, а одновременно требовали от наших тюремщиков улучшения материального быта заключенных. Так и теперь. Мы против финансовой поддержки правительства, но мы, вместе с армией, требуем улучшить ее положение. Тут как бы жолоб, сколоченный из двух досок: одна половина его это наш отказ правительству, а другая половина — это наши требования к нему. И мы добьемся того, что по этому жолобу ваше правительство скатится в пропасть...

Докладчика поддержал заезжий меньшевик, который через каждую пару слов неутомимо повторял: «Я член Петроградского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Были, стало-быть, в Петербурге и такие...

Случилось и нечто гораздо похуже. На подкрепление соглашательской позиции выступил — увы! — «наш» левый эс-эр, мой соратник, любимец гарнизона прапорщик Федотов. Часть солдатских депутатов и хоры тотчас ответили ему бурным протестом.

Председатель совета, меньшевик Ш., по-своему, держался очень тактично: стеснял наших ораторов, укорачивал мои сроки, а то так и просто не давал говорить. В результате Совет раскололся почти на равные половины: за «заем свободы» подано более, чем против, на 13 голосов. Перетянули солдатские депутаты — офицеры.

Раскаленная атмосфера заседания разрядилась в громе аплодисментов большинства и в грозном негодовании наших депутатов и публики на хорах. В фойе меня окружили с криками:

— Что это за Совет!.. Переизбрать!.. Вот так депутаты от рабочих и солдат — с буржуазией!.. А Федотов-то каков? К меньшевикам перекинулся. Переизбрать их всех...

Я убеждал не горячиться, не переизбирать весь Совет, а только отозвать недостойных депутатов, и защищал Федотова, который, все-таки, был и опять будет с нами.

Особенно негодовали солдаты 141 и 155 полков.

Как часто буржуа и подворотня, в столичной и местной печати, обзывали солдат царицынского гарнизона «шкурниками». Заседание 23 апреля показало, наоборот, что почти половина депутатов и подавляющее большинство избирателей как раз были возмущены тем шкурничеством, на которое рассчитывали и которое, в интересах буржуазии, эксплуатировали меньшевики.

В этот день «соломенная диктатура» дала еще одну крупную трещину.

Тотчас после заседания Совета мы сошли в садик клуба на обще-партийное собрание. Да, мы все еще были в «единой, неделимой» организации с меньшевиками. Обручи трещали, расползались, но еще держали в своих об'ятиях нашу несуразную бочку. Стояло два главных вопроса: выборы нового комитета и выборы на всероссийскую партийную конференцию.

В Комитет из 12 членов попал только один, да и то наиболее приемлемый для нас меньшевик — Сагерашвили.

На конференцию меньшевики хотели во что бы то ни стало «выбрать» меня... Я раз'яснил, что теперь как раз мне необходимо оставаться в городе, и предложил послать в Петербург Ермана. Так и было принято нашим большинством.

*

Петроград... Великий город... Отец революций...

Он был на страже. Его рабочие кварталы и революционные полки зорко следили за каждой опасностью для распускавшей могучие крылья Революции.

Это Петроград задержал царя, когда он хотел, с санкции Временного Правительства, бежать за границу. И его же улицы задрожали от грозной демонстрации 20 мая. Ибо над рабочим классом и его борьбой нависла новая гроза.

Как раз перед Всероссийским Совещанием — 27 марта — Временное Правительство очень дипломатично разразилось нотой чуть ли не в интернациональном духе. Правительство по поводу войны писало:

«Граждане, Временное Правительство, обсудив военное положение русского государства, во имя долга перед страной, решило прямо и открыто сказать народу всю правду... Временное Правительство считает своим правом и долгом ныне же заявить, что цель свободной России—не господство над другими народами, не отнятие у них национальных достояний, не насильственный захват чужой территории, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов. Русский народ не добивается усиления внешней мощи своей за счет других народов. Он не ставит своей целью ничьего порабощения и унижения. Во имя высших начал справедливости им сняты оковы, лежавшие на польском народе, и русский народ не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной, подорванной в жизненных своих силах».

Получив от высокоуважаемых «союзников» нагоняй за такое неприличное поведение русской революции, Временное

Правительство решило не довольствоваться секретными уверениями в своей полной верноподданности и опубликовать к ноте 27 марта свое мудрое «сенатское раз'яснение». Лучшего момента для такого раз'яснения Правительство не могло почему-то выбрать, как именно день Первого Мая (18 апреля). А на следующий день телеграф разнес этот документ уже по всей России.

На радость капитала стран Антанты Правительство громко заявило:

«Проникнутые этим новым духом освобожденной демократии, заявления Временного Правительства (27 марта), разумеется, не могут подать ни малейшего повода думать, что совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе. Совершенно напротив: всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось...

«Само собой разумеется, как то и сказано в сообщаемом документе, Временное Правительство, ограждая права нашей родины, будет вполне соблюдать обязательства, принятые (конечно, царем *С. М.*) в отношении наших союзников. Продолжая питать полную уверенность в победоносное окончание настоящей войны в полном согласии с союзниками»... И т. д.

Подобно царю, Временное Правительство смотрело на «русский народ» попрежнему, как на стадо, целиком покорное только воле капитала.

Так отпраздновало новое Правительство международный день Первого Мая... Трудно сказать, чего было больше в этом замечательном документе — барского цинизма или трущобной слепоты русского лабазника...

И тотчас оценил события Красный Петроград: зашумел, заволновался.

20 апреля мостовые Петрограда загудели от величественной демонстрации гневного протеста. Но особенное негодование обрушивалось на головы двух главных буржуазных воротил — министра иностранных дел Милюкова и министра по военным делам Гучкова.

Правительство тотчас подалось и уже к 5 часам вечера, 21 мая, доставило в Исполнительный Комитет Петроградского Совета еще одно — самоновейшее — «сенатское раз'яснение», так же, как и прежнее, полное циничной лжи и лицемерия, но обозначавшее панический отбег правительства от позиции 1 мая — 18 апреля к позициям — 27 марта...

21 апреля демонстрации протеста прошумели по Москве, а затем раскатились грозным валом по всей России.

«Временное» (!), «революционное» (?) Правительство помещиков и буржуа с каждым часом теряло под собою почву и через несколько дней полуразвалилось и было заменено тоже «временным» правительством помещиков и буржуа, кулаков и мещан. Это коалиционное чучело дебютировало манифестом-декларацией 6 мая...

Девять министров-капиталистов и шесть министров-«социалистов» изобразили из себя тот «коалиционный» труп, который отныне «плыл, качаясь, как живой» по бурным волнам революции...

* * *

В Царицыне демонстраций не было. Да и против кого было манифестировать! За то еще больше сгустились тучи и накалилась атмосфера в Совете Депутатов на двух заседаниях — в конце апреля и в начале мая по двум, наиболее жгучим, вопросам дня: о предательском поведении Правительства 1 мая—18 апреля о коалиционном министерстве. Поистине, здание Совета было могучей лабораторией, в которой отливалось и шлифовалось классовое сознание рабочих и солдат...

А внутри «единой» социал-демократической организации борьба уже подходила к концу.

Как-то я написал довольно резкую статью об армии. Мне казалось очень естественным поместить написанное в единственном органе, который тогда у нас был — в «Известиях Совета Депутатов». Один из членов редакции, меньшевик Г., поместить согласился. Однако, не тут-то было: вождь меньшевиков П. обозвал статью «анархической» и категорически отказался напечатать ее в «Известиях».

Это было оригинально и поучительно.

В декларациях Правительства и в программах меньшевиков и эс-эров торжественно провозглашалась пресловутая «свобода печати». А на деле по всей стране, как и в нашем городе, только и слышен был безудержный лай реакционно-монархических гиен, буржуазных гончих стай и мелкобуржуазных дворняжек. Большевистской, пролетарской печати почти не было. Единственным утешением у нас в городе был дорогой гость из Москвы — орган Московского Комитета большевиков «Социал-демократ» — подлинный, бесстрашный, светлый рыцарь нашей партии. Петроградская же «Правда», орган Ц. К., стала выходить несколько позже, не сразу стала на обе ноги, да и приходила к нам с опозданием.

Для местной большевистской газеты у нас пока не было средств. И мы решили тогда на первое время толкнуться в орган Совета, то-есть меньшевиков и эс-эров. И, хотя в Со-

вете за нами шла, без нескольких голосов, половина депутатов, нам наглядно-таки показали, как мещане и кулаки понимают на деле провозглашенную ими «свободу печати». Крепко цепляясь за жалкое большинство в какой-нибудь десяток голосов, да, притом, большинство, далеко не выражавшее уже воли широкой массы избирателей, соломенная диктатура, во что бы то ни стало, решила доказать, что она все-таки... диктатура.

Этот наглядный урок для нас даром не пропал: мы решили выпускать партийную газету, а в партии за нами было уже подавляющее большинство.

Вечером 10 мая в зале Совета — общепартийное собрание, а на повестке, между прочим, вопрос об издании партийного органа. Чуя неладное, меньшевик П., по открытии заседания, предложил выяснить принципиально основные позиции наших обоих фракций. Собрание, по моему предложению, сочло это преждевременным и постановило решить этот вопрос, когда он возникает сам собой. Словом, чтобы оторвать от меньшевиков как можно больше рабочих, наша фракция сознательно оттягивала момент очищения от меньшевиков. Однако, плод уже созрел, что и обнаружилось как раз при обсуждении вопроса о печати.

Было решено издавать газету «Борьба» и выпускать ее, по возможности, ежедневно.

— Предлагаю от нашей фракции составить редакцию на паритетных началах, — заявил П.

— На паритетных началах! — ответил я: — на этих самых началах, рука об руку с капиталистами, вы уже соорудили ваши примирительные камеры, которые, пока, еще никого не примирили. А здесь позвольте создать такую редакцию, которая бы отражала волю собрания.

Тогда, самоуверенно до цинизма, П. провозгласил:

— Если не примете наше предложение, мы покидаем собрание.

Всего на собрании было человек 300—400.

Голосуем «примирительную камеру» и, конечно, отклоняем.

Тогда, с большим демонстративным форсом, поднимается вождь П, и торжественно направляется к выходу... Увы, за ним последовала кучка «верных», числом не более 20—30 человек. Да и те были поголовно служащие и интеллигенты. Рабочие и солдаты остались у нас.

Меньшевиков сопровождал гомерический хохот собрания.

И, действительно, редко можно созерцать более жалкую картину.

Наконец-то... Совершилось... Большевики с огромным облегчением вздохнули, посмотрели друг на друга, и каждый подумал про себя, а некоторые сказали вслух: «Как это хорошо»...

И тут же, вместо убывшего меньшевика, в Комитет был доизбран двенадцатый большевик.

В четверг, 18-го мая (по новому стилю 31-го), как в редакции, так и в рабочих кварталах и казармах, покупался нарасхват первый номер «своей» — родной и близкой газеты «Борьба». Гарнизон и рабочие встретили этот день и всегда потом помнили его, как небывалый праздник. А выручка от продажи, отчисления и сборы создали газете несокрушимый материальный фундамент.

«141» и «155»... Буржуазия ненавидела эти два номера и страшилась их больше, чем рокового числа апокалипсического зверя. И не только в Царицыне. Бывали случаи, что злобные мещане и патриотические буржуа, даже на улицах Москвы, нападали на солдат наших полков и срывали с их плеч ненавистные погоны с номером «141». По адресу этих полков, не только в провинциальной, но и в столичной буржуазной печати, велась бешеная кампания клеветы и травли... 93-й полк затронут был в меньшей степени большевизмом и, потому, был более приемлем для буржуазии, хотя часть, именно этого полка, была виновницей разгрома винного погреба. Впрочем, доставалось и этому полку, равно как и всему царицынскому гарнизону.

Так, несколько позже, Саратовская «Почта» вещала (№ 172, от 29 июля):

... «Вот уже, действительно, надо видеть. Солдаты, которые имеют по две пары сапог, устраивают променады по городу босиком. И то хорошо бы — только босиком. Имеются среди них принципиальные противники одежды.

«Правда, вопрос на митингах не обсуждался и всех революционных инстанций не прошел, но молчаливая санкция Минина имеется, — и вот, вы можете наблюдать импровизированные группы солдат без брюк, без гимнастерок. О сапогах, шапках и поясах и речи нет. При таком «художественном беспорядке» в туалете, по целым дням бездельничая и паразитствуя, чудо-дезертирская гвардия сонно и меланхолично бродит по бульварам, скверам, пристаням, загрязняя и заплевывая семечками нарядные аллеи, наводя ужас и вызывая отвращение жителей». (Это из заметки под заглавием: «Мининская гвардия»).

Но что это за орган — «Почта»? Чьи интересы он выражает и какова программа его самого? И почему же не отнестись доверчиво к его характеристике царицынской «гвардии»...

Вслед за приведенной заметкой, в том же номере «Почты» поставлен отдельчик: «Стрелы», в котором помещены такие стихи: —

«Железка».

«Я люблю ужасно дам —
«Их улыбки остро-сладки,
«Я люблю ужасно дам —
«Их мгновенья страшно кратки.
«Я люблю ужасно дам —
«С ними Рок играет в прятки.
«Я люблю ужасно дам —
«Если к ним идут девятки».

Под этими стихами протянута черта и дальше стоит подпись — Редактор А. Е. Пржевальский.

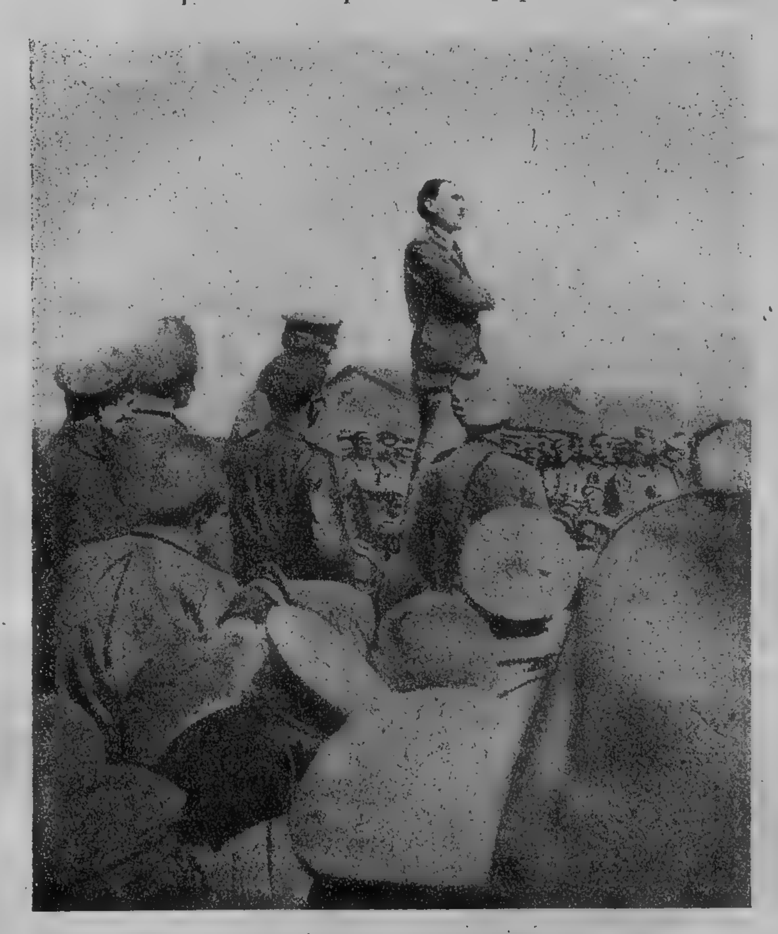
Вот эта самая пошлятина и бездарь выступала против красного города на столбцах «Почты», «Раннего Утра», «Утра России», «Русской Воли» и бесчисленных прочих, им подобных, органах бессильных, тупых и жалких русской буржуазии и русского мещанства...

141 полк... Незабываемая картина... Под яркими лучами солнца, по сигналу трубачей, выбегают из казармы и тесно группируются вокруг высокой трибуны или автомобиля солдаты. Их очень много — тысячи... Возле самой трибуны командир полка. Он очень любезно встречает ораторов-большевиков, да и он сам чуть ли не большевик или полусочувствующий — ничего не поделаешь. Очень любезно дает некоторые об'яснения оратору, а то, так даже поднимается на трибуну, чтобы сказать слово или оправдаться от обвинений, и говорит он тоже очень охотно: ничего не поделаешь...

Офицеров почти нет: кто в городе, кто в казарме остался, и только немногие нехотя, переминаясь и, как-то нерадостно улыбаясь, группами толкутся на митинге.

Часами, долгими, жаркими часами, под полуденным солнцем, стоят и слушают солдаты. Впрочем, они не только слушают. Из них очень многие сами выступают, а другие задают бесчисленные вопросы — устно и записками. И не только задают вопросы. О, нет. Они забрасывают целыми сериями предложений из области как общей, так и местной политики, как военной, так и гражданской жизни. Тут было все: и фейерверк мыслей только что пробудившегося крестьянина, и гнев разочарованного и обманутого солдата, и злоба униженного, но еще несознательного труженика, и тонкое наблюдение городского рабочего. То была фабрика, лаборатория, где, воспитывая других, учились и воспитывались мы сами. Иногда шедшие из массы предложения удивляли своим анархизмом и фантастичностью, часто, наоборот, поражали изумительной классовой прозорливостью. Всем авторитетом нашей партии и нашего

опыта мы ликвидировали анархию и пресекали путь несбыточным и вредным фантазиям. И в этом находили поддержку подавляющего большинства. Зато сколько вполне целесообразных и вполне реальных мер потом оформлял и осуществлял



Собрание в 141 полку. Снято неизвестным фотографом весной 1917 г.

наш партийный комитет, не изобретая их сам на заседаниях в четырех стенах, а почерпая их из опытов, переживаний и мыслей самой революционной массы.

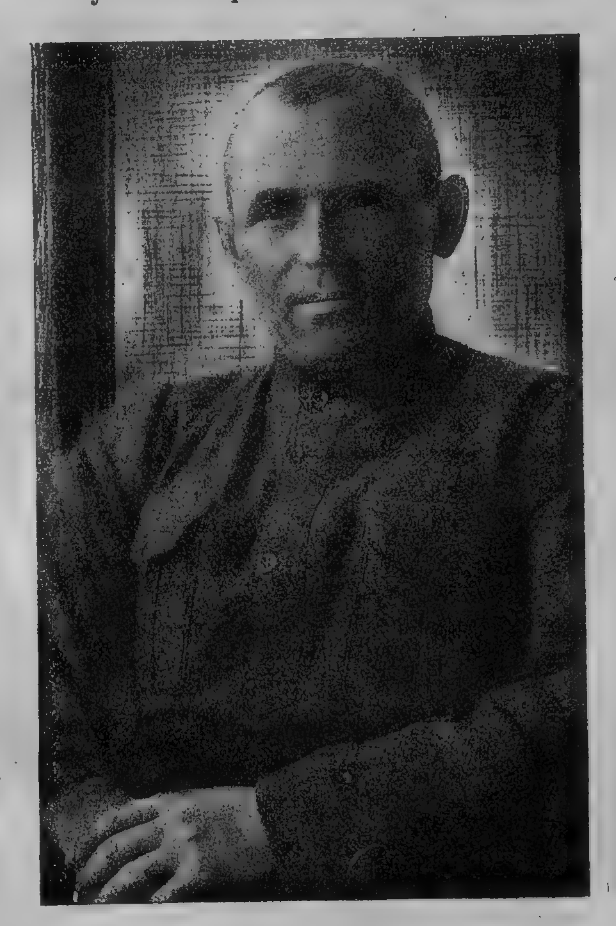
Таковы меры, касавшиеся разоружения офицеров, сначала учета, а потом конфискации оружия в магазинах, стремительного обессиления старой Городской Думы и т. д., и т. п.

Сначала — в марте и первой половине апреля — только буржуа, меньшевики и эс-эры имели дело публично с гарнизоном: они провожали маршевые роты, они вообще устраивали собрания, запрещая таковые для большевиков. Со второй половины апреля обстановка радикально переменилась. Гарнизон органически не переносил ни господ буржуа, ни их меньшевистско-эс-эровскую подворотню, ни их вооруженную опору — студенческий батальон, особенно после Первого Мая. В этом была, несомненно, одна из причин того, что студенческий батальон вскоре был выведен из Царицына, несмотря на удобнейшее расположение в казармах этого города. Буржуазия и мещанство проводили «студентов» цветами и слезами, а гарнизон и рабочие — остротами и смехом.

Забавная картина, которая в разных формах повторялась во многих городах, но которая наблюдалась в Царицыне, вероятно, раньше, чем где бы то ни было: вот не желает итти на фронт маршевая рота, вот почему-то заволновался гарнизон или какой-нибудь из полков. Уж кому бы, кажется, не устремиться тотчас-же к маршевой роте, в полк, на внезапное собрание гарнизона, как не самим «диктаторам»... Не тут-то было — они... они посылали большевиков. И мы, на радость нашего Совета и Керенского, отправляли-таки маршевые роты, за которые нас потом проклинало офицерство на всех фронтах. Мы успокаивали полки, но так, что получавшийся «покой» наводил ужас на буржуазию и мещан. Мы готовы были беседовать с гарнизоном во всякий час дня и ночи, но от этих бесед росла гигантски наша партия и катастрофически таяли ряды меньшевиков и эс-эров.

Ерман работал у нас по «внешним сношениям». Его посылали на всероссийскую партийную конференцию и I-й С'езд Советов. Он же преимущественно работал среди рабочих. Я работал везде, но главным образом, в гарнизоне. Со мной часто ездил к воинским частям и Федотов. Очень близкий к большевикам и получивший за это от своей организации нагоняй, но все-таки, как левый эс-эр, Федотов поскользнулся на «займе свободы». И гарнизон моментально к нему охладел. Но «затмение» скоро исчезло, и Федотов опять стал одним из любимейших у солдат ораторов. Он был прапорщик 141 полка. Отталкивая от себя офицеров, разоружая их, под час преследуя наиболее злостных врагов из них, гарнизон отнюдь не стремился вообще к немедленной ликвидации степеней, к всеобщему «поравнению». На одном из особенно удачных собраний, когда выступления Федотова сопровождались необычайным восхищением слушателей, 141 полк единодушно постановил потребовать от начальства... произвести Федотова в поручики!..

Прапорщик военного времени, учитель по профессии, крестьянин по происхождению, Федотов пользовался большим авторитетом и любовью среди солдат царицынского гарнизона как за позицию, очень близкую к большевикам, так и за характер своих выступлений перед массой.



К. Я. Федотов.

Гарнизон чувствовал в Федотове своего человека, прекрасно знающего деревню и солдатский быт. Никаких особых ораторских приемов, которыми так грешил меньшевик П., у Федотова не замечалось. Он не «выступал», не ораторствовал, он просто говорил, от души беседовал, сопровождая свою речь такими

чисто крестьянскими оборотами и остротами, что слушателям казалось, что это же самое они давно мыслили и чувствовали, ну, только вот, почему-то не могли или не догадались высказать. Маленький, сухопарый, с усмешечкой, негромким голосом держал Федотов свою речь. Солдаты затихали, чтобы не проронить ни звука, а то вдруг заливались хохотом и всегда награждали оратора громкими аплодисментами.

Как-то в начале мая утром, председатель Совета, меньшевик Ш., присылает ко мне на квартиру записку: «берите немедленно машину и поезжайте в 141 полк — он под ружьем и готовится разгромить весь город...» Я знал, что на 75% тут просто паника, незнание гарнизона и естественный, в таких случаях, трепет «соломенных диктаторов». Но знал я также, что если бы это было верно только на десять процентов или, что если полк собрался просто без всяких там панических процентов, то мне следует поехать. Таково было у нас тогда правило, которое давало колоссальные результаты для нашей партии, но которое, само собою разумеется, беспощадно выматывало наши силы. Впрочем, о последнем в те времена как-то не думалось, тем более, что все мы чувствовали в себе тогда накопившиеся силы не только персонально наши, но, как будто, еще целого ряда минувших поколений...

Под'езжаю к баракам-казармам. И, действительно, полк под ружьем.

— Что такое? В чем дело?

В ответ понеслись крики негодования, возмущения и угрозы по направлению к центру города:

— Чем нас кормят!.. Поглядите-ка — это что? Собаки мы, что-ли...

— Обещали деньги на довольствие, да теперь жалко стало. Еще распечатали в газетах.

— Голодных на фронт, а сами тут обжираются...

— Одним словом, товарищ Минин, мы решили с ними поговорить по-своему...

Я знал, на каком языке они угрожали разговаривать, как знал также, что никакого кровопролития они не учинят, а только до смерти перепугают почтенных буржуа. Между тем, в городе паники было уже достаточно. Правда, никто никуда не выезжал, никто даже не суетился по улицам, не слышно было также потом, чтобы кто нибудь составлял завещания. Да и что завещать? И кому завещать, когда целый большевистский полк под ружьем и собирается в таком виде немного прогуляться по городу...

Полк остался на месте, а я двинулся в Бюро (президиум) Совета, где и рассказал в чем дело. К моему крайнему изумле-

нию, эс-эры и меньшевики распалились негодованием не против мятежного полка, а против тех же несчастных «доброхотных даятелей» — капиталистов. Очевидно, та пара часов, которые полк уже стоял под ружьем, не прошли даром даже для унтер-господ — меньшевиков и эс-эров. Тотчас же единогласно была принята резолюция — приказ буржуазному Исполкому: немедленно выполнить опубликованное капиталистами в печати обещание о добровольных пожертвованиях, для улучшения материального положения гарнизона.

Обещана «жертва» была еще в половине апреля. К началу мая, как сообщалось в буржуазных газетах, фактически собрано было уже 1.200 тысяч рублей. И до последних дней фактически гарнизону ровно ничего не давалось, хотя маршевые роты, так или иначе, отправлялись на фронт одна за другой. Солдаты ехали без желания воевать или с решением не воевать, но никто из них не был уверен, а не придется ли на самом то деле все-таки еще и еще тянуть лямку старой, опостылевшей царской войны. И вместе с тем, материальные условия в казармах и в пути были прямо-таки ужасны. И это — когда солдат уже становился гражданином и политиком и научился понимать общественные отношения, и совершенно новыми глазами смотрел на войну. Полк под угрозой оружием потребовал... Чего? — Ничтожного улучшения своего быта, улучшения, которое, к тому же, было обещано капиталистами и отнюдь для последних не составляло непосильного бремени.

Тем более постыден и жалок тот шакалий вой, который подняла в своих газетах буржуазия местная и российская по поводу «царицынской контрибуции».

Я и Федотов приезжаем в Земскую Управу. На-лицо несколько членов Исполнительного Комитета и, конечно, все в ужасе и панике.

— Да я-то, что могу вам сделать... — волнуется Розанов: — идите к Кистову — он затеял эти сборы.

Один из крупнейших лесопромышленников, Кистов, который впоследствии с гораздо большей охотой давал порядочную «лепту» на меньшевистскую газету «Рабочая Мысль», беспомощно и безнадежно развел руками, когда мы пред'явили ему резолюцию Совета:

— Ну, что же я с ними могу поделать... Обещали. Все обещали. Не дают. Ну... Торговцы железом тоже были обложены, а теперь отказываются: — говорят — пусть лесники жертвуют, а железо не горит...

Бедные торговцы лесом... Одни за многих...

И какие счастливцы эти торговцы железом и скобяным товаром... И на каком основании железо и вообще металлы не горят!

Ясно было, как приблизительно господа буржуа представляли себе оперативный план восставшего гарнизона: сначала солдаты со всех четырех концов подпалят город, а потом... Да, что потом. Довольно того, что погибнут драгоценнейшие бесчисленные штабеля распиленного леса, потом заводы, потом бревно на воде... Вот тебе и фирма, известная по всему югу и Кавказу. Вот тебе и барыши... А железо-то — не горит... Вот и расплачивайся за всех...

По чеку на государственный банк мы получили 200 тысяч и тотчас отправились раздать эти деньги по полкам. При чем, конечно, мы и не думали утаивать, как охотно и сердечно оторвал от себя иуда-капитал свои серебренники на благо — «свободного солдата, свободной страны»...

И с тех пор еще ненавистней стал гарнизону тупой и жадный, сытый и безжалостный мир капитала.

* * *

В понедельник, 22 мая (старого стиля), в праздничный день «Святого Духа», в городе произошло событие, которое дало богатейшую пищу для буржуазных писак всей России и, даже, послужило предметом особых размышлений и мудрых решений самого «Временного Правительства». Одно из наиболее «скромных» сообщений буржуазных газет, именно — «Русского Слова», по поводу этого события гласило так:

«На митинге большевиков.

«Убийство приказчика Бояринцева.

«ЦАРИЦЫН,—23-V. Город чрезвычайно взволнован дикой расправой толпы над приказчиком Бояринцевым, закончившейся смертью последнего. Расправа произошла при следующих обстоятельствах:

«Вожак местного большевизма, некий Минин, собрав на Скорбященской площади толпу рабочих и солдат, говорил о войне в духе ленинской кампании. Проходивший мимо Бояринцев позволил себе сделать несколько замечаний по адресу большевиков. Толпа набросилась на него и убила.

«Характерно, что митинг после убийства продолжался, как ни в чем не бывало.

«Партия народных социалистов вынесла по этому поводу резкий протест.

«Общественные организации, судебные и административные власти ведут по поводу дикой расправы энергичное следствие».

«Раннее Утро» или «Утро России» сообщало об этом событии несколько «подробнее», и там картина получалась еще сочнее:

— «Солдаты взяли за руки и ноги приказчика Бояринцева и, на глазах председателя собрания Минина, под звуки военного оркестра, с размаху били несчастного об землю, пока не прикончили. А митинг после этого продолжался, как будто ничего особенного не случилось»...

На самом же деле событие, действительно экстраординарное, произошло так: на площади, где в центре поставлена Скорбященская церковь, к востоку, ближе к Волге, монументально возвышается «Дом Наук и Искусств», а в северной части, почти у полотна Владикавказской железной дороги, расположилась высоченная пожарная башня, собрался один из грандиознейших митингов. Участниками были рабочие, просто разные обыватели, но больше всего было солдат, которые, как всегда, пришли в строю полками, со знаменами и полковыми оркестрами. Главный вопрос был — осуждение австрийским правительством на казнь социал-демократа Фридриха Адлера. Во время моего доклада кто-то с отдаленной периферии собравшейся массы резко, вызывающе крикнул:

— Значит, по-вашему, французское правительство тоже не демократия?!

Продолжая доклад, я потом ответил и на эту реплику.

Говорил я с бочки, той самой бочки, которая, за отсутствием постоянной трибуны, каждый раз для митинга выкатывалась из пожарного депо и которая тоже не давала покою буржуазным «собственным» и «специальным» корреспондентам. Через некоторое время, с моей оригинальной, но довольно удобной трибуны, я заметил, как с того места, откуда послышалась нелепая реплика, отделилась какая-то небольшая группа, человек в пять, и, усиленно толкуя о чем-то и жестикулируя, направилась к «Народному Саду» (рядом с пожарной частью), потом пошла обратно и скрылась за церковью. В это время подходил как раз запоздавший несколько 155 полк. Еще через некоторое время, уже по другую сторону церкви, появилась опять группа, значительно крупнее. Там тоже что-то резко говорили друг другу, жестикулировали, волновались. Потом отделилось несколько человек из этой группы, сели на подвернувшегося извозчика и направились к центральной площади города — Соборной. А митинг на самом деле продолжался «как ни в чем не бывало». Никто из собравшихся, вероятно, ничего не видел из того, что мог, до некоторой степени, наблюдать я с высоты моей бочки. То же, что наблюдал я, ровно ничем не отличалось от того, что я наблюдал обычно с трибуны во время крупных и длительных митингов.

По обыкновению, после доклада поступило множество предложений и вопросов. Как всегда, выступали без конца представители разных фронтов, частей и городов. Как нередко бывало, чтобы помешать митингу и сорвать его, скорбященские попы звонили и перезванивали таким манером и так долго, как ни по каким канонам совершенно не полагалось, а мы, в ответ, посылали одну делегацию за другой, чтобы урезонить попов и посократить их благочестивое усердие, а сами, со смехом, «об'являли перерыв».

Под палящими лучами солнца начался митинг в 4 часа дня и продолжался до прохладных сумерек в десятом часу. Большинство участников растеклось тут же по площади и по улицам, а поредевшие полки направились по казармам.

По дороге с митинга меня встретила группа большевиков:

— А знаете, что было на Соборной площади? Во время митинга подошел к собранию какой-то приказчик Бояринцев, должно быть в пьяном виде, и начал ругать большевиков, обзывая провокаторами и тому подобными именами. Солдаты отвели его и уговаривали, а он не унимался. Толпа увеличилась, и Бояринцева хотели избить. Но другие солдаты, а с ними член нашего Комитета Борман, выхватили Бояринцева, усадили на извозчика и повезли домой, но на Соборной площади кучка каких-то солдат догнала нас, отняла Бояринцева и так избила, что, доставленный в больницу, он там от побоев умер...

Итак, на пьяной почве «политический конфликт» и... анархическая развязка.

— Почему же не сказали мне во-время? Ведь, стоило приказать полкам, и вся эта история была бы тотчас же приостановлена...

— Да как-то некому было...

По существу это был у нас единственный, а вообще исключительно редкий случай защиты большевиков путем анархической тактики. Обычно и повсюду такая тактика применялась, без всякого зазрения совести против большевиков. Только по поводу одного лозунга: «война войне» большевиков повсюду избивали, обдирали платье, а то так и приканчивали. И ни одному буржуа, кулаку или мещанину и в голову не приходило публично заклеймить, осудить подобную тактику, как это сделали мы в данном случае. Наоборот, в «хорошем обществе» подобные действия против большевиков рассматривались как воинская доблесть и патриотический подвиг. И как же завыла после этого случая вся проституционная, антибольшевистская печать. Завыла от бессилия устроить немедленное кровопускание царицынским большевикам. Но, кажется, больше всех и переходя всякие границы неистовствовали наши землячки — царицынские

меньшевики и эс-эры. Да, то были дни сумасшедшей свистопляски, беспардонной, истеричной лжи, клеветы и травли. Забыв или не желая знать о трагической сущности события, тупые мещане торопились поднажить на этом «дельце» политический капитал, тем более, что Бояринцев оказался... меньшевиком (или по этому случаю просто был причислен к лику меньшевиков). Пострадавшего возвели в народные герои и при похоронах (с участием попов!) оказали ему всяческие почести...

А если бы пьяные выкрики злосчастного приказчика закончились погромом против большевиков?

Новая словесная и печатная истерика против нас была разыграна после того, как ни наша партия, ни рабочие, ни гарнизон не приняли участие в похоронах «жертвы»... чего?.. жертвы пьянства? провокации? хулиганства?..

Мы сурово осудили убийц. Мы заклеймили их на наших собраниях. Но, требовать, чтобы большевики подносили красный венок и воздавали революционные почести памяти того, кто погиб от пьяной неудавшейся провокации против нашей же партии, — это со стороны оголтелых мещан было верхом цинизма и политического плутовства.

После таких событий общественная атмосфера накалилась до высшей точки, на которой расплавляются последние скрепы между основными классами—эксплуататоров и угнетенных—и на которой, наоборот, отливаются новые крепкие связи между разнообразными слоями и группами, входящими в каждый из борющихся двух классов.

Даже улицы города как-то изменились. Даже в мирный час будничного дня чувствовалось, что это движется не просто толпа граждан, а группы и личности разных классов, до «последней черты» презирающих и ненавидящих друг друга. И, если теперь гарнизон и рабочие сплотились еще теснее под знаменем большевиков, то не менее тесно и «братски» об'единилась против нас вся «реакционная масса» уездных помещиков, городских буржуа, кулаков, мещан, сытой интеллигенции, продажных литераторов и бульварных писак. И вслед за этим обнаружилось с поразительной очевидностью политическое противоречие: власть оставалась у меньшевиков и эс-эров, теперь окончательно побратавшихся со всеми эксплуататорами. У большевиков, наоборот, формальной власти не было, однако все про себя думали, что, пожалуй, фактически-то большевики во много раз сильнее.

Диктатура кулаков и мещан не только приходила к концу, но перед своим падением на глазах у всех превратилась в диктатуру всей буржуазии в целом, что при единовременном полном бессилии «соломенных диктаторов» показывало их всех перед

трудящимися, как обанкротившихся кругом, бесстыдных и мстительных политиканов.

Еще ранее, на воскресенье 28-го мая, комитетом большевиков был назначен «День Печати», день газеты «Борьба». Сплоченность всей реакции, бешеная ненависть против большевиков после убийства Бояринцева так подействовали даже на некоторых большевиков, что они стали говорить:

— Ничего не выйдет из нашего «Дня Печати». Хорошо, если только провалимся, а если опять получится какой-нибудь скандал...

Но Комитет постановил: тем более теперь необходимо провести «День Печати» по всей намеченной программе.

И вот настал этот памятный, буквально исторический день.

После шести суток предгрозовой температуры, насыщенной электричеством небывалого напряжения, вероятно не было в Царицыне ни одного гражданина и ни одной гражданки, которые, каждый по-своему, не думали бы:

— Чем-то кончится этот роковой день?!.

«Верхи общества» и просто обыватели ожидали всеобщего погрома и необузданного разгула «дикой большевистской толпы».

Меньшевики и эс-эры ожидали нашего провала и, чтобы потягаться с нами, назначили на то же воскресенье, на 10 часов утра, заседание Совета Депутатов.

Большевики были уверены в себе, но все же подумывали: как-то это пройдет и не будет ли какой опасной и хитрой провокации.

Накануне утром, в субботу, произошел грабеж в ювелирном магазине Альтшулера с убийством хозяина. Враги наши тотчас приписали нападение большевикам и моментально усилили травлю. Немедленное следствие, однако, обнаружило на месте же обычно-профессиональную уголовщину, при чем наши же товарищи, солдаты и рабочие, особенно энергично помогли нащупать нити преступления.

Итак, «День Печати» наступил.

Около десяти часов утра я вышел на улицу и обошел центральную часть города. Наша команда мальчиков-газетчиков усиленно выкрикивала:

— «Борьба»!.. Номер шестой!.. «Борьба»!.. «День Печати»... Номер шестой...

Мальчики бегали по улицам и усиленно размахивали свежими листами такой дорогой для всех нас, такой милой и родной революционной газеты.

Наши сборщики и сборщицы с кружками в руках и яркими бантами на рукавах и груди шумно рассыпались по улицам и площадям.

Увы!.. Площади и улицы были пусты.

Двери домов и складов, магазинов и учреждений плотно и как-то угрюмо заперты. Все окна закрыты и через стекла не видно ни единого лица, как будто обитатели вымерли, куда-то переехали или не думают целый день покидать постелей...

В одной из боковых улиц попадается навстречу одна старая знакомая, бывшая учительница, жена врача.

«Вот так храбрая», — подумал я.

— Что вы делаете, — заторопилась она, — я давно хотела вас отыскать.

— Куда вы так спешите? — отвечаю: — Что случилось?

— Да разве ж это мыслимо... Я буду вас просить, умолять...

— А в чем дело-то? — скажите.

— Ведь это кончится резней. Какой-нибудь провокатор выстрелит... ну, в вас, и мы тогда погибли, ваши разгромят всех... Отмените сейчас же этот «День Печати». Умоляю вас...

Я предложил ей поскорее пойти домой, ничего не ждать и успокоиться.

А все-таки храбрая, прямо-таки героиня: в такой «страшный» день и... решилась пойти на базар.

Выхожу на Земскую площадь, куда к 12 часам должны были подойти демонстрации. Пустота. Смотрю на часы — ровно двенадцать. Подходят одинокие группки и кое-кто из членов Комитета.

— Почему же никого нет?

— Вероятно, замешкались, — отвечают, — как всегда, ну, скоро будут, 155 полк уже вышел. Впервые сепаратно, только одной нашей партией была назначена такая грандиозная по замыслу демонстрация. И невольно хотелось, чтобы она не только оправдала все наши надежды, но чтобы она началась как можно скорее, скорее...

Что рабочие будут, в этом никто не сомневался, но сколько их придет? Что гарнизон примет активное участие, это ясно, однако, придут ли полки в полном составе? Не отразилась ли на местах в худшую сторону вся эта кампания сплоченной реакции...

Площадь и улицы начали понемногу оживать — то собирались поблизости живущие рабочие.

И вдруг послышались из-за Царицы отдаленные, волнующие, радостные звуки военного оркестра. Не успел подойти 155 полк, а с противоположной стороны, также под звуки «Интернационала» уже показался 141-й. Все ближе, ближе, и крупные массы полков заполнили значительную часть небольшой площади перед

Земской Управой. Потом, стройно шагая и оглашая улицы дружным, мощным пением, под массой красных знамен, влились на площадь рабочие Орудийного и «Французского» (металлургического) заводов, 93 полк, грузчики, рабочие мельниц, металлических и лесопильных заводов, союз ремесленников и многие другие.

Так же молчали угрюмые двери домов и закрытые ставни окон.

Так же на улицах никого не видно было из «уважаемых, почтенных» граждан.

А город ожил, преобразился: двигались густые колонны демонстрантов, покачивались над ними огненно-красные знамена, блестели трубы полковых и рабочих оркестров и гудели-переливались могучими волнами песни революции.

Под команду офицеров-большевиков полки перестраивались и плотно группировались вокруг трибуны. А за ними стройными, тесными рядами становились рабочие и работницы. Дети и подростки заполняли интервалы, карабкались на деревья, подбирались к самой трибуне.

А здесь, почти у самого здания управы, на каких-то некрашенных столах и скамьях и возле них, в самом жизненном центре всего громадного коллектива рабочих и солдат, собрался наш Комитет.

Несмотря на дальность расстояний от окраин и пригородов (до 10 верст) рабочие пришли в подавляющем большинстве и притом с крупнейших фабрик и заводов. Полки явились полностью во главе с новыми, своими командирами.

Где-то там, у меньшевиков и эс-эров, заседал «Совет Депутатов»...

Где-то там занимались вермишелью, переливанием из пустого в порожнее.

Впрочем, заседал ли «Совет»? И как заседал? — Об этом я не знаю до сих пор, а тогда тем более этим вопросом никто из нас не интересовался.

Для нас тогда было интересно, важно и ценно только одно: здесь, на этой тесной площади, в назначенный нами день и час для определенной революционной цели собралась эта многотысячная масса рабочих и солдат.

Не помогли буржуазии ни клевета, ни травля, ни бесшабашное лганье.

Наоборот: наши ряды, после шести суток бешеного натиска врагов, количественно возросли, а качеством поднялись на такую высоту, о которой и не думалось неделю тому назад.

Во всем городе железный порядок и никаких «происшествий».

А на площади, перед окнами Городской Думы и Земской Управы, — громада рабочего люда под знаменами пролетарской партии, необычайное воодушевление — до энтузиазма, ликующая радость и сознание полной победы. Здесь, на площади, материальная, политическая и моральная сила — фундамент новой, железной диктатуры...

Даже небо как будто приветствовало победу большевиков: полуденное жаркое солнце затенялось частыми, густыми облаками.

Вдруг — тишина. И... с углового балкона Земской Управы потрясли воздух неслыханно прекрасные звуки:

«Вставай, проклятьем заклейменный,
«Весь мир голодных и рабов...»

То пел большой военный хор 155 полка.

Мелодии пролетарского гимна, как-то особенно переработанные и тонко украшенные, упали с высоты на собравшихся так неожиданно, так потрясающе, что вся площадь застыла в каком-то стихийном благоговении.

«Кипит наш разум возмущенный
«И в смертный бой вести готов...»



Саша Савилова
работница-грузчица, активнейшая участница «Дня газеты „Борьба“».

После пережитой кошмарной недели поругания и оплевания, свалившихся на нашу партию, на большевиков-рабочих, на гарнизон, как много говорили эти звуки сердцу каждого слушателя. Как бесконечно жалки, нелепы, смешны и подлы казались в этот момент и бесстыжая клевета, и шулерское благородство, и тупой животный страх буржуазии...

Поздно вечером, уже на третьей площади, закончился «День Печати».

А вместе с этим днем закончилась и... «соломенная диктатура».

VI. Диктатура большевиков.

Итак, совершилось. В одном из промышленных городов, а следовательно и в прилегающем к нему огромном районе, власть оказалась в руках рабочих, солдат и крестьян, руководимых партией большевиков.

И это лишь через три месяца после свержения царя.

И это в стране, где была свергнута монархия, но где еще никем формально не была провозглашена республика...

Как-то в марте, пару недель спустя после переворота, мне пришла в голову и сверлила мой мозг такая мысль: в России после 1905 года совершилась вторая революция, но власть опять попала не в руки рабочего класса, и партия пролетариата снова и еще раз, как везде, как всегда до сих пор, остается партией угнетенных, партией преследуемых, партией эксплуатируемых. Неужели, наше поколение так и не увидит победы социализма? Неужели еще долго-долго на долю нашей партии только и останется—критиковать буржуазные партии, нападать на капиталистический режим, подламывать его фундамент, и в то же время терпеть клевету и нападения и видеть атаки революционного класса отбитыми, а жертвы его неисчислимыми и бесконечными.

И вот уже совершилось...

Правда, не в целой стране, не в ее даже крупном центре, как Петроград или Москва, Киев или Харьков, а в одном из окраинных городов, но... совершилось.

И пришло это настолько неожиданно, настолько внезапно, бескровно и бесшумно, что многие даже из нашей организации не тотчас поняли, что на самом деле произошло на их же глазах и что они своей борьбой отвоевали.

А, между тем, фактически это и было начало социализма, его первый луч.

Царицыну, этому городу, окрещенному ярко монархическим именем, посчастливилось, пожалуй, первому на практике начать осуществление знаменитых «Десяти тезисов т. Ленина», и не даром автор этих тезисов с таким вниманием следил за борьбой революционного города и с такой бережностью относился к нему впоследствии.

Впрочем, по внешности в Царицыне все оставалось по старому: никто не распускал буржуазный исполком—он подыхал собственной смертью; продолжались дискуссии на пленуме Совета, а в его бюро попрежнему руководил меньшевик Ш. Где-то

никому неведомый и всеми забытый «работал» уездный комиссар правительства эс-эр Иван Иванович Котов. Чуть-чуть подновленная копошилась по инерции Городская Дума. Мало того: мы продолжали отправлять маршевые роты на фронт...

Мы были лойяльны, чертовски лойяльны...

В самом деле: тысяч десять чистых штыков и, быть может, сотня пулеметов—словом, вся вооруженная сила города, в том числе и целый ряд офицеров-большевиков или сочувствующих,—все это было в распоряжении Комитета нашей партии и могло быть направлено в любой момент и по любому назначению. Подавляющая масса из 45 тысяч организованных рабочих, крестьянство уезда, боровшееся с помещиками еще в 1905 году, истерзанное и обнищалое казачество соседних округов Донской Области... Да, это была могучая, грозная сила, это был сам «народ», весь «народ» — и он шел за нашей партией, он сознательно и жадно искал ее руководства.

И эту огромную силу—вооруженную и невооруженную — комитет большевиков принужден был таить про себя, нет, больше того: он принужден был маскировать ее, облекать защитными цветами.

— Разогнать Думу. На штыки этих тарантулов! — кричали солдаты грозного 141 полка.

— А кто будет вести городские дела? Вы еще не сможете. Пусть работают, а после видно будет,—отвечали мы.

— Переизбрать Совет! Изгнать оттуда меньшевиков и эс-эров! — требовали в кулуарах Совета наши депутаты и хоры, наполненные рабочими и солдатами.

— Переизбирайте по частям отдельных депутатов,—советовали мы.

— Не посылать маршевые роты! — негодовал гарнизон в ответ на новые и новые приказы Казанского Военного Округа.

— Идите на фронт, замените усталых и там увидите, что делать,—отвечали мы, посылая с большевистскими наказами в руках, молодых солдат и вместе с ними выгребая из города мобилизованных полицейских, тюремщиков и учебные команды.

— Арестовать того-то и таких-то! — не раз гудело на собраниях.

— А зачем? Нет надобности. Разве они могут кому-либо повредить...—успокаивали мы.

— Повредить!? — бывало ответом: — пусть попробуют только—ни один из них живым не останется.

Однажды вечером, в начале июня, крайне переутомленный после целого дня заседаний и выступлений, пришел я к себе на Варваринскую № 6 и расположился отдохнуть.

Вдруг открываются двери: делегаты от гарнизонного митинга.

— Идите немедленно. Гарнизон волнуется и ждет вас.

Кое-как поднявшись, иду.

На привычном месте, на Скорбященской площади, возле церкви—не меньше, как трехтысячная масса солдат.

Иду по оставленному проходу на трибуну—бочку.

Начинается «слушание дела».

При полной тишине два-три докладчика по очереди рассказывают, как без всяких законных причин, исключительно в целях преследования большевиков и им сочувствующих, гарнизонное начальство арестовало такого-то писаря и посадило его на гауптвахту.

Собрание продолжалось уже в полной темноте.

Только на трибуне мерцал какой-то фонарик и время от времени чиркали спички для освещения читаемых документов и записок.

И вдруг эта тишина огласилась бурным требованием:

— «Освободить! Немедленно освободить! Идем»...

Но тут из мрака, окружавшего бочку, вылез ад'ютант начальника гарнизона и в спокойной деловой форме раз'яснил, что писарь арестован за нарушение интересов солдат же, за злоупотребления в области хозяйственных благ.

Посыпались возражения. Снова говорил ад'ютант.

«Прения сторон» окончились.

И очевидно было не только для меня и ближайших товарищей, но и для всего собрания, что «хозяйственные» мотивы ареста шиты белыми нитками и что вся суть заключается в политике.

— Освободить немедленно!—последовало громовое резюме собрания.

«Освободить»—хорошо это сказать и весьма нетрудно это сделать: послать пару ребят с винтовками или даже одного без оружия, но с запиской и... кончено дело.

Но вся беда в том, что мы не власть и не можем пока действовать как официальная власть.

— В виду того, что дело не вполне ясно, делаю я свое предложение, и в виду того, что нам не совсем удобно так просто вмешиваться в подобные дела, предлагаю сейчас же избрать комиссию из 5 человек, пусть они окончательно разберут это дело и доложат на следующем собрании. Тогда мы, наверняка, не ошибемся.

На следующий день от комиссии шел треск в помещении Бюро Совета, его Солдатской секции и у начальника гарнизона.

Разумеется, писарь был освобожден, но не «властью улицы», а... самим официальным начальством.

Правильно ли действовал наш комитет?

У нас тогда не было тесной связи с центром нашей партии. Да ЦК и не имел возможности тогда руководить бесконечным разнообразием борьбы местных организаций. На местах имелись «тезисы Ленина» и резолюции апрельской конференции. Петроградская «Правда» и Московский «Социал-демократ». И то недурно было по тогдашним временам. Периферия должна была конкретизировать эти общие оценки и принципиальные указания, смотря по обстоятельствам.

Ну вот мы и «конкретизировали» по своему опыту и разумению.

Были, однако, моменты, когда нельзя было не обнаружить своей силы.

Так, на одном таком же гарнизонном митинге был смещен командир 93 полка Коробкин, явный контр-революционер, тот самый, которого полк начал разгром винного погреба и который при этом разгроме устанавливал солдат с чайниками и котелками в очередь за вином.

Обвинения были выдвинуты против Коробкина с такой силой и внезапностью, что ничего не оставалось делать со славным командиром, как только его «сместить».

А впоследствии это, конечно, до некоторой степени нам повредило.

Второй случай был несколько иного рода.

Я поехал в Бекетовку на большое рабочее собрание. Поехал поездом (это станция в 12 верстах от города) и, разумеется, без билета.

По окончании собрания я торопился на ст. Бекетовка к очередному поезду (Владикавказской дороги).

— Не спешите на станцию,—остановили меня рабочие:, так как пассажиров на Царицын очень много, поезд остановится здесь.

Чуть не все участники собрания подошли к полотну на полверсты впереди станции «Бекетовка» и расположились на рельсах.

Скоро поезд отделился от станции и налетал на нас уже на всех парах.

— Стоп! Остановите. Стоп! — закричали рабочие, не освобождая пути.

Бывает так, что настроение управляющих машиной передается ей и выражается в ее внешности, как у живого суще-

ства. Так было и теперь: с большой неохотой машинист остановил поезд, а громадный американский паровоз шипел паром и шевелил колесами, как будто хотел раздавить нас или разметать нас кругом вместе с землей и все-таки соблюсти свои закоренелые привычки — не останавливаться между станциями.

Довольно большая группа расселась по вагонам, и мы поехали, долго прощаясь с оставшимися рабочими.

Разозленный паровоз моментально домчал нас до Царицына — станция «Владикавказская».

Схожу с подножки вагона.

Ко мне тотчас подошли двое каких-то не то милиционеров, не то солдат:

— Вы — Минин?

— Да.

— Вы арестованы. Идите за нами.

«Что это»? — подумал я: «шутка, глупость или наглое насилие»?

— Я член Президиума Совета и потому...

— Иди, иди. Приказано — так иди!..

За вооруженными на каменных ступенях станции виднелись две-три физиономии крупных железнодорожных чинов с искаженными от бешенства лицами. Казалось, они шипели паром, как их паровоз. Их глаза и руки метали в меня молнии.

— Хорошо, — сказал я, — и решил пока что последовать за конвоем.

— Тов. Минин, что такое? в чем дело? Куда это?

Я оглянулся: группа солдат 155 полка. Их было человека четыре и к ним бежали еще с поезда и станции солдаты и рабочие.

— Я сам не понимаю. Тащат. Угрожают винтовками. Идите-ка, позвоните там...

— Да, вы вот что, тов. Минин, идите садитесь в трамвай и поезжайте. А мы тут разберем.

— А вы за нами, — крикнули наши солдаты конвоирам, поднялись по ступеням и все нырнули в небольшое здание станции.

Я же поехал трамваем на свою квартиру.

Вечером и ночью происходило расследование.

Никого мы не арестовали и никакого физического воздействия вообще с нашей стороны не было — ведь мы, увы, не были властью, — но потом через Совет и прочие органы произвели некоторое перемещение в комендатуре и среди служащих станции, оставшихся целиком верными своему хозяйскому управлению в Ростове-на-Дону.

Итак, мы сдерживали себя даже тогда, когда имели, казалось, все основания действовать физически молниеносно и сокрушительно.

И сдерживали себя особенно тогда, когда несколько прорывались и изменяли принятой нашим Комитетом тактике.

Но разве Комитет на самом деле «принял» эту тактику?

Едва-ли. Я, по крайней мере, не помню, чтобы вопрос о тактике в этой плоскости когда-либо рассматривался руководящим органом нашей организации.

Да и разве была какая-либо особенная мудрость или чрезвычайная проницательность в таком образе действия?

Нисколько. Наоборот, наша тактика слишком очевидно диктовалась обстановкой и была понятна при первом намеке самому случайному собранию наших сторонников.

Ибо каждый из них прекрасно понимал, чем бы кончилась для нас тактика иного рода, на первый взгляд еще более простая, и во много раз более заманчивая и эффектная — тактика формального захвата власти и для всех очевидного обнаружения нашей политической силы.

Молодая и слишком ранняя коммуна революционного города и района была бы немедленно задушена вооруженной силой классовых врагов, брошенной на нас из наиболее отсталых районов.

И вот почему мы были так мучительно терпеливы и так чертовски лойяльны, что не только «не брали власти», но отказывались даже от борьбы за законнейшее большинство в Совете Депутатов, путем его полного переизбрания.

Зачем какие-то внешние аксессуары власти, когда и без того было достаточно «хлопот» с этой реальной, фактической диктатурой.

Зачем было провоцировать неизбежное внешнее нападение, когда замаскированная коммуна так удачно, так молниеносно разлагала буржуазную власть и «сеяла яд большевизма» во всей округе, по фронту и по многим иным направлениям.

До середины апреля 1917 г. для российской буржуазии на политической карте страны Царицына не существовало. Или — вернее — он существовал, но как вполне приличный город, державший себя по всем правилам хорошего тона буржуазной революционности: кричал о «победном конце», поддерживал «временное» правительство, кропил святой водой маршевые роты, освистывал большевиков.

Буржуазной печати тоже было не до какого-то там уездного, окраинного городка Саратовской губернии.

У буржуазной печати были дела покрупнее: во-первых Ленин, так неожиданно и коварно «подкинутый Вильгельмом

Вторым». Потом — Петроград, Москва. Наконец, колючий и буйный Кронштадт...

Ох, этот Кронштадт. Где-бы «немцев бить» да «союзников» выручать, а он... «долой войну»... Он за мир. За большевиков, за самого «изверга» Ленина. А тоже еще первоклассная крепость. Тоже «Город-корона» именуется.

И в бешеном остервенении буржуазная печать закружилась над Кронштадтом.

Но вдруг... точно кто дал ей горячий подзатыльник. Печать обернулась и на противоположном конце Европейской России тотчас обнаружила какую-то подозрительную неприятную точку.

Это и был наш скромный молодой город Царицын.

Внимание почтенной и «неподкупной выразительницы общественного мнения» раздвоилось, растроилось, как потом оно распятерилось, раздесятерилось, пока не потеряло совершенно способность что-либо разумно соображать.

Буржуазная печать неистово заголосила:

— Контрибуция!...

— Республика!

— Разбои!

— Пожары!

— Главари!

— Разнузданная чернь!..

Позвольте. Но, ведь, в Царицыне, как удостоверяли очень и очень многие, порядка было гораздо больше, а беспорядка и всякой уголовщины было несравненно меньше, чем во многих и многих, даже более крупных, городах.

Так в чем же дело?

А между тем помойные лохани, которые носили имена: «Русское Слово», «Русская Воля», «Раннее Утро», «Утро России» и прочие подобные в апреле и мае только начинали свою работу против Царицына. — Но зато как же они осатанели и заплевали бешеной слюной, когда не только подлинная буржуазия, но и ее неизменный арьергард — меньшевики и эс-эры — тоже потерял всякое влияние на царицынскую «чернь», то-есть на рабочих и на гарнизон.

Июнь—июль подарили нам, царицынцам, дотоле неведомые образцы буржуазно-печатного творчества.

Правда, я лично и до того был хорошо осведомлен о характере буржуазной печати — русской и заграничной. Но я никогда и подумать не мог, что человек, работающий пером, может из-за пятака или даже из-за классового интереса опускаться до такого «дна», до такого бесстыдства.

Теперь они писали уже не о городе вообще, о большевиках, о гарнизоне. Нет, они подробно смаковали каждую

выдуманную ими пошлость. Они давали характеристики целому ряду наболее заметных членов нашей организации. И, разумеется, больше всего тут попадало на долю Ермана и мою.

Иногда я напрягал воображение и пытался додуматься, как бы я, как читатель, представлял себе город и его деятелей, по адресу которых давались такие сведения «от собственных корреспондентов».

И мне рисовалась, примерно, такая картина:

«Когда-то приличный городок, теперь наполовину сожжен, наполовину разрушен. По улицам валяются неубранные трупы невинно убитых людей и целые горы подсолнечной кожуры, нагрызенной солдатами. Солдаты уныло бродят по улицам в одних подштанниках, грызут семечки и собирают контрибуцию с сирот и семёй фронтовиков.

«Шайки громил шествуют по городу и от нечего делать убивают первого встречного за неприятное слово, за взгляд, а то просто «так себе». Железная дорога бездействует. Пароходы обходят пристань, а если по неопытности подходят к ней, то их поворачивают назад, а с пассажиров требуют присяги городской республике. Если через город направляется для фронта какое-либо продовольствие, то солдаты захватывают его и делят между собой. А во главе громил и этого бесшабашного гарнизона два главаря: Герман (Ерман) «остзейский немец и шпион германского штаба» и Минин, бывший дьячок, друг Илиодора, безнадежный пьяница, громадный верзила в красной рубахе, с деревянной ложкой за мочальным поясом и с длинным ножом-косырем за голенищем»...

Все это приблизительно так и писалось.

И все это было достоверно приблизительно настолько же, насколько Яков Ерман, родом из еврейской семьи села Больших Крынок Кременчугского уезда, был остзейским бароном...

Клевета казалась такой искренней, а ложь дышала таким правдоподобием, а то и другое было так чудовищно несообразно, что не только отдельные читатели-царицане, даже из наших врагов, но и целые громадные митинги сотрясались от гомерического хохота, когда мы публично зачитывали эти архи-литературные статьи и достовернейшие «собственные корреспонденции».

Мы не только смеялись. На каждой подобной сенсационной клевете и выдумке мы учились и учили понимать буржуазию, капиталистический порядок.

Однако, при этом упустили мы сделать то, что в интересах борьбы, в интересах нашей партии было совершенно необходимо. Мы не опровергали, не развивали общественного мнения в нашу пользу в центральных газетах.

Ибо, во-первых, нам было «некогда». Разоблачения мы считали пустым занятием.

Во-вторых, мы были наивно убеждены, что раз это неправда, и если во всем городе не найдется сумасшедших, которые бы таким писаниям поверили, то и — клевета нас не заденет и ложь нам не повредит.

Партийная печать нетерпеливо ждала нашей информации, а интернационалистская газета «Новая Жизнь» даже перевела в один из банков на мое имя 100 рублей, как аванс, чтобы хоть этим побудить к информации.

А мы молчали.

Кругом кипела работа, и все прочее нам казалось пустяками.

Однако, все-таки, в чем же дело?

Почему буржуазная печать так неожиданно круто повернулась к нам, лязгала зубами и метала в нас ядовитой пеной?

А дело было-таки удивительно просто:

Мы наступили бешеной собаке на хвост... только на хвост и при том довольно деликатно и тактично.

Но паршивый пес завыл, как будто ему уже наступили на его собачье сердце.

Ибо он-таки знал, что иногда животные попадают в капканы и с хвоста.

Царицын был очень небольшим и весьма отдаленным кусочком огромного фронта борьбы. Но на этом именно кусочке был впервые и на деле прорван фронт, фронт капитализма, буржуазной диктатуры и «правопорядка».

Никаких «экспериментов социализма» мы не проделывали. Мы даже маскировались. И все это нам очень помогло. Но только отчасти. Только на время. Ибо хотя и плохоньким, но буржуазия была классом, и ее классовый интерес ей подсказал в конце концов правильно:

— Что из того, что по внешности в Царицыне как везде буржуазная дума, мещанский совет и так далее. А где реальная власть? А где безопасность «граждан»? В тяжелую минуту безвременья к кому пойдет, на чью грудь прильнет обиженная, печальная голова владельца дачи или поместья, домов или банка, фабрики или завода, пароходной или железнодорожной компании?

Некуда и не к кому.. Тупик... Аминь... Караул!.. Ату его!.. Ату!!..

В это время в Петрограде и на фронте происходили всемирно-исторические события: буржуазия и помещики, во главе с Керенским, готовили наступление «против немца».

Меньшевики и эс-эры на I-м С'езде Советов (1-я половина июня старого стиля) и за стенами его тайно и явно буржуазии и помещикам помогали.

А большевики!... Вот неистовый народ: они в этот священный момент перед самым наступлением «на немца» готовили демонстрацию протеста против войны, против правительства, словом, чуть ли не против всего порядочного мира. Под давлением «социалистов» большевики демонстрацию отложили, но потом, по окончании С'езда Советов, ее таки устроили да еще с каким потрясающим успехом.

А Ленин... Это исчадие Вильгельмовского ада... он потерял всякий облик социалиста, ибо на вопрос: «Возьмете ли вы власть?» он с неслыханной самоуверенностью ответил:

— Только уроните ее — поднять не побоимся.

Да что, Ленин потерял даже всякий просто человеческий облик, ибо, коснувшись подвигов буржуазии и ее правительства, он не постеснялся изречь:

— А недурно было бы для пользы дела переарестовать человек пятьдесят банкиров.

— Банкиров!? — изумились помещики.

— Этих почтенных граждан?! — возопили буржуа.

А «социалисты» (обоих наименований) густо покраснели: им было стыдно за того, кто когда-то тоже назывался социалистом, хотя и большевиком, и кто теперь, как какой-то жалкий проходимец, так незаслуженно и обидно вдруг напал на благочестивых и невинных владельцев финансового капитала...

После полуторамесячного приступа у Керенского белой горячки по всему фронту («Главноуговаривающий»—издевалась даже буржуазия над своим обер-лакеем), больной так-таки и полез на стену, при всем честном народе, 18 июня 1917 года.

Замечательное наступление... адвокатским лбом — по железной броне...

Но самым изумительным маневром у адвоката и его подзащитной буржуазии было то, что они по своей неисповедимой тупости в момент наступления на внешнем фронте бросили в жерло германской мясорубки почти все лучшие свои ударные части и тем не мало обессилили себя на фронте внутренней гражданской борьбы.

Обо всех этих событиях мы узнавали из газет, но во всех подробностях — от наших делегатов на І-м С'езде Советов во главе с нашим трибуном — Яковом Ерманом.

Да, было отчего повеселеть и окрылиться в нашей борьбе на далекой окраине.

Впрочем, у нас и без того события развивались довольно весело и летели вперед, как на крыльях быстрой птицы.

Буржуазная печать свое дело сделала. Она прежде всего заинтересовала Царицыном широкие рабочие и солдатские массы: из центральной России и из Украины, из Кронштадта и из Ро-

стова-на-Дону, а также из ряда других городов, наконец, из очень многих фронтовых частей к нам поехали делегаты — одни, чтобы посмотреть на город-коммуну, другие, чтобы проверить факты, третьи, чтобы помочь бедному населению несчастного города против большевиков.

— Вас тут ждут какие-то делегаты, — сказали мне однажды, когда я пришел в Совет.

В кабинете сидели трое солдат с нашивками и без нашивок на погонах.

— В чем дело, товарищи?

— Так много пишут о Царицыне в газетах, что нас послали к вам от нескольких частей Юго-Западного фронта посмотреть, правда ли, что в вашем городе творятся такие дела.

— Так зачем же вы пришли ко мне — говорю им: — вы идите по городу, по организациям, побывайте на собраниях и посмотрите сами. И лишь после этого заходите ко мне.

Через несколько дней (это были очень добросовестные делегаты) они снова были у меня:

— Мы зашли проститься.

— Как же вам показался наш город?

— Брехни много про вас, ведь сколько брехни в этих газетах. Как же это так? Зачем это?.. Теперь поедем и расскажем по всему фронту.

Многие делегаты, как нам было достоверно известно, просто шли в массы, все разузнавали и потом, не говоря ни слова, ехали обратно разоблачать неслыханную ложь.

Третьи, наконец, были преисполнены такого доверия к нашей организации и такой ненависти к наемным писакам, что тотчас по приезде на первом же собрании Совета или на митинге выступали с торжественными приветствиями и вместе с нами громили наших классовых врагов. Особенно же горячие взаимные приветствия были между ораторами Царицына и делегатами от Кронштадта: эти-то два города прекрасно уже понимали друг друга по вопросу как о революции, так и о буржуазной клевете.

И гостей у нас было бы еще гораздо больше, если бы из Царицына не ездили, в свою очередь, делегаты—официальные и неофициальные—по городам и весям взбаламученной Руси, а также если бы мы не посылали маршевые роты на пополнение и «освежение» фронтовых частей.

За «задержку маршевых рот» на нас тоже клеветали. И нас обвиняли в неотправке «пополнений на фронт», особенно в связи с подготовлявшимся молниеносным наступлением 18-го июня.

Увы, мы были слишком верными сынами своему отечеству, чтобы, во-первых, не исполнять приказания высшего

начальства (ведь, мы властью-то не были) и чтобы, во-вторых... не помнить о фронте.

Нет, мы помнили. И «пополнения» мы посылали.

И не наша беда, что по дороге на фронт целые кадры шкурников (полицейские, тюремщики и прочие подобные) бежали, куда глаза глядят, а остальные по дороге и на фронте сеяли такое буйное настроение, что царские генералы и керенские офицеры во фронтовых частях проклинали и разлагающийся фронт и наши славные пополнения и наш несчастный Царицын.

Умопомрачительные времена!..

Никак нельзя было угодить одному и тому же мудрому хозяину великой земли русской — ее временному и, разумеется, революционному, правительству: одни его представители проклинали нас за то, что мы не посылали на фронт маршевые роты, а другие, наоборот, обвиняли именно за то, что мы не забывали фронт и, насколько было возможности, укрепляли его «свежими силами».

Умопомрачительные времена. И неисповедимая... проницательность буржуазии крупной, средней и мелкой.

Так или иначе, но довольно скоро солдатская и пролетарская масса разобралась основательно и по-своему в том, что происходило в Царицыне, и с тех пор неизменно отдавала свои горячие симпатии красному городу, а делегатов посылала уже не столько для проверки или исправления заблудших, сколько для взаимной связи и информации.

Труднее, гораздо труднее, дело понимания событий далось (потом-то они поняли) центральной, так сказать, власти или, вернее, центральному «двоевластию», по выражению самой крупной буржуазии (буржуазно-помещичьему «правительству» и меньшевистско-эс-эровским столичным советам депутатов).

Ни правительство, ни меньшевики с эс-эрами, ни царицынские буржуа и мещане, ни их осатанелые печать и ораторы не могли долгое время понять, что вот на этой отдаленной маленькой точке огромной карты Европейской России уже начинает посвистывать легкий сквозной ветерок рабочей революции. Они только смутно, инстинктивно это чувствовали. Но, чувствуя уже или потом даже отчетливо понимая, все эти господа не хотели, — скорее же, по классовой природе своей, просто не могли назвать подлинным именем то, что происходило в нашем городе и... обвиняли нас исключительно в уголовщине.

И вот, параллельно с первым, низовым, потоком делегаций, к нам потянулись паломники совершенно другого характера, пилигримы совсем иного рода оружия.

И тут прежде всего, к чести буржуазной печати, я должен отметить, что отнюдь не все ее «собственные» и «специальные» корреспонденты почерпали свои сведения с волшебного зеленого сукна своих письменных столов, не выезжая и на сотню верст от Петрограда и Москвы. Нет. Некоторые экземпляры этой «специальной» и «собственной» породы буржуазно-печатного скотного двора на самом деле хоть раз в жизни видели Царицын, а еще более редкие даже бывали в нем в эти знойные дни великого разрушения города и всеобщего ограбления и убиения его обитателей.

Впрочем, мы их не видали. Они тихо появлялись, где-то скромно пребывали и также конспиративно исчезали.

Изучая их корреспонденции, мы догадывались, что эти представители «шестой державы» на собраниях, митингах и процессиях не бывали (да, впрочем, и посылались-то они в Царицын для «беспристрастного» описания событий, а совсем не для того, чтобы... увеличить и без того чудовищный процент убитых и ограбленных), и что свою убийственную правду они черпали из уст почтенных буржуа, или мещан — свидетелей тем более достоверных, что они-то уже самолично испытали «уголовный рай» большевиков, почему и находились уже два месяца под ряд в состоянии непрерывного землетрясения.

Но был один случай, который следует отметить уже потому, что он был единственным, а потому и, так сказать, историческим.

Вполне открыто и вполне бесстрашно приехал корреспондент, да еще какой, да еще от кого, откуда!

Сам знаменитый литератор и политик, да еще бытописатель революции 1905 года — гражданин Тан-Богораз.

И приехал не ближе, как из Петрограда, и не меньше, как от газеты банкиров, от известной и зловонной «Русской Воли»...

В старые времена я лично питал к Тану-Богоразу известное уважение, ибо, на ряду со многими революционерами Саратовской губернии, весьма ценил его интересные очерки крестьянских волнений, особенно Балашовского уезда, очерки под названием: «По губернии беспокойной».

Пророческая проницательность.

Опять один из уездов той же губернии побеспокоил гражданина Тана-Богораза, только его «очерки» на этот раз носили уже иной характер...

Знаменитый сотрудник знаменитой газеты не только благополучно высадился в Царицыне, но даже добрался до центра города, не споткнувшись ни об один из валявшихся на улице

«трупов» и не утонув даже по пояс в море подсолнечной шелухи.

Кажется, даже от неизбежной для пассажиров «присяги» на верность «Царицынской Республике» Тан-Богораз каким-то образом ускользнул.

Словом, Тан-Богораз оказался на дворе моей квартиры, а потом проследовал и, как говорится, во «внутренние покои».

Расчет тут был очень простой: как когда-то знаменитый литератор и политик настигал по следам царское самодержавие, так теперь он считал себя обязанным ловить большевиков на месте преступления. Ведь достовернейшим образом знал и сообщал каждый приличный, благовоспитанный дом г. Царицына что «главарь большевиков» живет чуть ли не во дворце, во всяком случае, имеет целую анфиладу комнат, роскошно обставленных и прекрасно убранных, и что жена главаря или невеста, или, как она там еще называется, берет шелка и бархаты, золото и бриллианты из первоклассных магазинов.

Вот это-то и надо было собственными глазами удостоверить «специальному корреспонденту». Это куда поценнее будет, чем просто о таких вещах убого вопить из-под собственной кровати.

Поднявшись по трем ступеням деревянной лестницы, корреспондент проследовал через маленькие сени и вступил в первую комнату из всей «анфилады». Тут его встретили весы на столе и целая туча коротких и длинных, толстых и тонких колбас под потолком, притом из самого, что ни на есть, «кошерного мяса», ибо старик Арон Яковлевич не только сдавал мне $1^{1}/_{2}$ комнаты, и не только дырявил мне уши звонкой флейтой, но еще и торговал ортодоксальнейшей (и притом весьма вкусной) еврейской колбасой.

Дальше корреспондент вступил во вторую из «анфилады» комнату — крохотный коридорчик, из которого направо была видна моя спальня, без единого окна и без единого метра свободной почвы, ибо кровать, печь и умывальник заполняли это ограниченное пространство.

И наконец Тан-Богораз вступил в третью и последнюю комнату бесконечной анфилады — в мой кабинет, где я сидел за письменным столом и где, впрочем, были еще: зеркало (целое), столик без скатерти и два-три стула.

Представившись мне и при этом поразив меня своей фамилией, столь мне знакомой и столь уважаемой, Тан-Богораз получил приглашение сесть на один из обыкновенных стульев. Но еще не успев сесть и протягивая руку по направлению коридорчика, мой гость изумленно произнес:

— И это все!?.

— То-есть, как все. О чем вы говорите?

— Квартира ваша вся тут и есть?!

— Нет, — сказал я и пошел было к двери: — вот тут еще спальня...

Но гость не последовал за мной и уже сел на свой стул.

И тут началось то, что образованные люди называют непременно по-английски «интервью» и что мой сотоварищ по тюрьме и по одному из дел 1905 года в Царицыне — Сибиряк-Гейман, тоже не без претензии, называл «интéрвие».

К «интервие» с Тан-Богоразом я не имел никакого расположения, ибо, во-первых, я был занят очередной статьей в нашу газету «Борьба», а это было поважнее «Русской Воли», во-вторых, «Русская Воля», со всеми ее корреспондентами, даже и специальными, вообще моей симпатией не пользовалась, «интервие» там вполне могло не появляться, да и сама газета вполне могла, по моему мнению, без ущерба для революции, провалиться куда ей угодно (что она впоследствии и сделала).

Впрочем, я вообще не понимаю, почему за грамотного человека расписываются как «за неграмотного».

— Какие же ваши виды на будущее?

— То-есть?

— Ну, как вы себе представляете ближайшее будущее, к которому стремитесь?

— Мы боремся и будем бороться за интересы рабочего класса.

— Конкретно, что это значит?

— Ну, просвещаем рабочих, строим партию, а потом...

— А потом?

— Потом... видно будет...

И я видел, прямо-таки осязал, как я глубоко разочаровал моего собеседника. Он поднялся со стула.

Один момент у меня было желание поправить дело и крикнуть ему:

— «Да что потом!.. Потом вырежем, зажарим и с'едим живьем пол-России»...

А дорогой гость уже цеплялся за последнюю соломинку:

— А это... это вы сами повесили картину?

— Нет, это все украшения хозяина дома, от которого снимает квартиру этот старик, у которого я, в свою очередь, снимаю полторы комнаты, — ответил я и подошел к картинке, которую рассматривал Тан-Богораз. И тут только я заметил, что эта картинка из приложений какого-то дешевого журнала — такого сорта, что если меня невозможно было накрыть на квартире и интервью, то одним этим произведением искусства можно было совершенно дискредитировать.

Во-первых, на картине был солидный оратор и стоял он тоже будто на бочке. Во-вторых, оратор желал спасти святую Русь, но странным образом (вроде как большевики!): он призывал всех окружавших его мужчин, женщин и детей для спасения Руси «заложить жен и детей» (очевидно, в ломбарде). А мужчины, а также и женщины и дети (которых должны были заложить) ликовали от восторга — так это нравилось — одним заложить, а другим быть заложенными на ряду с прочими вещами в ломбарде. Но убийственнее всего то было, что и фамилия этого зловредного агитатора была точь-в точь, как моя, хотя дело происходило не в Царицыне, не на Скорбященской площади, а ровно триста лет тому назад — в Нижнем Новгороде.

Намотав себе что-то на ус, специальный корреспондент банкирской газеты удалился.

В один из следующих дней я видел на митинге снова этого бесстрашного служителя печатного слова. Отлично зная из газет о том, что у нас на митингах возле трибуны берут за белы руки-ноги неугодных людей и приканчивают о землю под звуки оркестра, Тан-Богораз, тем не менее, стоял почти рядом с трибуной и довольно спокойно озирался по сторонам.

По возвращении из Царицына, Тан-Богораз написал чуть ли не целый трактат с печальными размышлениями о гибели отечества.

Трактат, под заглавием: «Царицынская эпопея... (из психологии большевиков)», начал автор так:

«Поразительная бездарь выплывает на поверхность российского переворота. Куда ни посмотришь кругом, ни одного вождя, и даже ни одного делового человека»...

(«Русская Воля», № 141, от 16 июня 1917 г.).

Но характерно, что у автора, после посещения Царицына, проскальзывает мысль в его корреспонденции, что большевики победят.

Поэтому Тан-Богораз не занимается сплетнями о личностях. Наоборот: он кое-что разузнал и сообщает ряд действительных черточек и фактов.

Но зато тем более старается он обесславить большевиков сейчас и дискредитировать их будущую победу.

Так, он пишет:

«Большевики придут к власти, но и они ничего не наладят»...

А в конце корреспонденции он приводит такой, якобы, разговор со мной:

«— Я не завидую вам, — сказал я ему, — если вы достигнете власти.

«— Почему?

«— У вас оппозиции слева не будет и не будет замены. И на вашу голову свалятся все ошибки ваших предшественников.

«— Пусть так, — сказал он с решительным жестом.

«А в лице его было что-то напряженное, что-то, скажу, обреченное, как у Лермонтовского Вулича»...

А по причине всего этого, корреспонденция заканчивается высокомерным изречением:

«Я не завидую»... большевикам...

В те же дни осчастливил меня полуродственным, полуофициальным визитом лидер саратовских эс-эров, мой двоюродный брат, Александр Аркадьевич Минин. Я знал его еще в те времена, когда мы учились и — он сидел на гимназической, а я на семинарской скамьях. Еще тогда брат обнаруживал интерес к социализму. Еще тогда он в шесть дней прочел первый том «Капитала» и заявил: «Это так стройно, так логично, что даже я не нашел никаких противоречий».

А затем я помню, как в 1904 или 5-м году, летом, после доклада социал-демократа А. В. Гертопана (в посаде Дубовке, Цариц. у., на его квартире) по аграрному вопросу, А. Минин удачно защищал программу эс-эров и как после этого, по дороге домой, он заявил мне, что «собственно в социализм» он не верит.

В 1906—7 году мы сидели с ним одновременно в саратовском корпусе одиночек: он тогда был арестован, как говорили, «по делу о блинах». Верхушка саратовских эс-эров на масленице имела заседание, полиция их накрыла, переарестовала, но... никаких вещественных доказательств, кроме блинов, не нашла.

Брат, по этому случаю, был выслан с компанией в Тобольскую губернию на два года, бежал, был пойман и снова отбыл наказание.

Братец никак не мог осмыслить, как и очень многие другие, убийство Бояринцева.

Прерывая разговор, он сказал опять:

— Да, ведь, Бояринцева-то убили?..

— Убили, — отвечаю.

— Кто?

— А я почем знаю. Обращайся к твоим властям.

— Но вы, большевики, потакали убийству!

— Ничего подобного. Я о нем не знал, а член Комитета Борман останавливал убийцу. А после мы заклеймили на собраниях и, вот, видишь, в газете, эту дикую расправу.

— Но почему вы не помогаете найти убийц?



Межпартийная Комиссия Исполн. Комит. Саратовского Совета Р. и С. Д. по расследованию событий в г. Царицыне 15 июня 1917 г. с представителями местных организаций.

Делегаты Саратовского Исполкома: от большевиков: 3 — В. П. Антонов, 9 — В. П. Куликов; от меньшевиков: 5 — Д. К. Чертков; от соц.-рев.: 4 — В. М. Телегин, 10 — В. Х. Павлов. Делегаты местн. орган.: от большевиков: 2 — С. К. Минин, 12 — А. Григорьев, 8 — Борман; от меньшевиков: 11 — А. Генькин и 6 — Н. Цыпанов.

— Это дело вашей власти, а с нас довольно и того, что Бояринцев пытался спровоцировать против нас погром.

— И убийцы не наказаны?!

— Они даже никому неизвестны. Впрочем, спроси у следователя и там — в какой-то следственной комиссии.

Высокая, рослая фигура лидера саратовских эс-эров удалилась, повидимому, тоже в недоумении, а, может быть, затаив про себя нехорошие, злые мысли. И больше я брата в Царицыне не встречал и ничего о нем не слышал.

И, наконец, — в один прекрасный, солнечный день (а таких дней тогда было так много, что почти весь этот период мне вспоминается в солнечном свете), в четверг, 8 июня, когда я был на крестьянском уездном с'езде, мне вдруг сообщили:

— Чего же вы не идете? Там вас давно ждут.

— Кто, где, зачем?

— Разве вы совсем ничего не знаете?

— Ровно ничего.

— В Совете — две комиссии. Приехали в Царицын ликвидировать «анархию».

— Ну, наконец-то, — подумал я: — избавимся мы от этой проклятой анархии.

И поторопился во 2-ю женскую гимназию, где теперь (после «Биржи» и «Общественного собрания») расположились учреждения Совета Депутатов.

Я вошел в один из классов гимназии.

На кафедре стоял лидер меньшевиков и, как я сразу понял, уже показывал гостям свои недурные, ораторские способности.

На ученических скамьях сидели гости с тетрадями или бумагой на столе и с карандашами в руках. Я сел на одну из задних парт и тотчас увидел большевика В. П. Антонова из Саратова, поздоровался с ним и получил необходимые сведения о комиссиях.

Оказывается, вопли буржуазной печати, стоны царицынских мещан и буржуа и жалобы меньшевиков и эс-эров, при отсутствии нашей информации в газетах, свое действие возымели:

Петроградский Совет (неофициальный глава «демократии»), в лице Чхеидзе, телеграфно предложил Саратовскому Совету послать в Царицын комиссию из представителей «трех социалистических партий».

А правительство, в лице военного министра Керенского, в свою очередь, отдало приказ Казанскому военному округу — тоже послать авторитетное лицо для расследования анархии в нашем городе.

И вот теперь, в качестве благонравных учениц, сидели на партах и слушали урок по меньшевизму последней формации следующие лица: двое большевиков — Антонов, лидер саратовской организации, и Куликов, эс-эры — Телегин и Павлов и один из вождей саратовских меньшевиков — Чертков. Они-то и составляли эту самую комиссию Петроградского Совета.

Отдельной группой, на передних партах, как самые старательные ученицы, расположились: начальник штаба Казанского военного округа — полковник Караулов и члены Казанского военного окружного комитета.

Не удивило меня то, что большевики, особенно старый приятель, Володя Антонов, крепко жали мне руки и на-спех делились впечатлениями. Удивило меня другое: все остальные члены комиссии и даже сам полковник смотрели на меня отнюдь не волками, а, наоборот, они даже ласково кивали мне головами, в знак первого приветствия.

Хотели ли они застраховать, таким образом, собственную безопасность в Царицыне?

Или преподаватель меньшевизма их не особенно очаровал?

Или, наконец, это просто вполне приличные люди и поистине беспристрастные судьи?

Словом, я почувствовал, что представители Петрограда, Казани и Саратова, на первых порах, пытались поставить себя вполне правильно, и что с ними вполне следует и вполне возможно поговорить.

А гражданин П. громил...

Ах, как мне все это было знакомо!.. Я даже не спрашивал, что он говорил до меня: я знал уже...

— Есть разный большевизм... — негодовал П., искусно поворачиваясь во все стороны, чуть не кругом, хотя вся группа учеников сидела у него чуть не под подбородком, и соответственно жестикулировал руками... — но царицынский большевизм ничего общего с социализмом не имеет.

И на самом деле, кто же лучше мог знать большевизм, как не П., который когда-то сам был большевиком, который потом, во время войны, стал «плехановцем», а теперь возглавлял всех царицынских меньшевиков...

— Это власть улицы, призыв к погромам, грабежу и безнаказанным убийствам... Несчастный труженик, наш партийный товарищ Бояринцев был растерзан чернью, настроенной большевиками, и большевики не постеснялись даже отказаться проводить несчастную жертву на кладбище...

После П. говорили еще меньшевики, потом эс-эры, опять меньшевик. . .

Один из прокуроров, меньшевик Ивашкевич, обрушил, наконец, на голову главного подсудимого неотразимое обвинение:

— Минин остановил в Бекетовке поезд, а ездил туда и обратно без железнодорожного билета...

Слушатели должны были, конечно, при этом уразуметь, насколько презренна и преступна та организация, главарь которой ездит «зайцем».

Но слушатели (и не только большевики), повидимому, не совсем довольны остались этими всеми выступлениями, которые у нас, в Царицыне, были так неотразимы для наших буржуа и мещан.

Слушатели то наклоняли головы, стараясь не глядеть на ораторов, то как-то странно переглядывались между собой, а то просто интересовались тем, что происходит за окном, на стене соседнего дома, хотя там ничего особенного не происходило.

Наконец, слово предоставили главному подсудимому.

— Как же позволите изложить — подробно или сжато? — спросил я.

Голоса: «Просим подробнее».

Тем не менее, я постарался слушателей не затруднять и не переутомлять.

Довольно спокойно я изложил суть истории, как она представилась мне. И попутно я ответил на все обвинения, которые выдвигались против нас в печати, на собраниях и в этом помещении одного из классов женской гимназии.

С первых же слов я не мог не заметить, что не только внимание, но даже как будто и сочувствие большинства гостей сопровождает мою речь.

И тут, пожалуй, ничего удивительного не было, так как, во-первых, наши следователи и судьи были настроены строго «об'ективно» и вполне соответственно их, так сказать, высокому заданию, а во-вторых, уж очень позиция-то у нашей организации была выигрышной.

Ведь, господа прокуроры и не думали нас обвинять в том, что вот они, меньшевики да эс-эры, вместе с чистокровной буржуазией власть фактически потеряли, а что мы, большевики, этой властью фактически овладели. Нет, они этого, как и раньше, не хотели, да и не могли сказать. А потому они просто обвиняли нашу организацию и ее отдельных членов в уголовщине, в нечистоплотности, даже в неделикатности.

А эта почва была для них безнадежна.

И во время этого «урока», пожалуй, даже настоящие ученицы гимназии были бы все на нашей стороне.

Ивашкевичу я сказал:

— Неужели мы, члены президиума Совета, не можем иной раз, для пользы революции, проехать бесплатно! И неужели вам так дороги интересы железнодорожной компании, что вы возмущаетесь по поводу потери ею какого-нибудь целкового?!

Последовал ряд вопросов:

— Почему вы сместили полковника Коробкина?

Я рассказал им о подвигах славного командира при разгроме винного склада и заметил, что надлежащие власти должны были бы сместить его уже давно.

— Почему вы не участвовали на похоронах Бояринцева?

— А почему мы должны были участвовать?!. Мы заклеймили действия раз'яренной толпы. Но мы отнюдь не можем считать Бояринцева революционером, так как пока нам известно, что он, правда, очень неумело и неудачно, но пытался тоже раз'ярить толпу и спровоцировать погром против нашей партии. Ведь иных данных по этому делу пока что ни у кого нет...

Заседание кончилось, и следователи-судьи направились к себе на квартиру, в находящиеся в центре города «Столичные номера».

И странное дело! Наши дорогие землячки — меньшевики и эс-эры тут как-то отступили от комиссии. И как-то очень естественно получилось, что я и Ерман одни пошли с делегатами. И мы даже делились впечатлениями.

— Ну, как вам кажется на первый раз? — спросил я.

И меньшевик Чертков по адресу наших прокуроров заметил:

— Да это..., это уже слишком...

Даже полковник Караулов изволил очень любезно беседовать со мной и с иронией сообщил:

— А знаете, когда я собирался к вам ехать, меня все в Казани предупреждали: «Куда вы!? Не доберетесь там благополучно даже до гостиницы». Удивительно, как это газеты все раздувают и преувеличивают.

А еще через пару фраз тот же Караулов очень тонко и весьма деликатно заговорил:

— Тут у вас, говорят, сидит под арестом этот жандармский подполковник Тарасов. Вообще жандармы — это такая публика... Но мне говорили некоторые, что, собственно, он был самым обыкновенным царским служакой, и что, собственно, никакого вреда не было бы, если бы его и освободили теперь из тюрьмы.

Тарасова, обер-палача царицынских рабочих и нашей партии, — освободить! Обыкновенный служака! Никакого, собственно, вреда!..

Я вскипел, но... только про себя.

А собеседнику ответил тоже деликатно и, может быть, даже тонко:

— Нет, вы ошибаетесь. И вам сказали неправду. Для Царицына — Тарасов не «рядовой служака». И освободить его не так-то просто: это только осложнит положение в нашем городе...

Я проводил делегатов до их номеров и пожелал им успеха и всяких благ.

Следующие заседания происходили в номерах «Комиссии Петроградского Совета» и без участия начальника штаба Военного Округа.

Последний, как и члены Военного окружного комитета, кроме осведомления об общем положении в городе, имел еще специальную задачу — выяснить состояние Царицынского гарнизона и провести специальную отправку маршевых рот на фронт, перед готовившимся общим наступлением.

Еще до приезда комиссии получены были приказы об отправке пополнений и на этот раз в очень большом масштабе. Эти приказы так взбудоражили гарнизон, что пришлось отправить в Петроград, к самому гражданину военному министру Керенскому, специальную делегацию от гарнизона. Во главе делегации был прапорщик Федотов. По возвращении из Петрограда Федотов юмористически рассказывал о своих скитаниях: как они встретились в приемной министерства с подобными же делегациями от других городов и как высшие военные чины преподавали им патриотизм. И, конечно, ни к чему положительному эта поездка не привела (если не считать некоторых новых познаний о любви к отечеству и национальной гордости). Отрицательные же результаты были: т. Федотов не только потерял время, но у него еще по дороге в Петроград украли в поезде сапоги, из чего он мог заключить, что уголовщина существует, по крайней мере, не только в Царицыне. Когда Федотова упрекали в военном министерстве и когда потом, уже в Царицыне, Караваев ставил ему вопрос:

— Почему вы не отправляли маршевые роты и на каком основании лишали боевые части пополнений? — то прапорщик Федотов, не занимавший никакого официального поста, отвечал:

— Нет, извините, вот они, как требовались, так и отправлены нами с февраля по июнь целых 53 маршевых роты.

Несомненный толк от делегации к «гражданину военному министру» был, однако, тот, что большая отправка последних маршевых рот затормозилась. И когда полковник Караваев, еще до возвращения делегации, пытался протолкнуть эти «пополнения», то из этого ровно ничего не вышло.

Однажды вечером я зашел в номер к Караваеву.

Он был в большой тревоге и волнении.

Оказывается, он отдал приказ о немедленной отправке маршевых рот. Его сотрудники пытались провести этот приказ в жизнь. Однако, в 141 полку получилось какое-то недоразумение.

По существу ничего особенного там не было, Солдаты отказались ехать до возвращения делегации. И только. Но храбрый полковник уже пребывал в состоянии полной паники, хотя и пытался это скрыть:

— Скажите, т. Минин, а как они там... ничего такого. Не могут они, например, ночью чего-нибудь?..

— Нет. Абсолютно ничего. Только, действительно, не надо было поднимать этого вопроса до возвращения делегатов. И я советую вам лучше обождать.

После возвращения делегации маршевые роты были отправлены по назначению и, разумеется, с теми же результатами в конце концов, что и раньше. Но самый факт аккуратной отправки маршевых рот из, якобы, разбойничьего, непослушного Царицына несказанно умилил начальника штаба военного округа и еще больше расположил его к нашему городу.

Пока работала «Комиссия Петроградского Совета», мы старались использовать ее членов — наших товарищей большевиков. Антонова однажды я привез на митинг на «французском заводе» или Дюмо. Этот металлургический завод — самое крупное предприятие в Царицыне (до 5 тысяч рабочих). И так как французская компания очень искусно насадила среди рабочих частную собственность, предоставляя им на льготных условиях домики с огородами, то еще с 1905—1907 г.г. среди рабочих были довольно сильны группы эс-эров, а потом меньшевиков.

На собрании было не меньше полуторы тысяч рабочих. И этому-то собранию В. П. Антонов сделал свой доклад «о текущем моменте».

Собрание слушало оратора с напряженным вниманием. И доклад на самом деле получился очень содержательный, интересный, ценный. Даже я узнал из него много нового.

Но странно: какая разница в стадии борьбы саратовских и царицынских большевиков.

Саратовский лидер обрушился на кадетов и громил их с большим знанием дела и по всем правилам большевистского искусства. Он откапывал откуда-то такие факты, которые вызывали у собрания то взрыв негодования, то громкий хохот.

Но... кадеты!.. В Царицыне их было немного и были они когда-то жалки и слабы, а теперь о них мы и совсем

почти забыли. Наши бои разыгрывались уже давно и почти исключительно по линии: между социалистами-революционерами и меньшевиками, с одной стороны, и большевиками — с другой.

Тем не менее, доклад оставил сильное впечатление, и о нем потом рабочие долго вспоминали.

Тем временем комиссия работала с большой энергией. Члены ее беседовали со всякого рода общественными деятелями, побывали во всех руководящих или просто влиятельных учреждениях и организациях, проверяли протоколы заседаний и прочие характерные документы.

По вопросу о «контрибуции» эс-эр Телегин побывал даже у биржевиков и потом со смехом рассказывал нам, что это действительно шкурники, что, если они со страху решили платить гарнизону, то и пусть платят. В заключение совещания с биржевиками, Телегин ошарашил их речью по текущему моменту и даже говорил им об интернационале!..

Отнюдь нельзя сказать, чтобы на заседаниях «Комиссии Петроградского Совета» царицынские меньшевики и эс-эры чувствовали себя прекрасно. Нет, они теперь уже начинали понимать, что они слишком шли нога в ногу с царицынской буржуазией и с буржуазной печатью в их нападках на большевиков. А нередко, ведь, именно они давали тон этим нападкам и далеко опережали всех наших классовых врагов.

Очень скоро между нами всеми наметилось единодушное решение по одному из важнейших вопросов о «контрибуции». Комиссия признала эту лепту буржуазии в пользу гарнизона не контрибуцией, а «военным фондом», причин для возникновения которого было слишком достаточно в тяжелом материальном положении гарнизона. И разумеется, никакого обложения большевиками или солдатами семей, сирот и вдов солдат-фронтовиков, о чем тоже кричала буржуазная печать, комиссия не нашла.

Но комиссия единогласно считала, что, в виду всяческой клеветы на гарнизон из-за «контрибуции», было бы целесообразнее гарнизону от этого «доброхотного даяния» капиталистов отказаться.

Мы, большевики, тоже считали, что, хотя положение гарнизона было очень тяжело, а буржуазия требовала продолжения войны и отправки на фронт пополнений, но что эта «жертва» хищной и жадной буржуазии была так оклеветана и так оплевана, что политически гораздо целесообразнее было для самого гарнизона эту «жертву» от себя отшвырнуть, но не в карман опять капиталистов, а на помощь-таки пострадавшим от войны. При этом мы уверяли, что не только Совет Депутатов, но и гарнизон по этому вопросу целиком присоединится к комиссии.

После решения этого острого вопроса, в субботу вечером, комиссия, с представителями партий, закончила обсуждение «Воззвания к демократии России» и «К демократии г. Царицына». А на следующий день как члены комиссии, так и мы, представители Царицынских партийных комитетов, эти «Воззвания» подписали.

Вполне естественно, что вокруг содержания и текста, вокруг почти каждой основной мысли и словесной формы столь важных документов, особенно «К демократии России», шла жестокая борьба.

Борьба развернулась по двум линиям: с одной стороны — между нами, большевиками, и большинством комиссии, с другой стороны — между комиссией вместе с большевиками, против царицынских меньшевиков и эс-эров.

Но замечательно: мы с комиссией довольно скоро поладили, так как комиссия старалась быть олицетворением беспристрастия и относилась довольно сочувственно к нам уже с первого заседания и до конца.

Как об основном содержании документа, так об его разделении и даже внешней форме, мы очень скоро договорились. Разумеется, «Воззвание» нас, большевиков, не удовлетворило и, конечно, если бы воззвание о Царицынских делах мы, большевики, писали одни, и не по адресу «демократии России», а по адресу рабочего класса России, мы написали бы совершенно иначе. Ибо, обрушиваясь на буржуазию, «Воззвание» затушевывало классовую борьбу внутри самой «демократии».

Но в том-то и беда была, что мы со своим, чисто партийным, воззванием опоздали, наивно полагая, что в нем не было никакой надобности. Но, с другой стороны, в том и соль-то была настоящего воззвания, что его подписывала тоже «вся демократия», все, так называемые, «социалистические партии».

И, при данных условиях, мы считали «Воззвание» безусловно нашей победой, ибо оно выглядело, как солидная пригоршня песку в глаза буржуазных писак и, — в то же время, — как порядочный удар поленом по головам героев царицынской, меньшевистско-эс-эровской, «демократии».

Но потому-то последние так и упирались. Да и в самом деле, кому же охота быть ошпаренным, оскандаленным и даже просто оплеванным, хотя бы и поделом...

И они бились за каждую фразу, за каждое слово. Ну, мы, конечно, наоборот — хотели добить их воззванием окончательно.

Иногда упорство эс-эров, а особенно меньшевиков, достигало такой степени цинизма, что мы говорили с негодованием комиссии:

— Да, что это, наконец, за безобразие! Нас же, большевиков, буржуазия оклеветала, на нас она натравливала свое «общественное мнение», наши земляки ей в этом изо всех сил помогали. Вы же видите теперь, что мы кругом правы, но ваши сопартийцы опять хотят всю свою вину свалить на наши головы. Не подпишем «Воззвания».

Начинались опять переговоры, воспоминания.

За ними следовали оценки, переоценки, предложения.

Словом, договорились-таки и договорились в общем и целом в пользу наших предложений.

Оно и понятно: саратовские большевики были с нами целиком. А саратовские меньшевики и эс-эры совсем не хотели брать на себя ответственности за своих, чересчур экспансивных, откровенных и скандальных товарищей из Царицына.

«Воззвание к демократии России» — документ очень ценный. Он весьма важен для понимания момента, который переживала тогда клокочущая Россия. В истории же города Царицына без этого документа никак не обойтись.

А потому будет не только не бесполезно, а, наоборот, весьма поучительно припомнить этот документ целиком, несмотря на его некоторую и, как будто, чрезмерную полноту.

Будучи подписано, «Воззвание», согласно постановления комиссии, было немедленно передано по телеграфу как Петроградскому Совету и Центральным Комитетам партий, так и редакциям целого ряда столичных газет.

Берем подлинный и полный текст «Воззвания», как оно было перепечатано с оригинала в № 8 Царицынской «Борьбы» от 15 июня:

«Воззвание к демократии России.

«За последнее время буржуазная печать открыла поход против революционного Царицына: в Царицыне независимая республика, в Царицыне анархия, на население налагается «контрибуция», в Царицыне грабежи, убийства, непрерывный террор, буйствуют солдаты и направляют пароходы и поезда по собственному произволу, совершаются насилия над свободой личности, совести, слова, неприкосновенности жилищ и т. д. Разрисовывая яркими красками царящие в городе ужасы, буржуазная печать ведет систематическую травлю представителей революционной демократии, с особенной яростью обрушиваясь на Царицынскую большевистскую организацию и ее руководителей (С. К. Минина и друг.). В последние дни начаты выступления против Царицынского Совета Рабочих и Солдатских Де-

путатов, распоряжения которого ведут, якобы, к лишению армии продовольствия.

Вся эта кампания буржуазной печати, создавая панику среди граждан, вызвала тревогу в рядах революционной демократии России; это побудило Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов обратиться с телеграфным предложением к Саратовскому Совету Рабочих и Солдатских Депутатов выяснить положение в Царицыне.

Прибывшая Саратовская делегация, ознакомившись с положением дел, путем опроса представителей местных общественных организаций, осмотра документов, находящихся в распоряжении Совета, Городского Исполнительного Комитета Общественной Безопасности и Биржевого Комитета, считает необходимым вместе с представителями революционной демократии Царицына, поставить в известность демократию России о действительном положении дел в городе.

1) В первые дни революции, значительная часть командного состава местного гарнизона, оказалась не на высоте положения, не подошла к солдатской массе, заняла на время выжидательную позицию по отношению к революционным событиям. Это усилило отчужденность, а порою и враждебность солдатской массы, к соответствующей части командного состава. Полковое хозяйство оказалось в крайнем расстройстве, как в отношении финансов, так и в отношении продовольствия и аммуниции солдат. Были случаи, что в самый день отправки маршевых рот, командиры обращались в Городской Исполнительный Комитет, с просьбой немедленно доставить аммуницию (сапог, белья и пр.). Для удовлетворения пищевого довольствия солдат, для помощи кредитом, также обращались к Городскому Исполнительному Комитету. Все это вызвало сильное возбуждение среди части гарнизона. Опасаясь возможных эксцессов, местные торгово-промышленные круги решили, путем самообложения образовать «военный фонд», для «улучшения быта солдат и, попутно, для удовлетворения острой нужды по улучшению быта семейств призванных, призрению инвалидов, детей и сирот воинов». Этот фонд, образовавшийся при Исполнительном Комитете, затем перешел для удовлетворения указанных нужд в распоряжение Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

В связи с поднявшейся кампанией в буржуазной печати, превратившей «военный фонд» в «контрибуцию» местного гарнизона на население города и при отсутствии официального опровержения этого со стороны самих создателей фонда, Царицынский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов постановил прекратить дальнейшее пользование этим фондом, передать все

средства фонда обновленной Городской Думе, для оказания помощи жертвам войны, о чем довести до сведения Петроградского Совета.

2) Ненормальная жизнь в гарнизоне вызвала отдельные случаи замедления в отправке маршевых рот и общее понижение уровня дисциплины.

3) Особенно крайние формы извращения приняли сообщения буржуазной печати об убийстве толпою приказчика Бояринцева. Представители Царицынских социалистических организаций, Царицынского Совета и Саратовской делегации единогласно установили, что: а) вина за это убийство никоим образом не падает ни на одну из революционных организаций, б) убийство произошло вне митинга: как о самом факте, так и о подробностях убийства организаторы и ораторы митинга узнали лишь по окончании митинга, в) что защитить Бояринцева от самосуда толпы пытались случайно находившиеся члены социалистических и, в частности, большевистской организации и г) дикая расправа над Бояринцевым была заклеймена особыми постановлениями всех местных организаций.

4) Царицынский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов разделяет платформу Всероссийского совещания Советов Рабочих и Солдатских Депутатов и в своих действиях руководится постановлениями Всероссийского Совещания. Ни формально, ни фактически, особой независимой Царицынской республики не устанавливал и сообщение об этом является досужей фантазией. Совет принимал все меры к ликвидации дезорганизаторских выступлений отдельных групп, издавал постановления о недопустимости обысков без ордеров соответствующих правомочных органов власти, установил дежурства членов Совета для охраны порядка на пароходах и железной дороге и принимал вообще все меры к установлению нормального течения жизни в городе. Телеграфное сообщение буржуазной печати о реквизиции Советом ста вагонов масла, предназначенного, якобы, для надобности армии и подлежащих продаже, якобы, спекулянтам и в пользу Совета, совершенно не соответствует действительности и является преступной клеветой, — во 1-х, масло минеральное и не предназначено для нужд армии, во 2-х, масло стоит в вагонах на станции с января месяца, бочки рассохлись и масло вытекает, и в 3-х, на об'явленные торги приглашены кооперативы и заводы, работающие на оборону, и вырученные деньги подлежат выдаче отправителям.

Мы констатируем, что Совет Рабочих и Солдатских Депутатов стоит на страже революционной демократии Царицына и идет в ногу со всей революционной демократией России.

5) Ожесточенная кампания, ведущаяся буржуазной печатью против революционного Царицына, значительно усиливает дезорганизацию хозяйственной жизни города, угрожает городу бестоварьем и вызывает озлобление в отдельных и, в особенности, малосознательных частях населения.

Все эти преувеличения и искажения отдельных фактов, нелепые измышления на революционную демократию Царицына, льют воду на мельницу контр-революции.

6) Определенный ряд фактов ненормального течения жизни в Царицыне является, в значительной степени, наследием старого режима: несознательности и неорганизованности массы населения, анархическими элементами, воспитанными всем прошлым города и сеянием смуты контр-революционных сил, а также необыкновенно быстрым ростом города, вовлекшего в свою черту многочисленные кадры мало дисциплинированных групп населения.

7) Совещание представителей социалистических организаций, Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и Саратовской делегации констатирует ненормально обостренную междупартийную борьбу среди социалистической демократии Царицына, отразившуюся на единстве и прочности революционного города. С целью оздоровления атмосферы междупартийных отношений, укрепления позиций революционной демократии в городе и сплочения ее сил вокруг Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, совещание представителей социалистических организаций издало обращение ко всей демократии города, с братским призывом ввести в русло товарищеских споров борьбу мнений между социалистическими течениями.

Мы надеемся, что общими дружными усилиями социалистических организаций и Царицынского Совета нам удастся стать несокрушимой стеной против контр-революционных попыток и вопреки ведущейся буржуазной печатью травле, дезорганизующей хозяйственную и общественную жизнь города, наладить и укрепить в нем нормальный строй жизни.

Царицынский Комитет РС-ДРП (большевиков). (По полномочию Комитета: председатель *С. Минин,* тов. председателя *А. Григорьев,* секретарь *Д. Кацнельсон).*

Организационный Комитет РС-ДРП (меньшевиков) (По полномочию Комитета: председатель *Д. Полуян,* тов. председателя *Л. Миназ,* секретарь *Погребецкий).*

Царицынский Комитет Партии Социалистов-Революционеров (По полномочию Комитета: председа-

тель *И. Котов*, тов. председателя *Гейер*, секретарь *Силин*).

Царицынский Комитет ЕС-ДРП («Бунда»). (По полномочию Комитета: председатель *Танхельсон*, тов. председателя *Белькинд*, секретарь *Озеран*).

Царицынский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. (По полномочию Совета: председатель *Е. Шевченко*, тов. председателя *А. Длугач*, члены президиума *Ивашкевич*, *Генкин*, *Цицианов*) [1].

Делегация Исполнительного Комитета Саратовского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов: *Антонов*, *Куликов*, *Павлов*, *Телегин*, *Чертков*».

Итак, что же осталось, в конце-концов, от всех обвинений против Царицына, его гарнизона и его большевиков?

Отчасти: «наследие старого режима»... «сеяние смуты контр-революционными силами» и «необыкновенно быстрый рост города» (п. 6).

Отчасти: «ненормально обостренная междупартийная борьба среди социалистической демократии Царицына» (п. 7-й).

Вот и все!..

Так зачем же так бесились против нас царицынские меньшевики и эс-эры, не только поддерживая буржуазные атаки против большевиков, но даже, подчас, обгоняя в своих выступлениях истерическую клевету буржуазной печати...

Да. Они-таки получили порядочный удар поленом по своим «героическим» и «демократическим» головам.

«Ненормально обостренная борьба» не со стороны только большевиков, а «среди» в с е й «революционной демократии».

«Ненормальная борьба».

А грабежи? Убийства? Анархия!?

Где же это? С каким дымом эти все ужасы улетучились?

А между тем, как в комиссии, так и среди всех подписавших большевики составляли только одну треть. А две трети, то-есть подавляющее большинство, было за всякого рода «социалистами»...

Странно. Прямо-таки ребус. Головоломная загадка.

И вот, в воскресенье, 11-го июня, с утра было назначено заседание Совета, а тотчас после него общее собрание всего гарнизона на той же знаменитой Скорбященской площади.

---

[1] Из подписавшихся членов президиума Совета А. Длугач — эс-эр, остальные — меньшевики.

В клубе «Общественного Собрания» на заседании Совета Депутатов, как от лица комиссии, так и от Бюро Совета и представителями партий было внесено предложение принять оба «воззвания», а, значит, и отказаться от «контрибуции», которою в то время распоряжался Совет и которую он выдавал гарнизону, и передать имеющиеся на-лицо и ожидавшиеся к поступлению средства в распоряжение Городской Думы для помощи, под контролем Совета, сиротам, вдовам и инвалидам, пострадавшим от войны.

Безо всяких прений предложения были приняты Советом единогласно.

После этого Совет Депутатов и комиссия направились на Скорбященскую площадь — стройными рядами, с красными знаменами и под ликующие звуки военного оркестра.

До сих пор комиссия Петроградского Совета и представители военного округа только издали, только по частям познакомились с тем подсудимым, на которого падали главные обвинения. И вот теперь наконец-то они увидят наш гарнизон. И не в строю, не в порядке военной дисциплины, а на свободном собрании, где солдатская масса сама будет решать вопрос, ее кровно и больно касающийся.

Я знал гарнизон и был заранее уверен в его решении. Однако, против воли, чуть-чуть волновался: так хотелось, чтобы этот ярко солнечный, торжественный день не был омрачен даже малейшей нетактичностью, даже со стороны отдельных лиц — участников собрания.

Пересекши Соборную площадь и направляясь к месту назначения, мимо величественного здания «Дома Наук и Искусств», мы уже заметили громадную массу солдат, расположенную вокруг трибуны. По самому скромному расчету, там было не меньше пяти тысяч человек.

В лучах раскаленного солнца жаром горели серебряные и медные трубы военных оркестров. Целая роща знамен затеняла трибуну.

Заметив нашу процессию, собравшиеся повернули к ней глаза.

А в тот же момент навстречу нам понеслись могучие, радостные звуки «Интернационала».

Процессия подошла к трибуне.

Я был избран председателем собрания.

— Товарищи солдаты Царицынского гарнизона, — сказал я, поднявшись на трибуну, — сегодня на нашем собрании присутствуют почетные гости — члены Саратовского Совета, они же члены комиссии Петроградского Совета — представители от разных партий. Они прибыли сюда для ознакомления с поло-

жением в нашем городе в связи с той необузданной клеветой, которую вела против нас буржуазная печать. Предлагаю приветствовать наших гостей...

Раздались шумные приветствия всего собрания.

— Товарищи,—сказал я дальше,—буржуазная печать много лгала о непорядках в нашем городе и в частности даже на наших собраниях. Как вы знаете, писали даже о том, что будто мы на наших митингах, на глазах президиума и под звуки оркестра, убивали людей. Каждый из вас знает, насколько это правда, каждый знает, в каком строгом порядке проходят наши собрания и каждый сумеет его соблюдать. Но сегодня нам предстоит решить вопрос особой важности, и потому прошу больше, чем когда-либо, соблюдать тишину и спокойствие.

И водворилась тишина, столь нам знакомая и столь поразительная для тех, кто присутствовал в первый раз и кто наслышался сплетен о нашем буйстве.

Нет. Даже я был поражен тем гробовым безмолвием, в котором застыли эти несколько тысяч солдат, вплотную прижатые друг к другу и нещадно поливаемые лучами раскаленного солнца.

Кое-где внутри этой зеленовато-защитной массы, а особенно по краям ее, чернели группы рабочих и работниц.

И все собрание до единого человека устремило свои взгляды на вновь прибывших.

Начали выступать ораторы—члены комиссии.

Я называл фамилию каждого и его партийность.

Большевики говорили вполне по-нашему.

Но меньшевики и эс-эры тоже не отставали.

Говорили о революции, о Царицыне, о подлой продажной печати. Излагали предложение о «контрибуции» от имени комиссии, от имени Совета и от комитетов местных организаций.

Солнце, казалось, уже истощило свой пламень и в бессилии спускалось к горизонту, а собрание все продолжалось и шло с необыкновенным под'емом.

Наконец, оглашаются принятые комиссией и Советом два воззвания: «К демократии России» и «К демократии г. Царицына». И я ставлю их на голосование.

Все!.. Лес, море поднятых рук.

— А кто против?

Никого.

— Кто воздержался?

Никого.

И я видел, да не только я, все видели, какое колоссальное впечатление произвело это голосование на наших гостей.

А когда, уже при закате солнца, гости сказали свои прощальные слова и пошли группкой между знамен, по внезапно образовавшемуся проходу, под гром музыки и бурной овации,— о, тогда никто не мог оставаться спокойным.

А гости... наши гости были тронуты, потрясены.

— Мы не могли сдержать слез,— говорили мне потом некоторые из них.

Так ответил в конце концов наш город на клевету.

Но буржуазная печать в свои благородные очи получила вдруг еще одну добрую пригоршню песку. А нашим меньшевикам и эс-эрам попал еще один удар дубиной.

Да с какой стороны! От кого!

Начальник штаба Казанского военного округа, полковник Караулов послал телеграмму, которая тоже была опубликована в некоторых органах столичной печати:

— Приехав в Царицын и ознакомившись с положением дел, я нашел, — писал Караулов: «никакой анархии в Царицыне нет, а есть только трусость буржуазии».

Да, эта была полная победа большевиков — их организации, их тактики и, наконец, даже их дипломатии.

Правда, «воззвание» затушевало необычайное развитие классовой борьбы, ибо оно, с одной стороны, нашло в ней «ненормальное обострение» (!?.), а, с другой стороны, говорило: «Мы констатируем, что Совет Рабочих и Солдатских Депутатов стоит на страже революционной демократии России»... «Совет... разделяет платформу Всероссийского Совещания Советов» (совещания — меньшевистско-эс-эровского) (см. п. 4)...

Пусть. Это было утешение для наших «соратников» — «социалистов». Эта была наша уступка, ибо Царицын давно перешагнул через это Всероссийское Совещание, а наш «демократический» Совет уже с конца мая окончательно стал фикцией. Пусть. Это наша уступка и... наша маскировка.

Зато: «Все эти преувеличения и искажения отдельных фактов, нелепые измышления на революционную демократию Царицыну, льют воду на мельницу контр-революции» (п. 5).

Так большевики об'единили Царицын, а Царицын на своей вулканической почве об'единил всю приехавшую в гости, а через нее и всю местную «революционную демократию», об'единил против буржуазии, против контр-революции.

Победа... Большая победа!..

Однако, позвольте. А полковник?!. Ведь это уже не — «революционная демократия». Это патриот, отчаянный враг немцев, это друг жандармов и их адвокат...

Не понапрасну ли буржуазия метала стрелы в наш город?

Не переступили ли мы границу в нашей самоуверенности?

Не царила ли на самом деле в Царицыне вегетарианская «демократия»?

И о какой же, в таком случае, диктатуре большевиков может итти речь!..

Тишина и «благорастворение воздухов».

«На Шипке все спокойно».

Так наша победа переходит в поражение.

Так большевистская поэзия превращается в «революционно-демократическую», мещанскую, «всероссийскую» прозу...

Быть может, неподкупные, бесстрашные «выразители общественного мнения» — газеты ошибались?

А теперь они узнали истину.

И печать успокоится за судьбу Царицына.

В благонамеренности и патриотичности этого города теперь нет никаких сомнений.

Ибо... сам начальник штаба военного округа положил свою гирю на чашу вполне «порядочного», не «анархического» Царицына.

Печати остается только покаяться, посыпать главу пеплом и... замолчать.

Увы!.. На деле произошло совсем не то, что теперь мог бы ожидать каждый приличный «революционный демократ».

Получив по телеграфу текст «Воззвания к демократии России», целый ряд газет нашли совершенно излишним это «Воззвание» помещать, другие газеты напечатали его только в извлечениях и лишь весьма немногие и только из радикальных буржуазных газет поместили «Воззвание» полностью, как и телеграмму полковника Караулова.

Мало того: как воззвание, так и телеграмма только пришпорили чистокровных коней, запряженных в колесницу капитала.

Барабанщик и певец наступления на Царицын, Сытинское «Русское Слово» десять дней переваривало упомянутые выше документы, пока не разразилось на одиннадцатый день своей «точкой зрения».

И для такого случая «Русское Слово» не пожалело целых полстраницы.

Не фельетон, а вулкан.

Огнедышащий А. Панкратов залил Царицын лавой, зажег его со всех концов, испепелил и потряс до самых оснований...

Такова необыкновенная, прямо-таки космическая сила у «свободных» органов печати «свободной» страны.

Один из читателей и почитателей «Русского Слова» так был очарован истинно пророческим бичеванием Царицына

пером А. Панкратова, что вырезал фельетон, подчеркнул в нем наиболее потрясающие места, заклеил в конверт, загубил даже марку и отправил это творение в Царицын по моему адресу:

— Читай, мол, и поучайся, если ты вообще грамотный...

«В Царицыне».

«От нашего специального корреспондента)».

«Темные силы».

Таковы были первые толчки Сытинского землетрясателя— А. Панкратова.

А дальше... Это было так страшно, так убийственно!..

«На примере Царицына»—гремел Панкратов:—«я убедился, что большевизм — реакционное явление и даже просто перекрашенное черносотенство, которое не толкает нас вперед, а уводит назад»...

«Единственное отличие большевизма от черносотенства заключается в том, что работа черной сотни всегда сопровождалась колокольным звоном, а царицынский большевизм, наоборот, терпеть не может колокольного звона: несколько раз солдаты, настроенные большевиками, приходили в Скорбященскую церковь и настойчиво требовали, чтобы на колокольне не звонили к вечерне, так как звон мешает митинговым ораторам говорить»...

Это «единственное различие», само собой разумеется... пустяковое.

Но почему, упомянув один «пустяк», пророк Иеремия забыл упомянуть и другой — что во время наших митингов церковные сторожа получали директиву звонить так долго, с такими переливами и выкрутасами, каковые никакими церковными уставами для простой вечерни не положены...

«Мое близкое знакомство с иллиодоровщиной облегчило мне изучение царицынского большевизма. Оба эти явления— одного порядка. Они даже тождественны. Большевизм имел своего предтечу в иллиодоровщине, и то, что было в иллиодоровщине в зачаточном состоянии, то теперь в большевизме развилось, обнахалилось на свободе и окрепло»...

Как ни тупа русская буржуазия, она раскусила Царицын, как большевизм на практике, как режим, при котором «приличное общество» окончательно теряет власть и стоит перед угрозой потери всего, начиная от привилегированной свободы и кончая священной собственностью...

Иллиодоровщина была своевременно оценена мною в Царицынской газете, и тогда еще я указывал, что буржуазия не поняла своего служаку.

Прошло восемь лет. И по той же неисповедимой тупости, которой вообще отличалась подхалимская (перед царем), чума-

зая и не организованная русская буржуазия, она и теперь не только не поняла Иллиодора, не оценила его по достоинству, но и превратила его в грязь. А потом с этой грязью изволит смешивать и большевиков.

Иллиодор — социальный отброс. Иллиодор — самолюб, демагог, человек без твердого принципиального хребта.

Иллиодор — уличный зажигатель, оратор — кликуша. Нервозный господин, который без толпы, без ее обожания и коленопреклонения тотчас задыхается, и, как хамелеон, совершенно неожиданно меняет свои цвета.

Это — правда. Это было отвратительно. И буржуазия по справедливости оплевала этого маньяка, антисемита, распутинца, монархиста, революционера, погромщика, иеромонаха, отступника, толстовца, и, наконец, просто шантажиста.

Но буржуазия переусердствовала.

Иллиодор... незаурядный организатор и однажды, в эпоху наибольшего успеха, он вел твердую линию в интересах буржуазии.

Он порвал с Распутиным, ополчается на излишества полиции и царской администрации. Он строит на видном месте в Царицыне громадное здание монастыря и строит по-новому, богослужение он совершает по-новому, приближая толпу молящихся к ее жрецам, организуя коллективное пение.

Часть царицынского купечества и мещанства поддержали своего «батюшку» и дарили для его «затей» свои деньги и труды, свои кирпич, лес и железо на постройки.

«Батюшка» добирается и до рабочих.

Публично сжигая на костре нелепое чучело — якобы «гидру революции», громя полицию и «жидов», иеромонах приступает к организации кооперативов для рабочих!

И вот эту-то попытку обновить церковь, отодрать ее от жадных об'ятий самодержавия, приспособить ее к интересам буржуазии, а вместе с тем пустить глубже ее корни в мещанскую и даже в пролетарскую почву, — эту попытку частично оценила царицынская буржуазия, но не поняла и оплевала буржуазия всероссийская: ей и без того сладко жилось в эти 1908—10 годы, после новых подачек с царского стола. А далеко вперед заглядывать она вообще была неспособна.

Буржуазия предала своего же церковного «реформатора», своего с позволения сказать, батюшку — Мартина Лютера.

Мистерии, манифестации, новое богослужение — все было прикончено, а сам «батюшка» попал в монастырь под замок.

Ну, тогда и он, не будь дурак, махнул рукой на церковные новшества и вообще на церковь, сбросил рясу, похлопал по плечу «блистательного Льва Толстого» и «блистательный еврейский народ», «поцеловал косяки своей тюрьмы» и полетел

кувырком, отсчитывая затылком ступени социальной лестницы вплоть до самого низу, до «дна».

Так «специальные корреспонденты», не без участия Распутина и царя, утопили своего же «Мартина Лютера» и довели его, несчастного, до подлинной уголовщины, до шантажа.

И вот воспоминание об этой победе окрылило А. Панкратова в его наступательном марше на большевиков.

«Для меня ясно, что темные люди, выпачканные в крови, в другое время сидели бы на скамье подсудимых по обвинению в подстрекательстве к убийствам и грабежам. Но время теперь такое, что эти люди претендуют на почетное звание городских голов. С в е т в ы в о р а ч и в а е т с я н а - и з н а н к у»...

Последие слова неопровержимо показывают, что если «специальный корреспондент» не понял в свое время иллиодоровщину, то теперь за то он промаха не делает и к великому своему ужасу констатирует:

— «Свет выворачивается на-изнанку».

И дальше сытинский Иеремия пытается вылизать языком из своих глаз едкий песок, так удачно брошенный руками полковника и комиссии.

«Люди смотрят вам в лицо бесстыдными глазами и, не моргая, говорят: «Это выдумки буржуазной прессы». Стоит только кому-нибудь сделать подлость, как у него уже найдена возможность оправдаться: «Это выдумали буржуазные газеты». В большевистском лагере заготовлен на каждый случай их бесстыдства штемпель: «выдумки газет».

«Что же «выдумала» буржуазная пресса о царицынских безобразиях»?

«На-днях из Царицына пошло по свету в виде огромной телеграммы «Воззвание к демократии России». К сожалению, оно без проверки было напечатано в некоторых газетах.

«Воззвание подписано Царицынскими (и только?! *С. М.*) социалистическими партиями, при чем в трогательном единении с большевиками оказался начальник штаба Казанского округа г. Караулов. Он тоже был прислан в Царицын и, «ознакомившись с делом», легкомысленно воскликнул:

— Никакой анархии нет. Есть буржуазная трусость».

«Неужели большевизм проник даже в штаб Казанского округа»!

«Через четыре дня после воззвания член Петроградского Совета рабочих депутатов А. Гидони заявил в печати, что «воззвание» полно недоговоренности и противоречий». Он определенно ставит вопрос о царицынском «безначалии» и выдвигает тяжкие обвинения против Минина, развратившего царицынский гарнизон.

«Воззвание» же говорит о «незначительных фактах ненормального течения жизни».

«Но странно, что те же меньшевики, которые подписали воззвание», в своих речах говорили именно об «анархии», царившей в городе. (Действительно, странновато! *С. М.*). Даже большевик Минин указывает на «анархическую настроенность массы (см. «Воззвание» п. 5-й. *С. М.*). Почему же «воззвание» развязывает руки большевикам, которые создали анархию и должны понести заслуженное осуждение?

«Чтобы вы могли судить, была ли в Царицыне «анархия» или «буржуазная трусость», я вкратце перечислю безобразные факты царицынской жизни»... (см. «Русское Слово» № 143, от 25 июня 1917 г.).

И, заново повторяя целую кучу теперь уже обследованных и ниспровергнутых сплетен и клевет, автор мимоходом упоминает и реальные, никем не опровергнутые факты:

«Когда 141 полку пришла телеграмма итти на фронт 21-го июня, то телеграмме не поверили и послали делегатов в Петроград для раз'яснений»...

«Рабочие арестовали директора французского завода Лоэста»...

«Солдаты разоружили офицеров»...

«Всего не перечтешь»,—говорит негодующий А. Панкратов.

Да и зачем перечислять, когда ясно одно и притом самое главное:

«Свет выворачивается на изнанку»...

И, по этому случаю, сам вывернувшись «на изнанку», неугомонный пророк возопил:

«Фигура Минина вся соткана из лжи и лицемерия».

Приводя дальше, в своем изложении, мои ответы на вопросы комиссии, А. Панкратов, грозно топает на меня о пол уже не ногами, а головой:

«Настоящий перевертень. Сам Игнатий Лойола позавидовал бы таким ответам».

Да. Поистине «свет» повернулся кверху ногами!..

Характерна деталь, как провалившийся сытинец хватается за соломинку: против начальника штаба Караулова и единогласного заключения официальной комиссии Петроградского Совета А. Панкратов опирается на одного из членов этого же Петроградского Совета — некоего А. Гидони.

Член Совета, да еще заглавного, — звание почтенное.

Но... увы!.. кого, кого только тогда не было в том или ином, даже и в Петроградском, Совете.

Гидони тоже был нашим гостем и выступал даже на заседании подновленной Городской Думы.

По убеждениям — сверхменьшевик, «плехановец» и трубадур бесплоднейшего и позорнейшего течения и органа «Единство».

По внешности — сверхинтеллигент, артист, балетмейстер.

По манерам, — куда там царицынским чемпионам от меньшевизма.

Если главного оратора меньшевиков за его «пляску святого Вита» на трибуне называли в Царицыне «балериной», то А. Гидони оказался доподлинной богиней танца — Терпсихорой.

Получив слово и меча стрелы на левую сторону Думы, Гидони бегал перед столом президиума, жутко ворочал глазами, размахивал руками и без устали бил по столу кулаками и по полу ногами.

Вся правая сторона (попы, заводчики, интеллигенты, купцы, меньшевики, эс-эры) с благоговением внимали оратору, а под конец наградили его шумной овацией.

А пораженные допотопными стрелами большевики тяжело страдали, мучась от приступов гомерического хохота.

Так выступал против большевиков и за «Русское Слово» плехановец — А. Гидони.

Панкратов — Гидони — Плеханов.

Плеханов... Славный гладиатор!..

Несчастный мудрец. Очаровательный старик...

Какой бесконечно трагической смертью заживо погиб он во время боя быков — империалистов, если теперь его именем, как лаврами, венчают свою никчемную голову каждый пустопорожний мещанин...

* *
*

Царицынская Городская Дума еще до 1917 г. была ареной жестокой борьбы. До революции 1905/7 г.г. Дума находилась во власти черной сотни первого ранга: попов, домовладельцев-помещиков, спекулянтов-купцов. Всей этой компанией руководил городской голова Пятаков, окруженный некультурной, бездельной и жадной до городского пирога командой, которая называлась «Городская Управа».

После первой революции, в России капитализм начал делать большие скачки вперед в своем развитии. Царицын тогда не только не отставал. Наоборот: он обгонял общее развитие и двигался вперед гигантскими шагами.

И черносотенная Дума полетела в тартарары.

Ее место заняла «прогрессивная» Дума, Дума чистокровной буржуазии. На скамьях гласных теперь уже заседал авангард царицынских фабрикантов, заводчиков, пароходчиков, интеллигентов-домовладельцев.

Попы, помещики, допотопные спекулянты остались, но они теперь уже были в меньшинстве.

Городская Управа превратилась в деловой, работоспособный орган. А возглавлял ее весьма благовоспитанный и политичный торговец железом — городской голова, кадет Клепов.

Новая Городская Дума широко использовала молниеносное развитие Царицына. Она собирала крупные налоги. Она обогатила городскую кассу и тут же бросила эти средства на муниципальное строительство.

Раньше не было в Царицыне даже конки. Теперь вокзалы и пароходные пристани были связаны полотном и проволокой трамвая. Трамвайные вагоны, построенные по последним образцам, перебрасывали пассажиров от французского завода до отдаленной За-Царицы, т.-е. почти вдоль всего побережья Волги, занятого городом Царицыном и его пригородами.

Дома, площади и улицы впервые осветились электричеством. Вместо выгребных ям, которые до того времени украшали и одухотворяли самые шикарные дома, построена в крупном масштабе канализация. При этом — ни одной концессии! Никаких бельгийцев! Городская Дума была сама хозяином этих новых с иголочки, громадных муниципальных предприятий.

Но, разумеется, буржуазия, даже подстриженная и подчищенная, оставалась буржуазией. И львиную долю барышей и удобств, получавшихся от развития города, его «отцы» присваивали себе и своему классу.

Трамвай экономил капиталистам рабочую силу и рабочее время.

Канализация облагодетельствовала в первую очередь крупное домовладение, которому выгребные ямы и обоз обходились несравненно дороже канализации.

Электричество роскошно сверкало в центре города, когда для окраины не хватало даже керосиновых коптилок. Мало того: по закономерной случайности, уличные фонари предпочитали освещать улицы и площади как раз от парадных под‘ездов, принадлежавших членам управы и наиболее влиятельным гласным Думы.

Городская оценка домов для взимания налогов оставалась ничтожной, и чем крупнее было домовладение, тем смехотворнее выглядела оценка.

Народное образование тоже развернулось, ибо теперь капиталистам до зарезу были нужны грамотные рабочие, токаря, монтеры, электротехники, мастера.

И уж, конечно, «прогрессивная», «образованная» «интеллигентная» Дума глубоко убеждена была, как и все старые,

черносотенные предшественницы ее, что «без бога — ни до порога». В школе насаждалось поповское православие, а начала и концы занятий Думы, а также всякие прочие торжественные случаи в жизни города окроплялись святой водой и неизменно оглашались завыванием самой первосортной поповской братии.

Дума была за войну и за царя.

Но тотчас после свержения «обожаемого монарха» она приветствовала (во всей России — третьей по счету) его падение.

Дума была за революцию и, вместе с прочими общественными деятелями, создала (Городской) Исполнительный Комитет Общественных организаций.

Но Дума была за революцию во имя продолжения войны, во имя укрепления собственности, во имя размножения и процветания процента, а не так себе просто во имя какой-то «анархии».

Словом, уже через месяц после начала революции, «новая» прогрессивная Царицынская Дума устарела, а еще через полмесяца, как представителей Думы, так и представителей созданного ею Исполнительного Комитета маршевые роты и полки просили «больше не являться к проводам на фронт».

Так, сама собой и с очевидностью для всех течений, надвинулась необходимость и неизбежность основательного ремонта Городской Думы.

В самом начале солдатская масса, уже поняв чутьем и по некоторым фактам классовую подоплеку Думы, но еще, будучи не организованной и недостаточно просвещенной, не раз предлагала на собраниях этот «ремонт» совершить очень простым способом: «разогнать» и при этом «посадить»—кого «в тюрьму», а кого «на штыки».

Чаще всего в таких случаях упоминалось «за упокой» имя городского головы кадета Клепова.

И не будь так сильна наша организация в Царицыне, многим бы «отцам города» в те времена не сдобровать.

«Обновление» Думы совершилось не кровавым, а культурным, даже слишком «культурным», истинно-«социалистическим» способом.

Так как эс-эры были слабы вообще, то речь об обновлении Думы зашла прежде всего между лидерами большевиков и меньшевиков. Беседа была, примерно, такого рода.

Лидер большевиков:

— А Думу-то пора уж и обновить.

Лидер меньшевиков:

— О, да, разумеется.

Лидер большевиков:

— Необходимо от рабочих и служащих, через социалистические партии, обновить больше, чем наполовину. В Думе надо создать большинство из наших партий.

Лидер меньшевиков:

— Ну, это слишком много. Тогда нам придется взять на себя всю ответственность за городское хозяйство. А нашим гласным и нашему большинству в Городской Управе это будет не под силу.

Лидер большевиков:

— Почему же? Вы будете городским головой...

Лидер меньшевиков:

— Нет. Не выйдет. Не следует. Да и Кленов не плох как городской голова.

Происходила такая беседа, как и вообще разговоры по этому вопросу да и самые довыборы в эпоху «диктатуры мещан».

Уж им ли, мещанам, было тогда не воспользоваться моментом и не создать себе привилегированное положение в таком важном органе, как городская Дума... Им ли было не выдвинуть городского голову из своих рядов!

Так, нет. Испугались. Не уверовали ни в себя, ни в те массы, которые, пока что, шли за ними и доверяли им. Больше верили в буржуазию и в ее вождей.

А между тем, ни в какой «маскировке», как после мы, они не нуждались. И на решительный шаг большевики же их подталкивали. Ибо большевики полагали, что меньшевистско-эс-эровская Дума и городской голова-меньшевик для дела полезнее, чем кадетская Дума и кадет — городской голова.

Судьба решила иначе: «Социалисты» предпочли кадетов... самим себе...

«Калифы на час» не хотели сами продлить своего калифатства на лишних полчаса... Тем хуже для них, ибо такой тактикой они сократили наполовину даже положенный им по закону «час».

В «комиссии по дополнительным выборам» меньшевики и эс-эры своим большинством провели: дополнить Думу из 102-х гласных попов и буржуа 25-ю гласными от Совета Депутатов. От Совета, который возглавлял не меньше, как 60 тысяч рабочих и солдат в городе, где всего населения было около 200 тысяч.

Так, в угоду чистокровной буржуазии граждане-мещане обесправили свой собственный «Совет Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов»...

А потом, уже в самой «обновленной» Думе! Там, при пополнении Управы, господа мещане голосовали против большевика за... кадета-монархиста (Козлова).

«Некультурная», «анархическая» солдатская масса хотела посадить кадетов на штыки, а благовоспитанные и сверх-культурные «социалисты» подостлали на думские и управские кресла кадетам свои карманные платки.

Полные перевыборы Думы, на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, намечались на июнь, а потом окончательно фиксированы были на воскресенье 9-го июля.

И наша партия готовилась заранее.

В виду подхалимства «социалистов», мы — «анархисты» — еще на общегородском собрании 18 мая постановили: ни с какими «социалистами» в блоки не вступать, а проводить кампанию выборов совершенно самостоятельно.

— Но наберете ли вы 102 кандидатов?!. — задал собранию вопрос представитель меньшевиков.

Мы полагали, что как в нашей партии, так и около нее организовано больше 102-х человек и что мы сможем найти недурных кандидатов на все места в Думе, если бы это потребовалось.

Меньшевиков же эта цифра почему-то бросала в холодный пот. Они не верили ни себе ни своей «массе» и, потеряв большевиков, пошли на выборы вкупе с неразлучными эс-эрами.

После от'езда комиссии Петроградского Совета и Казанской делегации и после возвращения из Петрограда, со С'езда Советов, Якова Ермана и прочих депутатов наша организация, на-ряду со всякой другой работой, отдала свое главное внимание кампании по выборам новой, никогда не бывалой городской Думы.

После ряда собраний организацией намечены все 102 кандидата. Отпечатана и распространена наша муниципальная платформа. На собраниях и в газете началась энергичная агитация за список № 11.

«Всеобщие»... «равные»... «прямые»... «тайные» выборы!..

Какие же «всеобщие», когда граждане с 18-ти до 21-го г. лишены избирательных прав, хотя они считались обязанными сражаться и даже могли быть убитыми за капитал, за тайные договоры, «за союзников»?

Какие же «равные», когда у буржуазии были типографии, несколько газет и богатые финансы, а у рабочих и солдат одна газета и скудные средства от самообложения, когда за избирательными бюллетенями с самых отдаленных окраин обязательно нужно было лично добраться до центра города, где у буржуазии даже бюллетени были под руками, когда во всей избирательной махинации гораздо легче было разобраться людям образованным, чем необразованным и просто даже неграмотным?..

Какие же это «тайные» выборы, когда наши, в огромном числе неграмотные, избиратели обязаны были показывать свои бюллетени другим, чтобы поставить от руки номер голосуемого списка?..

Однако, наша организация решила преодолеть все эти препятствия и, несмотря на них, дать бой на этой новой арене борьбы.

Политическая атмосфера накалялась.

Каждая партия мобилизовала силы до последнего резерва.

Через две... через полторы... нет, уже только через одну неделю классы и партии, группы и течения скрестят над избирательными урнами свои мечи...

Но тут неожиданно грянули события в далеком Петрограде, — события, которые не могли не послать своей волны по всей периферии, а, следовательно, и через нашу отдаленную окраину.

Температура начала июля так неожиданно и так высоко поднялась, что паровой котел—Петроград—и его сухопарник—Кронштадт—не выдержали, а предохранитель запоздал. И клубы раскаленного пара со стихийно потрясающим шипом и грохотом понеслись по улицам и площадям столицы рабочего класса.

«Долой капиталистов!..»

«За власть Советов!..»

Револьверы и винтовки. Броневики и пулеметы. Рабочие, матросы и солдаты...

«Вся власть Советам!..»

Задрожала почва под старым Петроградом, и здания всех отживших учреждений заколебались.

Наша партия всеми мышцами налегла на рычаг, открыла предохранитель и превратила восстание в демонстрацию.

Но капиталисты и помещики, генералы и мещане уже заглянули в роковые щели пролетарского котла и отскочили ошпаренные — кто в дикой панике, а кто с бешеным воем против революции.

— Сдаемся! — кричали одни.

— Ломай проклятый котел!—вопили другие.

Новая революция.

Иначе нельзя было понять у нас эти грозные события в Петрограде.

«Тревожные вести» — озаглавил Яков Ерман свою передовицу от 6-го июля в № 20 «Борьбы» и дальше писал:

«Тревожные вести принес сегодня телеграф. Доходят клочки, обрывки сведений, по которым можно судить, что в Петрограде происходят события, в зависимости

от которых решится дальнейшая судьба революции.

«Питерский пролетариат порвал с буржуазией, он требует полной демократизации власти...

«Решается судьба русской революции. Мы переживаем снова, как и раньше, „февральские дни“, с той только разницей, что не по приказу царя будут расставляться пулеметы, а по приказу „социалистов-министров“.

«Но пусть вспомнят социалисты из министерства изречение Кавура: «При помощи осадного положения может править и дурак».

«И пусть вспомнят об участи тех, кто таким методом разрешает вопросы, причина которых кроется в глубине социальных противоречий»...

Новая революция. Но тут же опасение и мысль об «осаде» против рабочего класса. И тут же уверенность в окончательной победе...

Неопределенно было впечатление от развернувшейся грозы: она и обещала и угрожала.

Но у нас преобладала уверенность, что конец настал, конец господства буржуазии.

Эта наша уверенность была совершенно неожиданно подкреплена панической телеграммой мещанского большинства Центрального Исполнительного Комитета Советов, полученная у нас вечером 6-го июля.

«Сдаемся»,— таков был смысл этой длиннейшей телеграммы:— «сдаемся, но... попробуем оттянуть.

«Массы выступили под большевистскими лозунгами...

«Центральный Исполнительный Комитет констатирует новый и глубокий „кризис власти“.

«Для решения вопроса о власти через две недели созывается пленум Исполнительного Комитета».

И наконец:

«Если бы революционная демократия признала необходимым переход всей власти в руки Советов, то только полному собранию Исполнительных Комитетов может принадлежать решение этого вопроса»...

Таково было основное содержание телеграммы.

События колыхнули прогнившее «социалистическое» болото. Но... болото болотом осталось:

Только «через две недели» будет решаться вопрос.

Почему не раньше?!.

Вопрос будет решаться «только полным собранием» Центрального Исполнительного Комитета. А если пле-

нума не будет? Если все 250 человек не соберутся? Да и наверняка не соберутся — что тогда?..

И «если бы» демократия высказалась за Советскую Власть, то «только полному собранию Исполнительных Депутатов может принадлежать решение этого вопроса».

Какое же решение именно? В каком направлении? За Советы или против?..

Болотная паника. Мещанская трусость. Подхалимная затяжка.

«Если бы»... «если бы»... «если бы»... «то... то... то и тогда неизвестно, что будет и за что мы выскажемся» — такова бездоннейшая политическая мудрость этого замечательнейшего документа.

Но для нас важно было одно:

Меньшевики и эс-эры подаются. Они сами ставят вопрос о власти Советов. И допускают, по крайней мере, мысль о возможности в России Советской Власти...

Ожидая новых известий о событиях, мы сами готовы были открыто поддержать новую революцию. И вдруг...

Цирк. Наше собрание. Оно подходит уже к концу. Внезапно появляется возле трибуны меньшевик П. Он торжествует. Он весь — ликование и восторг. Но ведет себя сдержанно, как человек, вполне уверенный в своей правоте и в своей победе.

Наконец, он прорывается и, потрясая листком какой-то газеты, сообщает окружающим трибуну:

— Вот оно!.. Завтра вы узнаете, на какие деньги работают и Ленин и все большевики...

И П. охотно показал нам газету.

Это было сообщение какого-то московского демократического листка об измене Ленина и о работе его на средства германского генерального штаба.

Все были ошеломлены этим сообщением, хотя и отнеслись к нему весьма различно.

А П., не имея возможности получить слово на трибуне, продолжал потрясать листком, показывать его и вести индивидуальную и групповую агитацию.

Мещане, буржуа, черносотенцы с облегчением вздохнули: теперь было за что уцепиться, чтобы срезать острые когти большевикам.

В самый разгар Петроградской вооруженной демонстрации, черная сотня — монархисты-помещики и политические верхи буржуазии, в компании с контр-разведкой доблестных «союзников», — изобрела эту неслыханную, подлейшую в истории клевету. Изобрела и подсунула своим верным «личардам» — эс-эрам и меньшевикам.

И загремели барабаны, изготовленные шакалами монархической реставрации и обтянутые бараньей кожей меньшевистско-эс-эровского «социализма».

От 5-го июля «Живое Слово» — орган черной сотни.

От 5-го же июля «Власть Народа» — газета эс-эров.

От 6-го июля меньшевистский «Вперед» и т. д. и т. д.

Из Петрограда, из обеих столиц они затрубили на всю Россию о подкупе германцами Ленина («по документальным данным!..»), о предательстве большевиков, об «измене», о «грязи» и всяких прочих вещах, так приятных ослиному уху перепуганных лязгом оружия буржуа, помещиков и мещан.

Наша организация отчаянно боролась против клеветы.

Но клевета жила, росла, скрепляла между собой всю буржуазию, всех врагов большевизма и придавала им смелости в наступлении на нас.

Меньшевики и эс-эры то поддерживали клевету, то скромно, выжидательно молчали, то пускали в дело гнусные намеки.

Воскресенье 9-го июля. Выборы в Городскую Думу.

Жаркий, солнечный день.

141-й полк, во главе с офицерами-большевиками, пришел целиком в строю к Городской Думе и обрушил целый каскад бюллетений с номером «11» в избирательные урны.

Несмотря на клевету против Ленина и прочих вождей нашей партии, мы чувствовали, что голосование за наш номер идет очень дружно.

Но вот сообщают мне, что по городу, особенно в участках за полотном и на французском заводе, во время самых выборов, перед самыми избирательными урнами, наши противники пустили дополнительную клевету:

— Царицынские большевики тоже подкуплены немцами. В том числе и в первую очередь, конечно, Минин и Ерман. А Минин даже скрылся и бежал из Царицына.

Я взял тотчас извозчика и поехал на гору «за полотно».

Возле избирательного участка — длинная очередь. Подходя к участку, я заметил не одну пару глаз, с изумлением устремленных на меня.

Зайдя в комнату, где происходили выборы и убедившись, что наш представитель в комиссии на месте и все идет согласно инструкциям о выборах, я поехал на французский завод.

Та же картина: длинная лента избирателей, с пакетиками в руках. Голова ленты уперлась в комнату помещения с избирательными ящиками, а хвост колонны далеко затерялся между постройками.

Увидев меня, некоторые избиратели-рабочие поздоровались со мной как-то особенно радостно.

И тут же опять я заметил изумленные взгляды многих из тех, кто уже считал меня подкупленным и разоблаченным изменником и беглецом...

Зашло солнце. Наступил вечер. И выборы закончились.

Каковы же результаты от этого первого опыта «всеобщих», «равных», «прямых» и «тайных»?

Лихорадочное нетерпение охватило буквально весь город...

Но вот результаты об'явлены.

Много мест распалось по десятку буржуазных списков.

Единый блок меньшевиков и эс-эров получил 26 гласных.

И, наконец, по списку № 11, из 102-х кандидатов прошло целых 38!

Почти две пятых Городской Думы — большевики!

Самая крупная, самая влиятельная фракция в городском самоуправлении — это фракция большевиков.

Не помог разгром Петрограда и Кронштадта.

Бессильной оказалась постыдная клевета.

Такая фракция, при ее сплоченности и дисциплине, уже сможет составить себе большинство, отрывая колеблющихся гласных из остальных течений.

Такой фракции и никакой другой отныне принадлежит право дать кандидата на пост городского головы, а, может быть, и на кресло председателя Думы...

А 14 июля, в зале «Общественного Собрания» состоялся пленум Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских (Царицынского уезда) Депутатов.

В этот вечер Совет должен был сказать свое слово в ответ на телеграмму Центрального Комитета Советов о «кризисе власти» и мерах его ликвидации.

Зала клуба, над берегом Волги, возле электрической станции, не раз видала заседания, на которых сверкали молнии и проносились громовые удары классовой борьбы.

Но никогда еще не было ничего подобного тому, что происходило в этот исторический вечер. Казалось, что соседка — электрическая станция — всеми проводами своими обвила собрание и всю свою колоссальную энергию бросила в это маленькое пространство, где заседали депутаты и где хоры ломились от публики.

С горечью и желчью, с негодованием и насмешкой обрушились наши ораторы на последнюю политику и тактику мещанско-кулацких партий.

Говорили недолго: вопрос ясен.

И вся ситуация как на ладони.

Пора к делу.

Предложения...

Лидер «социалистов» — меньшевик П. читает проект резолюции.

О, силы небесные! О, справедливые боги!..

Наградите же скорей по заслугам великую мудрость вождей кулаков и мещан...

Они тоже за новое правительство!

И они тоже... за власть Советов!

Так трудно было им тогда разобраться в событиях. Такая гроза тогда нависла над страной и над городом. И, зачем скрывать, — так не хотелось и так неприятно было потерять в «своем» Совете свое привычное большинство...

«За власть Советов»?!

Но почему же так неистово аплодирует вся правая сторона. С каких это пор она «за Советы»!?

И почему такой гром протестов и насмешек ринулся к трибуне с левых скамей и обрушился на «советскую» резолюцию с битком набитых хор.

Да разве «народ» на хорах и левые депутаты «против Советов»?

А вот оно что:

Оговорочки... Оглядочки... Поправочки да заковырочки...

Да, резолюция гражданина П. трубила теперь за власть Советов, но несчастные «советы» были в резолюции окружены таким туманом и так обвиты были гирляндой колючего терновника, что правая... почуяла какой-то просвет на грозовом горизонте, а левая и хоры с негодованием ополчились на «социалистического» уродца.

Резолюция большевиков...

Голосование...

Совет не переизбирался до сих пор целиком.

Совет не успели переизбрать, несмотря на постановление «комиссии Петроградского Совета» (было у этой комиссии и такое постановление!).

Совет обновлялся по частям — от случая к случаю.

Ибо мы, большевики, были против переизбрания, а остальным это тоже нравилось. Имея в руках материальную силу, наша организация не имела никаких оснований ею щеголять и ею дразнить наших заклятых врагов.

Мы были лойяльны, чертовски лойяльны — целых полтора месяца, весь период нашей фактической диктатуры.

Но теперь... Теперь иные времена.

Довольно канители.

К чорту маскировку.

Победили в Думе, — победим и тут.

И мы бились за наше большинство.

Началось голосование.

Сначала обычным путем. Считали мандаты в поднятых руках.

Не удалось, не могли договориться счетчики.

Еще пересчитали. Опять ничего не получилось.

А до краев переполненная зала то застывает в ожидании, то разражается бурным негодованием.

— Шапки сюда! Считать мандатами! — догадался кто-то.

Способ одобрили. И на трибуне, у самой рампы выросли двое — один с фуражкой, а другой с шляпой в руках.

— За резолюцию большевиков сюда.

— За резолюцию П. ко мне.

Потянулись руки и посыпались мандаты.

«Урны» наполняются, но трудно предугадать результат.

— Как будто победили, — говорят большевики.

— Но за меньшевиков тоже довольно много.

Считаем.

П. волнуется больше всех.

— А где же крестьянские голоса? — вопиет он.

Представитель от крестьянских депутатов, солдат Выдрин, показывает П. пачку мандатов.

— А вот они. Целехоньки — все одиннадцать.

И опускает их в урну большевиков.

Не приходится долго звонить.

Депутаты на местах.

Налегая на барьер, чернеют до самого потолка в молчании застывшие хоры.

Немая, гробовая тишина.

— Большинством одиннадцати голосов принята резолюция большевиков.

И здание клуба содрогнулось от урагана рукоплесканий...

Итак, рабочие, гарнизон и крестьяне — за большевиков!

Самая крупная, самая сильная и дисциплинированная фракция Городской Думы у большевиков!

И, наконец, большинство в Совете Депутатов — тоже у большевиков!..

«Власть народа», власть подлинного народа, не только доказала себя, но даже стала просачиваться наружу, стала принимать формальную оболочку.

И теперь оставалось только на этом твердом фундаменте и на этом прочном здании поставить новую крышу и водрузить уже открыто красное знамя Коммуны.

То-есть, осталось только: переизбрать бюро (президиум) Совета и его председателя и даже переизбрать весь Совет и создать новую Управу с городским головой — большевиком во главе.

И затем уже легко было приняться за текущую работу, начав ее с занятия следующих по очереди второстепенных высот — постов начальника гарнизона, комиссара уезда, начальника милиции и прочих, им подобных.

Власть народа стала не только материальным, но и формальным фактом.

Диктатура большевиков поднялась до зенита.

Но... прошла неделя. Прошла только одна неделя.

И... наступила катастрофа.

Власть народа, диктатура большевиков, с небывалой высоты, со своего зенита, молниеносно рухнула вниз — до самого подполья...

VII. Интервенция.

Прошло дня три после знаменитого заседания Совета.

Я работал в помещении Президиума, в одном из классов той же бывшей женской 2-й гимназии.

И вдруг появляется В. П. Антонов.

Он опять к нам прикатил из Саратова.

Но на этот раз не в качестве члена какой-либо комиссии.

— Идем куда-нибудь, — сказал он, — необходимо переговорить по секрету.

Куда девалась его обычная, так заражающая всех, оживленность, экспансивность. Нет размашистых жестов. Нет оглушающих раскатов хохота.

На лице — печать серьезности и конспирации.

Все комнаты Совета были заняты. Везде масса народу.

Мы вышли с Антоновым на балкон и притворили двери.

Скоро к нам присоединился Яков Ерман.

— Дело вот какое, — начал Саратовский лидер, — на основании распоряжения из Центра, от самого Керенского, в Царицын посылается из Саратова экспедиция, во главе с начальником юнкерской школы — полковником Корвин-Круковским. И я приехал предупредить вас об этом, чтобы вы заранее смогли принять свои меры.

— Да что это за экспедиция? Для чего? Зачем?

— Для того, чтобы окончательно ликвидировать «анархию».

— Но, ведь, «анархии» не было и нет!..

— Конечно. Только Керенский, очевидно, понимает дело иначе. Посылают оренбургских казаков, юнкеров, пулеметы, артиллерию. И вот теперь надо сообразить, как лучше в этом случае поступить.

— А когда они будут?

— Я выехал, когда они еще не погрузились. Возможно, что экспедиция и теперь еще не выехала из Саратова. Но, так или иначе, на этих днях они непременно будут у вас.

Я посмотрел на пыльный балкон, на поблекшие тополи, стоявшие шеренгой перед зданием, на площадь, где происходили заседания нашего «веча». И в первый раз обратил внимание, как нестерпимо палило юго-восточное солнце, как



В. П. Антонов.

иссохла земля и какая тонкая пыль оседает повсюду и проникает в самые тонкие щели.

— Сколько их? — спросил Ерман.

— Точно не могу сказать, — ответил Антонов, — но сила порядочная и для Керенского вполне надежная.

Мы посовещались между собой. А вечером собрали Комитет в одной из комнат нижнего этажа клуба «Общественного собрания». Раньше здесь заседало Бюро Совета, а теперь тут разместился наш партийный центр.

Настроение собравшихся было сосредоточенное, серьезное. Все прекрасно понимали теперь, что начавшееся по всей стране наступление на рабочий класс не минует и царицынский пролетариат. Всем ясно было, что в истории города тоже наступает перелом и что в его дальнейшей судьбе весьма многое будет зависеть от того решения, какое примет настоящее собрание.

Встретить огнем? Отбить наступление? Повернуть экспедиции оглобли?..

Возможно. Даже совсем не трудно, сколько бы их там против нас ни было. Некоторым кажется даже такая развязка—последним пустяком.

А дальше что? Какая же это развязка, когда реакция наступает повсюду. Все равно нам не дадут покоя и, так или иначе, задушат одинокую коммуну и тем обессилят наши общие ряды к предстоящим боям. Даже наш губернский город Саратов сначала посылал к нам следственную комиссию, а теперь настолько слаб, что не в силах приковать к себе вооруженную силу врагов и задержать экспедицию.

Другие предлагали: встретить экспедицию мирно и разложить ее изнутри.

Последнее мнение победило.

Вместе с тем, было решено принять некоторые меры к воскрешению конспирации (увы!..) — запрятать документы, обезопасить работников и их квартиры, маскировать заседания и так далее.

И, наконец, было постановлено: отправить делегатом на VI-й Всероссийский партийный с'езд Минина. До сих пор обыкновенно посылался на с'езды Ерман, а я оставался для работы в Царицыне.

На этот раз комитет решил поступить наоборот, полагая, между прочим, что так может лучше сохраниться тот работник, на которого особенно яростно ополчилась буржуазия.

Через два-три дня открывается партийный с'езд.

И через день-два должна была прибыть военная экспедиция.

Необходимо было торопиться.

Передав одному надежному товарищу на хранение мои документы с квартиры, я, вместе с Антоновым, поехал на пароходе до Саратова.

Но как?..

Нужно было не просто выехать, а конспиративно ускользнуть.

Когда летом 1909 и 1910 г.г. я ездил по партийным делам от Казани до Астрахани, я обыкновенно выбирал вечерний

пароход, особенно из посада Дубовки, где я жил и где меня все знали и, нахлобучив шляпу и подняв воротник, ждал третьего гудка. Когда раздавался желанный гудок и уже начинали убирать мостки, я перебегал с темного берега на пристань и нырял на отходящий пароход. Там, после того, как все разместятся и наступит некоторый порядок, я подходил к кассе, брал билет обязательно второго или даже первого класса и... «садился в бест». Я запирался в каюте, как больной пассажир, большею частью там и закусывал, а «на прогулку» по палубе и за покупками на пристанях я выходил только в ночные часы.

На пристани, где я должен был высаживаться, я поступал почти так же: выходил последним, иногда целый час спустя после того, как сойдут пассажиры. Выходил, не привлекая на себя ничьего внимания, как случайно забредший на пароход верноподданный «престол - отечества».

Не даром жандармский подполковник Тарасов, приканчивая осенью 1910 г. мою работу и не получая от меня ответов, был в полнейшем недоумении, где же я бывал, кроме Дубовки и Царицына.

А теперь?..

Теперь тоже необходима конспирация! Как при царе!

Трудновато... Ведь я — представитель высшей власти в городе, а через неделю мог быть и председателем Совета, и городским головой и — вдруг... нахлобучивать шляпу? Поднимать воротник?!

Во всяком случае конспирация необходима.

Трудновато — да. Но ничего не поделаешь...

Билеты были куплены заранее. Около полуночи несколько товарищей осторожно проводили нас на пароход, который уже стоял у пристани. Отходить же полагалось ему ранним утром.

Вот тебе и раз. Так много писали, что пароходы мимо Царицына не ходят и что пассажиры остерегаются нашего города и за сотни верст об'езжают его. А тут, как нарочно: ни одной каюты. Мало того: ни одного свободного места внутри парохода!

А ехать необходимо до - зарезу.

— «Может быть, к Дубовке или Камышину освободится каюта — тогда получите» — сказал кассир нашим ходатаям.

И вот, два великих конспиратора, я и Антонов, располагаются... на койках верхней палубы 2-го класса, правда — на свежем воздухе, но зато и на виду у всех...

В шестом часу утра, когда мы проснулись от тепла и света солнечных лучей, пароход уже бурлил воду колесами и плавно и быстро несся вперед.

— Ничего, сойдет, — решили мы.

Побродили по палубе. Позавтракали.

Затем Антонов залег на скамью с книгой, а я взял карандаш, бумагу, занял чайный столик на верхней палубе, прямо над переполненной народом, открытой кормой, и начал писать большую статью.

Писал я о том, о чем давно думал и говорил, но чего не было времени занести на бумагу — о влиянии мировой войны на классовое сознание рабочих и крестьян даже самых отдаленных медвежьих углов.

Писал я долго. Мы обедали, отдыхали. Потом я снова писал.

Работа шла как-то особенно легко и стройно.

Когда вдали показался Камышин, статья уже была закончена, и я с удовольствием всматривался в этот предзакатный час в постройки, и зелень, и главы церквей того города, который так ненавистен для меня был когда-то, так как именно здесь некогда, в возрасте от 11 до 15 лет, я целых четыре года провел, как в тюрьме, в Духовном училище.

Вот оно, это проклятое здание, недалеко от берега Волги. Перекрасилось теперь — вместо грязно-красного цвета — серый на обоих корпусах.

С парохода бросили чалки. Он плотно придвинулся к пристани и замер, отдыхая.

Пассажиры метнулись по трапу...

Я сел за свой столик и начал наблюдать кипучую жизнь на так хорошо знакомом берегу с его лотками и лавочками, переполненными поздней вишней и ранними яблоками.

Прошло несколько минут.

Вдруг передо мной появились два господина в штатском.

— Вы Минин?

— Я. В чем дело?

— Потрудитесь сойти с парохода.

— Что такое?

— Потрудитесь сойти с парохода, говорят вам...

— На каком основании? Я имею билет до Саратова, и мне совершенно не зачем останавливаться в Камышине.

— Пассажиры требуют, чтобы вы покинули пароход.

— Я — тоже пассажир и еду дальше. Оставьте меня в покое, — резко ответил я.

— Так вы не сойдете? — крикнул один из штатских с искаженным от бешенства лицом.

— Убирайтесь отсюда, — ответил я.

Попробовал, со мной ли револьвер, и тут пожалел, что мы не посадили на пароход наших солдат. Теперь можно рассчи-

тывать, что солдаты из Царицына случайно тоже едут, и они ликвидируют этот наглый наскок.

Господа помялись и двинулись по палубе обратно, но через две минуты они вернулись в сопровождении командира парохода.

— Господин Минин, я прошу вас оставить судно и сойти на берег, — возвестил капитан.

— Да на каком же это основании! Ведь я уплатил вам за билет и еду до Саратова. Оставьте меня в покое.

— Пассажиры волнуются. На пароходе неспокойно. И я не могу так дальше вести судно.

— И не ведите. А я при чем тут.

Капитан помолчал, недоумевая.

Но тут появился Антонов. Поняв тотчас из этой оригинальной беседы, в чем дело, он обрушился на капитана и штатских.

— Это что за безобразие! Почему вы производите беспорядок и мешаете пассажирам ехать, куда они хотят? На основании каких законов вы действуете?

Группа помялась опять и, рыча от злобы, удалилась.

Тем временем вокруг нас на верхней палубе и внизу, на корме, уже собралась порядочная толпа. После нашей краткой, но выразительной «беседы», в толпе немедленно произошли классовые группировки. Одна часть зрителей, преимущественно с верхней палубы, наступала на нас и поддерживала хулиганов. Другая группа, главным образом на корме, гудела в нашу пользу, кляня буржуев и «белогалстучников».

Не успели классовые точки зрения оформиться и как следует столкнуться, как перед моим столиком выросла группа из пятерых солдат во главе с офицером.

— Гражданин Минин, сойдите с парохода.

— Да об'ясните, в чем дело? На каком основании?

— Идите, идите. Вы арестованы.

Пришлось повиноваться.

Антонов, как протестант против ареста, тоже был захвачен солдатами.

Окруженные конвоем, мы зашагали по песчаным улицам нашего соседа — города Камышина.

Вот она та же самая пожарная каланча, на которой мы наблюдали сигналы когда-то с тюремного двора «духовного училища».

А вот оно и само.

Но зато площадь совершенно преобразилась: вместо моря песку, выращен хороший городской сад. Мы прошли мимо его куда-то на южную окраину города.

Казарма полка...

Так вот у них какие солдаты, какой гарнизон, какие порядки... Всего в 180-ти верстах от нашего революционного Царицына.

В окнах казармы солдаты. Я внимательно посмотрел на эти новые лица, малосознательные, апатичные, но полные любопытства.

«Поговорить бы с ними хоть полчасика», — подумал я.

Наблюдавший за мной командир конвоя угадал мои мысли.

— Тут разговаривать не придется...

Мы вошли в помещение деревянной казармы.

Хлопнули двери. Нас покинули. Еще раз хлопнули двери. Загремел засов...

Камера... Гауптвахта...

Грязь. Клопы. Нары. Заржавленные решетки. Невероятное зловоние от переполненных, загаженных уборных во дворе.

Все на месте. — Все, как полагается в таком высокопатриотическом гарнизоне такого высокодемократического города.

Мы с Антоновым огляделись, переглянулись, и тут моему спутнику вернулась целиком его веселость: он потряс жидкие стены гауптвахты заразительным громовым хохотом...

Для ужина пригласили нас в соседнюю камеру — попросторнее, где сидело трое солдат за проступки, о которых они не расположены были долго беседовать с нами.

Принесли с «баландой» громадную деревянную миску и при этом дали на всех пятерых... одну деревянную ложку.

У начальства мы требовали об'яснить, за что нас арестовали и почему не выпускают.

Мы написали даже и подали «по команде» официальную жалобу.

Приходили какие-то жизнерадостные унтеры, ефрейторы, заглянул офицерик. Они говорили нам, что сами не знают причин ареста, и как только выяснят, немедленно сообщат нам.

При этом Володя Антонов, как и полагается юристу, да еще адвокату, внушительно раз'яснил им, что согласно закона держать под арестом без об'яснения причин свыше 24 часов никак не полагается.

Ночью нас пожирали клопы.

С утра мы снова требовали освобождения.

Наконец — истекают роковые «законные» сутки.

Мы волнуемся и теребим начальство.

Ровно через 24 часа гремят засовы.

— Берите вещи. Выходите...

Удивительная конституционность...

Однако, позвольте: не в тюрьму ли переводят?

У ворот затасканный военный экипаж, державший в своих оглоблях, как в об'ятиях, невероятно худую, заморенную клячу.

Мы сели. Возница дал кнутом директиву кляче, и она качнулась вперед...

— К коменданту! — звонко отчеканил наш провожатый.

«Чем-то все это кончится»?, — думали мы...

...Нас-таки освободили...

И мы, как самые вольные царицынские граждане, пошли по городу, сначала на телеграф, откуда дали знать о событиях в Саратов и Царицын, потом в Комитет большевиков.

Товарищи об'яснили, что организация слаба, что в гарнизоне засилье контр-революционных офицеров.

Накормили нас ужином и у себя на квартире уложили спать.

А на следующий день, после обеда, мы купили билеты на очередной почтовый пароход, заняли каюту первого класса и продолжали наш путь до Саратова.

Мы ехали в полной уверенности, что теперь с нами уже ничего не случится.

Если нас уже арестовали и, после этого, за неимением оснований для ареста, освободили, да еще по телеграмме Саратовского губернского прокурора, то мы, можно сказать, уже в Саратове. А в Саратове и юстиция, как видно, существует и законы признают, да и наша партийная организация куда сильнее, чем в каком-нибудь мещанском городке — Камышине.

После нар гауптвахты мы блаженно разлеглись на диванах каюты первого класса.

А наша любимая Волга поневоле заставляла нас забыть пережитое заключение или, по крайней мере, превратить его в юмористическое событие.

Наступил вечер — теплый, темный, ароматный.

Пристань... Село Золотое.

Полпути между Камышином и Саратовом.

Остается каких-нибудь еще 90 верст.

Пассажиры толпой ринулись на берег покупать себе всякую снедь, «золотовские пряники», фрукты.

А мы зажгли электричество.

Лежим и беседуем.

Нам хорошо и без пряников...

Пароход дал короткий первый гудок.

В дверь каюты постучали.

— Кто там?

— Отворите.

Я открыл дверь.

— Здесь едет Минин?

— Да.

— Вот телеграмма...

Солидная фигура сытого, рослого мужика держала осторожно в руках распечатанный телеграфный бланк.

За солидной фигурой виднелись другие, менее солидные граждане, но с какими-то признаками военной формы.

— Я — волостной старшина, — сказала неуверенно рослая фигура, — приказано вас задержать...

Я пробежал телеграмму:

«Едущего на пароходе таком-то в каюте номер такой-то гражданина Минина арестовать...

«Полковник Корвин-Круковский»...

— Так что пожалуйте за нами...

Об Антонове ничего не было сказано.

Он оставался кончать последние 90 верст.

Я стал собираться. Тут меня забеспокоила моя статья о результатах мировой войны. Ничего нелегального она не представляла. Но мне было бы жаль расстаться с ней при обыске.

Несколько пар глаз гвоздили нас в маленькой каюте.

И я решил совершенно открыто и с самым равнодушным видом передать бумагу Антонову.

Но Антонов как-то неловко ее взял, и моя статья покатилась на пол, потом под койку.

— Так вы тоже собирайтесь, — заявил тогда волостной старшина по адресу Антонова. И поднял сверток моей статьи.

— Обо мне в телеграмме нет ни слова. И вы не имеете права! — протестовал Антонов.

Я поддержал его.

— Не сказано? Ничего, идите. Оба идите. Живей!

«И пошли они, солнцем палимы»... Нет не солнцем, а тихой, молчаливой, но бешеной злобой «первоклассных» пассажиров.

На пристани старшина и милицейские стали смелее, а на твердой почве своего родного села они тотчас приняли вид самой подлинной, самой высшей и суровой власти.

Впрочем, нас повели не селом.

Это было бы слишком рискованно для безопасности государства.

Справа — село. Слева — необ'ятная степь или бахчи, поля — не видно в темноте.

Нас вели за селом. Мы спускались в овраги, снова поднимались...

— Тише!.. Нечего разговаривать... Чего там оглядываться!.. Рядом идите...

Наконец, таинственная процессия подошла к селу, двинулась пустынной улицей и через каких-нибудь пять минут мы

оказались в большой, просторной, освещенной керосином, заглавной комнате волостного правления.

Тут мы должны были и ночевать.

Золотое — крупное торговое село. И когда весть об аресте большевиков обежала высокие торгово-кулацкие сферы, к нам в гости пожаловали некоторые именитые граждане, а между ними, как полагается, просочилась и беднота.

Сначала официальные лица и гости смотрели на нас, как на словленных диких и редких зверей, бежавших из зоологического сада.

Но мы были очень любезными хозяевами и немедленно стали занимать наших гостей разговорами.

— Есть ли у вас тут большевики? — спросили мы.

— Нет, — ответил один.

— Своих нет, — об'яснил другой, а приходили какие-то матросы-оборванцы из Кронштадта, большевики, будто, хотели чего-то сказать напротив войны, так их немного... остановили... да чуть не убили... Нет, у нас большевиков нету...

— Та-ак, — ответили мы. — Против войны? Да разве же это мыслимо! Без войны нельзя. Ведь у нас земли-то нет совсем, а крестьянам как же без земли. Мужик задыхается без земли-то. Правда, у помещиков да у монахов можно бы поотнять — так ведь им самим нужно. А войной, глядишь, и прирежем откуда-нибудь, у немецких или австрийских крестьян отрежем, повыгоним их, да сами и устроимся. А наших помещиков да монахов обижать нельзя. Им и так мало. За то и воюют, чтобы и себе землицы прибавить, да чтобы и крестьян русских не забыть...

— Того и гляди: не забудут... — усомнилась какая-то голова из задних рядов...

Так, слово за словом, разговорились, и беседа затянулась.

Утром нас повели через двор, пустынный и поросший травой, и показали «каталажку», где собственно мы бы должны находиться, но тут же нам заявили, что нас запирать не будут и что мы можем пока сидеть и гулять на дворе.

Это было совсем недурно, потому, что каталажка произвела очень удручающее впечатление даже после Камышинской полковой гауптвахты: небольшая комнатка в небольшой избе с нарами и с крохотными окнами, которые были накрепко переплетены толстыми железными пластинами.

На дворе было солнце, а в камере — полумрак...

Мы полюбовались этим учреждением, но нас не запирали там ни на минуту.

Отношение к нам, после ночной беседы, радикально переменилось. Даже власти и стража не только оставили свои сверх'-

естественные, диктаторские манеры, но относились к нам совсем за-просто, чуть ли не по-товарищески.

И когда нас пригласили к чайному столу, украшенному самоварчиком и купленными нами продуктами, то нам показалось, что мы не арестанты, сидящие в сенях волостного правления, а просто путешественники или гости, которые ведут с любезными хозяевами и кое-какими любопытными посетителями весьма приятную, дружескую беседу.

Скоро после завтрака Антонову об'явили, что он свободен и может ехать куда угодно.

Мы условились, что Володя поедет в Саратов и поднимет протест против насилий над нами и против моего ареста.

Антонов ушел и на каком-то пароходе скоро поехал до Саратова.

Сидя на дворе под лучами полуденного солнца, я, по обычаю всех арестантов, изучал обстановку: решетки в окнах каталажки, заборы, соседние улицы... Но делал это больше по прывычке и по арестантской обязанности, так как в серьез о побеге я не думал.

Я был крепко убежден, что время работает за нас и что вся эта история закончится более или менее быстро и благополучно.

Вскоре после полудня меня повели в управление милиции, где, — после каких-то записей и подписей, об'явили, что меня с вечерним пароходом отправят в Царицын, и сдали на руки милиционеру.

Милиционер повел меня к себе на квартиру, где я должен был дожидаться парохода.

Жена милиционера тотчас приготовила закуску, поставила самовар, и мы уселись подкрепиться на дорогу за низенький столик по середине двора.

Когда я хотел заплатить хозяйке за угощение, милиционер запротестовал решительно и заявил, что он, хотя и не большевик, но вполне понимает большевиков и тоже—против войны и против помещиков.

Изба и дворик моего стража доказывали, что хозяин их живет совсем не богато.

Часа через два подошли еще двое милиционеров и мы, уже вчетвером, отправились на пристань.

Мы вступили на большой пассажирский пароход, поднялись на палубу I-го класса и там сели скромно на одну из скамеек.

Мы продолжали беседу, начатую еще на берегу, и чем дальше двигалась беседа, тем меньше фракционных разногласий оставалось между членами нашей небольшой кампании.

— Ваши билеты? — потребовал контролер.

— Везем арестанта! — солидно ответила тройка.

И контролер равнодушно последовал дальше.

В Камышине милиционеры вывели меня на пристань, в одну из кают, сдали там под расписку дожидавшемуся конвою из пяти солдат и по-товарищески распростились со мной.

Теперь мы на том же пароходе в двухместной каюте 3-го класса.

Я угощаю солдат папиросами.

Не отказываются, но беседовать остерегаются.

Да и я так устал, что скоро после наступления темноты крепко заснул...

Продолжительный и звонкий гудок.

Посмотрел в окно: веселое, солнечное утро.

Пароход загибает полукругом к пристани.

Царицын...

Меня долго держали в каюте. Пока не сошли все пассажиры.

— Вых-оди!..

Я, разумеется, выхожу.

Пассажиров нет. Зато под крышей пристани, а еще больше на берегу толпятся военные чины и солдаты не в форме царицынских полков и, как говорится, с «интеллигентными» лицами.

Раздалась команда.

Меня окружили. Повели на берег.

Опять команда. Защелкали затворы винтовок.

И я зашагал по берегу, окруженный взводом юнкеров. Позади и впереди колонны громыхали по мостовой два пулемета. Юнкера же несли коробки с готовыми, боевыми пулеметными лентами.

Да. С этими не побеседуешь за чайным столом. Это не сельская милиция и не рядовые солдаты.

Юнкера смотрят зорко по сторонам, ожидая неминуемого нападения.

Посматривали и на меня — мрачно, грозно, решительно.

Багаж у меня был небольшой, но руки стали затекать.

— Извозчика наняли бы, что-ли. Я заплатить могу. Тяжело так...—произнес я первые слова по адресу сурового конвоя.

— Нам самим тяжело, — последовал короткий и грубый ответ.

Солнце уже печет. По улицам извозчики, пешеходы. С любопытством останавливаются глазами на нашем кортеже и сворачивают в соседние улицы.

Мы пересекли поперек весь город, от Волги до полотна железной дороги, перешли полотно и поднялись на гору.

Юнкера, одетые по-походному, со свернутыми шинелями через плечо, обливались ручьями пота.

Наконец, и им стало не в моготу, и на одной из окраинных улиц, где опасности от нападения было меньше, наш отряд остановился передохнуть.

Но тотчас опять устремился к намеченной цели.

В казармы «студенческого батальона»...

Казармы мне были уже знакомы. Как же! Совсем недавно, можно сказать — на-днях, я там был. И по какому делу! Я должен был, от имени Совета, расследовать какую это переписку с «волей», политического характера затеял мой старый знакомец — жандармский подполковник Тарасов. Он сидел тогда под арестом на гауптвахте студенческого батальона.

Удалось установить, что неугомонный жандарм, действительно, что-то затевал, пытаясь организовать некую группу монархистов. Совет пригрозил подполковнику, постановлено было перевести его в тюрьму, а караулу сделано было строжайшее предостережение.

И вот, опять я ступил на двор батальона, но уже не в качестве следователя, а как арестант.

Но судьба не успокоилась и на этом, она продолжала свои шутки: меня привели на ту же гауптвахту, немедленно открыли камеру, как раз по соседству с той, в которой помещался жандарм, и захлопнули дверь, а у дверного окошечка в ту же секунду вырос часовой.

Камера, как во всякой приличной романовской тюрьме: два куба воздуха, длина — шесть шагов, ширина — четыре, на высоте роста — окно под хорошей железной решеткой, кровать и столик, чистота весьма относительная, пыль, тюремные ароматы... Словом, жить можно.

К дверному «волчку» то и дело подходят и прикладываются глазами.

Вдруг я слышу торопливый голос:

— Товарищ Минин, не желаете ли что-нибудь передать в город?

— А вы кто?

— Ваш часовой. Я — солдат студенческого батальона. Сменяюсь теперь. Сюда думают поставить юнкеров.

Я посмотрел, через форточку двери, на доброжелателя.

Голос и лицо не вызывали никаких подозрений.

Записка к невесте тотчас была готова.

Я писал о своем аресте и о возвращении на родину.

Часовой запрятал записку и начал шагать по коридору. А еще через несколько минут его сменили.

Мне подали обед. Я не дотронулся. Пил чай.

Так началась тюремная жизнь. А на следующий день —

— На прогулку!..

Россійская Соціалъ-Демократическая Рабочая Партія.

Цѣна 10 коп.

Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!

БОРЬБА

РАБОЧАЯ ГАЗЕТА.

ОРГАНЪ
Царицынскаго Комитета
Р. С.-Д. Р. П.
(большевиковъ-интернаціоналистовъ).

№ 34. Четвергъ, 27-го іюля (9-го августа) 1917 года. № 34.

Долой насилія!

будетъ злан сѣть отъ васъ товарищи рабочіе и солдаты

—они трусливые играющіе въ политику лицемѣры Подъ прикрытіемъ революціонной фразы, какъ они дѣлали это всегда

лишь къ возстановленію стараго порядка и старыхъ методовъ. У нихъ нѣтъ ни смѣлости ни желанія призвать васъ къ рѣшительному выступленію противъ капитала и контръ революціи

Они въ глубинѣ души боятся революціонныхъ выступленій народныхъ массъ и, прикрываясь красивой фразой продолжаютъ бороться противъ революціоннаго духа трудящихся классовъ.

противъ всѣхъ насильниковъ

Вы не цѣните своихъ жизней Вы сейчасъ всюду жертвуете ими для чужого и враждебнаго вамъ дѣла для угнетающей васъ буржуазіи. Для нея же ваши жены и дѣти умираютъ съ голоду.

Почему же не жертвуете вы собою для полнаго освобожденія васъ самихъ и вашихъ братьевъ отъ позорнаго вѣкового рабства капитала и оплагтѣвшей контръ революціи.

Поверните орудія и ружья противъ врага въ собственной странѣ противъ вашихъ вѣчныхъ угнетателей и соединитесь во имя общаго блага во имя братства всего человѣчества!

Только рабъ имѣетъ право на [illegible] венство, за экономическое освобожденіе!

Долой буржуазный строй!
Долой насилія

В. Сергѣевъ

Освободите т. Ермана!

вчера они арестовали товарища Ермана.

Мы настойчиво требуемъ, чтобы т. Ерманъ былъ освобожденъ изъ-подъ ареста

Не воскрешайте же старыхъ, царскихъ порядковъ, когда людей томили въ тюрьмахъ.

Почему арестовали т. Ермана, а не арестовали другихъ соціалъ-демократовъ большевиковъ?

Почему не выхватить всѣхъ по опубликованному списку кандидатовъ въ гласные Царицынской Городской Думы? Достаточно бы было [illegible] министръ „соціалистъ“ Керенскій?!

Пытаетесь затруднить нашу партійную работу арестами отдѣльныхъ наиболѣе замѣтныхъ лицъ?!

Но не забывайте о томъ, что взамѣнъ ихъ рабочій классъ выдвинетъ новыхъ работниковъ, быть можетъ менѣе даровитыхъ но не менѣе преданныхъ!

Партію пролетаріата никому не удастся разрушить!

Да. Это не Камышин, не Золотое. Все тут по закону, все расписано, как у порядочных людей.

«Прогулка». Позвольте, но разве у нас не свергнут царизм? Не господствует демократия? Не управляет нами «революционное» правительство? При чем же тут «на прогулку»!

Пусть уж теперь еще кто-нибудь выходит этим способом «прогуливаться», но революционеры...

Однако, делать нечего: подышать воздухом и оглядеться, ориентироваться не мешает.

Я прошел коридорчик и шагнул через порог на площадку перед гауптвахтой...

Силы небесные! Боги демократии! Ваши чудеса неиссякаемы. Неописуемы...

На скамье, возле стены, уже сидел «на прогулке» жандармский подполковник Тарасов.

И он как будто даже не прочь был (или это мне только показалось) поздороваться со мной.

В 1910 и в 1914 годах он был следователем-судьей надо мной. На-днях я был судьей-следователем над ним. А теперь... теперь «демократия» и «революция» нас поравняли...

Прогулка происходила перед дверьми и окнами гауптвахты на небольшой части громадного двора батальонных казарм.

Мимо проходили юнкера, казаки-оренбуржцы и кидали на меня грозные, зверские, но в то же время, полные нескрываемого любопытства, взгляды.

Вот юнкера выходят обедать и строятся по-взводно.

Так четко выполняют команду, так стройно подходят к дверям столовой, что кажется, будто и там, за столом, они садятся, берут ложки, несут их ко рту и обратно — тоже по команде.

Всего арестантов человек десять: кроме жандарма несколько солдат и какие-то штатские, при чем один из них — шантажист.

Вдруг перед нами появляется от ворот кольцо верховых казаков: кого-то пригнали еще...

Казаки спешились и окружили арестанта.

— Здравствуйте, Сергей Константинович.

— Веня!.. Здравствуйте...

То был официальный редактор нашей газеты «Борьба», молоденький, почти мальчик, Вениамин Сергеев.

Когда его посадили, через две камеры от меня, я успел перекинуться с ним несколькими фразами.

Скоро ко мне стала приходить Р. Ф., которой солдат-студент аккуратно передал мою первую записку и которую Комитет избрал для поддержания связи между мной и «волей».

Пропускали ко мне и других товарищей.

И скоро я смог отчетливо представить, что случилось и что происходит после моего от'езда в городе.

Еще перед от'ездом и до Антонова мы уже знали, что начальство приказало 141-й полк перевести в казармы военного Городка в Саратове.

Причины были понятны: 141-й запасный полк был самый сознательный и самый организованный из всех трех полков нашего гарнизона. Не даром же он при выборах новой Городской Думы голосовал единогласно. Этот полк был нашей главной вооруженной опорой.

И вот, его-то решено было из Царицына вырвать с корнем: все боеспособное выкинуть на фронт, а остальное, самую основу запасного полка, перебросить в Саратов, где наш обессиленный полк мог бы целиком раствориться в гарнизоне, еще «не разложенном» и все еще, в значительном числе, вполне преданном буржуазному правительству и меньшевистско-эс-эровскому совету.

19 июля бюро нашего совета специально обсуждало этот вопрос.

После моего от'езда, вслед за Антоновым, в Царицын опять прибыли представители других партий, и в том числе эс-эр Телегин.

Еще до экспедиции саратовские меньшевики и эс-эры уверяли военное начальство, что в Царицыне все мероприятия правительства пройдут без осложнений.

Но когда Телегин, прискакав сам в Царицын, лично понаблюдал одно бурное собрание солдат, он побежал на телеграф и сам заявил о необходимости для Царицына военной экспедиции.

После такого «социалистического» благословения от тех, кто раньше был в нашем городе и сами подписались под «Воззванием к демократии России», отважный полковник и двинулся на Царицын.

Ехал он не просто, не как какой-нибудь штатский гражданин, а как испытанный полководец: под'езжая к Царицыну, он остановился на пароходе повыше города и послал разведку. И лишь когда разведчики вернулись и донесли, что как в городе, так и в казармах они обнаружили самое обыкновенное, мирное течение жизни и никаких подготовлений к обороне или к наступлению, Корвин-Круковский высадил свой отряд на пристани и затем разместил его в казармах «подготовительного студенческого батальона».

Казармы расположены за городом, на горе и сами по себе представляют маленькую крепость, что тоже было не безразлично для оккупантов.

Для такого города, как Царицын, отряд Корвина был не маленький:

500 юнкеров,
500 оренбургских казаков,
14 пулеметов и
2 трехдюймовых полевых орудия.

Впрочем, полковник приехал не для какой-нибудь реакции или реставрации, а, как он сам и его комиссар говорили, «для водворения в Царицыне революционного порядка».

А чтобы «революционный порядок» воистину был водворен, к подполковнику был приставлен правительственный комиссар, член партии эс-эров, некий Корни-де-Бад.

Прибыв на место назначения, этот комиссар тотчас же перед всеми партиями поклялся в своей об'ективности и, кроме того, заявил, что, по случаю своего полного беспристрастия, он «даже свой эс-эровский партийный билет запрятал на самое дно своего чемодана».

В последнем обстоятельстве, по правде говоря, ничего особенно героического не было, так как в эту эпоху вся партия эс-эров, как и вся партия меньшевиков со своими партийными билетами проделывали как раз то же самое.

Но большевики, разумеется, немедленно и «глазом не моргнув», целиком уверовали в полную «об'ективность» комиссара и даже, по этой причине, переделали его фамилию: комиссара называли не Корни-де-Бад, а «Кор-де-Балет», каковое имя так и осталось за этой славной личностью на все время оккупации и даже, говорят, перешло на страницы истории.

Так-то массивный и грузный, как жернов, начальник экспедиции Корвин-Круковский и сверхгалантный и болтливый, как сорока, его комиссар, Корни-де-Бад, личности по существу весьма простые, даже убогие, но со сложными фамилиями, принялись за восстановление в нашем городе «революционного порядка», вместо нашей большевистской «анархии» и «контрреволюции».

А так как подлинно-революционный порядок, как известно, процветал именно при царе Николае и его предках, то для старого полковника восстановление такого порядка было делом веселым и привычным.

Полковник действовал, как по расписанию.

А «галантерейный Кор-де-Балет» носился, как на званом вечере, и к каждому шагу своего патрона прикладывал эс-эровский штемпель.

Захватив Царицын и расставив по городу посты, эти господа немедленно арестовали Якова Ермана.

«Листок Борьбы» № 1 от 4-го августа рассказывал потом об этом аресте таким образом:

«— Вы Ерман? — обратился господин в форме подполковника к нашему товарищу, выходящему из студенческого батальона.

— Ерман, — последовал ответ.

— Вы арестованы.

Молча, без слов зашли в комнату, наполненную офицерами. Один из них, старший чином, потребовал передать ему бумаги, находящиеся в руках у товарища.

— Это частные письма.

— Все равно.

Одно за другим прочитывались письма, в которых говорилось об интимных пустяках, прочитывались от края до края, хотя приказа об обыске отдано не было.

Что поделаешь против людского любопытства.

Затем допрашивали. Предварительно ошарашили обвинением и в государственной измене (ст. 108), и в натравливании одной части населения против другой и в нарушении 129 ст.

А затем от отвлеченностей перешли к действительности, вынули номер «Борьбы» от 26-го июля и стали указывать преступные места.

Оказалось, что призыв передать власть Советам является преступным призывом; что указания на необходимость противопоставить контр-революции силу является не менее злостным указанием; что критика нового министерства понимается, как поход против власти и прочее и прочее.

Оставалось недоумевать и пожимать плечами.

— Почему же существует «Социал-Демократ», «Новая Жизнь», ведь они критикуют правительство? Почему не арестовывают их сотрудников?

— «Новая Жизнь» поддерживает правительство.

Не стал спорить. Что поделаешь против такого понимания поддержки.

— Почему же тогда вы официально не об'явите нашу партию стоящей вне закона?

Молчание.

А затем группа верховых казаков, окружив нашего товарища, к ночи перевела его в тюрьму.

Удивленные взгляды знакомого караула и не менее пораженный взгляд начальника тюрьмы.

Скрипнула дверь. В одиночке...

Долгий день. Пустой, без книг. Просьба к начальнику отряда отпустить под конвоем на квартиру за деньгами и книгами не была удовлетворена.

А поздно ночью замок щелкнул, позвали в контору.

Перевести обратно на гауптвахту.

Снова путешествие в кольце всадников в темноте позади города и снова студенческий батальон и камера.

Разговор с уполномоченным министра.

Он убедился, что наш товарищ — честный революционер, что ничего, кроме пользы, он не принес городу — поэтому он завтра освободит его.

— Будете содействовать отряду?

— Буду творить мою партийную работу и, поскольку она будет облегчать вашу миссию, — постольку, очевидно, само собой приложится и содействие.

Бессонная ночь. Мучительное утро. Счастливый полдень. Свобода.

Надолго-ли?».

Как ни сильна была карательная экспедиция, а все-таки «восстановить революционный порядок» без лидера-большевика, без Ермана, полковник и комиссар не надеялись. И Яков получил свободу.

Но когда Ерман был под арестом, «экспансивный» наш редактор В. Сергеев поместил было в № 34 «Борьбы» передовицу с призывом к восстанию и вооруженному освобождению Ермана.

Статья была во-время Комитетом замечена в первых экземплярах газеты, и номер вышел с громадными демонстративными пробелами по всей первой странице.

Меня привезли как раз перед освобождением Ермана.

Но пока освобождали Ермана, Сергеев уже был арестован.

А сама газета «Борьба», с таким энтузиазмом поставленная рабочими и солдатами на свои гроши, на 34-м номере была закрыта.

«Революционный порядок» восстанавливался с каждым днем.

Весь запас из 141 полка был выброшен на фронт. Сам 141-й полк переброшен в Саратов.

Арестовано уже 10 человек солдат — наиболее активных большевиков из 141-го и 155-го полков.

Как и полагается в завоеванном буржуазией городе, свобода — слова, печати, собраний для большевиков была фактически приостановлена.

И, наконец, только-что состоявшиеся выборы гласных в Городскую Думу из каких-то пустых формальностей, но по протесту правых партий, отменены.

Новые выборы назначены на 27-ое августа.

В связи с этим у черносотенного полковника и его шутовского комиссара получается новая задача.

Не только вообще «восстановить революционный порядок», но, в частности, подготовить избрание новой, уже подлинно «революционной» Городской Думы.

Для этого, между прочим, намечено было выбросить и выкорчевать из Царицына его другой революционный полк — 155-й. И к этому делу карательная экспедиция тоже приступила...

Однако, сколько же времени я должен сидеть и на каком основании?..

Освобожден Ерман — так не могу ли освободиться и я?

Никто из окружающих ничего не знает, или не желает говорить.

И вот, 28-го июля я сажусь и пишу:

«Тем представителям власти, которые лишили меня свободы и держат меня под арестом.

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я был командирован Исполнительным Бюро Царицынского Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов в Петроград, в Центральный Исполнительный Комитет Всероссийского С'езда Советов. Ввиду чудовищного извращения и клеветнического освещения в некоторых органах печати различных фактов из жизни нашего города, необходимо было дать действительную картину происходящего.

Но вот по дороге в Петроград в гор. Камышине совершается грубое насилие над свободой моей и моего спутника, члена бюро Исполнительного Комитета Саратовского Совета Р. и С. Деп. В. П. Антонова. Нас арестовали без ордера, нас задержали без составления протокола и незаконно продержали больше суток.

В с. Золотом нас опять арестовали обоих, хотя для ареста т. Антонова не было даже подобия законных оснований.

После полусуток ареста он был освобожден.

Я же доставлен в Царицын. И вот доходят уже третьи сутки, а я все еще не знаю, что были за основания для моего ареста. Между тем, по смыслу закона в течение суток необходимо указать основания для лишения свободы.

Таких оснований мне представлено не было, да их и не может быть, если не подыскивать обвинения так, как их подыскивало покойное самодержавие.

Правительство Революции должно бы с особенной осторожностью относиться к лишению свободы тех, кто до переворота стоял в рядах боровшихся со старым режимом. В данном случае этой осторожности не проявлено.

Правительство Революции и его представители должны относиться со вниманием к достоинству тех органов демократии,

которые, как Советы, совершили колоссальную работу по устройству новой жизни и по укреплению завоеванной свободы.

Но в данном случае внимания этого не проявлено: лишается свободы член Президиума, т. председателя Совета. Лишается свободы не только без согласия Совета, но и вопреки желанию его исполнительного Бюро и Президиума.

В высшей степени странным и несовместимым с понятием о политической свободе представляется также и то, что лишен свободы в данном случае специальный делегат, отправленный Советом в центр. Тут сквозит как будто опасение действительного освещения в центрах, происходящего в городе и Совете.

Наконец, аресты производятся накануне перевыборов в Городскую Думу и перед выборами в Учредительное Собрание, в чем нельзя не усматривать специального похода против определенного политического течения, чтобы стеснить его участие в избирательной кампании, и тем содействовать неправильному выражению воли избирателей как в Городской Думе, так и в Учредительном Собрании.

В виду всего сказанного, заявляю решительный протест против лишения меня свободы и настаиваю на моем немедленном освобождении.

Тов. Председ. Цариц. Совета Р. С. и Кр. Деп.

Сергей Минин».

28 июня 1917 г.

Я подал это заявление «по команде».

Знал я, конечно, что никакими словами нельзя поразить животное, особенно из царско-кожих. И потому черновик заявления передал в Комитет большевиков и для использования его в Президиуме Совета.

С момента оккупации города царицынская буржуазия воспрянула духом. Торжествовали попы. Ликовала вся без из'ятия черносотенная людоедская братия.

Как же! Снова крепнут устои священной и неприкосновенной частной собственности. «Личность» буржуа становится «свободной», жилище его тоже «неприкосновенным».

Попы одурели от радости и звонят в колокола без помехи, до исступления.

«Всякая тварь» воссылает молитвы благодарности «всевышнему»...

Что из того, что большевики, рабочие, солдаты, большинство населения стали слишком «прикосновенными». Туда им и дорога!

Выходить на улицу еще рано — как бы чего не вышло.

Нет, посидим пока дома, да потолкуем-ка на радостях о проклятых «агентах Вильгельма» — большевиках — и об успехах подлинно-революционного оружия. Молодцы юнкера да казаки... Ххо-ррошо!.. Вот она истинная свобода...

Совсем не так весело настроены были другие победители: царицынские меньшевики и эс-эры.

Когда-то они своим зазорным поведением поставили в дурацкое положение своих саратовских коллег: накричали, нашумели, а на поверку вышел один скандал.

Теперь получалось как будто наоборот: саратовцы передружили — нагнали юнкеров, да казаков.

То ли дело раньше-то было: громи большевиков, и все тут. А теперь...

И большевики остались. И казаки приехали.

И большевики осточертели. Ну, да и казачки-то кое о чем да кое-кого напомнили. Фу, ты пропасть. Голова кругом пошла!

Но господа-демократы, граждане-социалисты на то и политики, чтобы находить пути и указывать их другим. Не надолго они растерялись и, наконец-таки, твердо вступили на свой путь, путь золотой середины.

Маятник заработал, закачался.

И качался он целыми часами за время заседаний Бюро Совета по вопросу об арестах, закрытии газеты и прочих подобных вещах. Качался маятник в их «революционных» газетах, качался он в их головах и в самом нутре их мещанских мозгов:

— Арестовали большевиков? Это насилие! Нельзя так...

А через минуту:

— Но ведь они разводили анархию. Так тоже нельзя.

Еще через пять минут:

— Арестовать без суда!? Даже без формальностей!? — это вразрез со всеми принципами демократии. Освободить!

А через минуту опять:

— Но подбивать к убийствам и грабежам разве допустимо? Освободить можно, но это не такой простой вопрос.

То же и с газетой:

— Закрыть орган демократии — «Борьбу»! Нельзя так.

— Но как не закрыть, когда этот мальчишка хотел призвать к восстанию?

— Правда, он только *хотел*. Призвать-то не удалось. А газету уже закрыли.

— Но, правда, и то, что он-таки хотел призвать к восстанию. А потому не закрыть газету... Да, это вопрос не такой легкий, как кажется.

Маятник качался до полного очумения всех окружающих и самих «политиков». А вопросы не двигались ни на шаг.

Но, пока качался маятник, пока меньшевики и эс-эры стукались головами и направо и налево, вытряхивая последние мозги, господа Корвин и Корни продолжали свое дело.

Я и наш Комитет, во главе с Ерманом, непрерывно настаивали: немедленно освободить меня или представить достаточные основания для ареста.

Полковник отвечал:

— Освободить! .. Невозможно.

— Где же основания для ареста? Какие обвинения?

— Обвинений так много, так много, что мы затрудняемся даже их сформулировать...

И вот, наконец-то, 1-го августа я получил по моему адресу такое литературное произведение:

Копия.

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Принимая во внимание, что по имеющимся у меня сведениям, т. председателя Царицынск. Совета Солд. и Раб. Деп. Минин является влиятельнейшим из главарей местной большевистской партии, возбуждавшей солдат не повиноваться распоряжениям военного министра и способствовавшей полной деморализации гарнизона, что независимо от сего тот же Минин является причастным к делу об убийстве Бояринцева, имевшим место в гор. Царицыне на устроенном им митинге, на основании полномочий, предоставленных мне военным министром, сообщенных в телеграмме командующему Казанским Военным Округом за № . . .

«Подвергнуть Минина аресту при гауптвахте 2-го подготовительного батальона, о чем поставить в известность прокурора Саратовского Окружного Суда.

«Подлинное подписал начальник особого отряда полковник Корвин-Круковский.

«Верно: ад'ютант отряда поручик Ефимов».

Получив это «постановление», я тотчас расписался:

«Данное постановление мне пред'явлено через неделю после состоявшегося ареста. Приведенные в постановлении основания для ареста нахожу юридически и фактически необоснованными.

К этому присоединяю особое заявление.

Тов. председ. Цар. С. Р. С. и Кр. Деп. *Минин.*

1 авг. 1917 г.».

А на следующий день, 2-го августа, я написал и подал через начальника караула свой протест:

«Начальнику особого отряда гражданину полковнику Корвин-Круковскому.

«ЗАЯВЛЕНИЕ.

«По поводу пред'явленного мне вечером 1-го августа постановления об аресте считаю необходимым заявить:

Во-1-х: Постановление об аресте пред'явлено по прошествии недели.

Во-2-х: 1) Насколько мне известно, «местная большевистская партия» в целом не возбуждала солдат «не подчиняться распоряжениям военного министра».

2) В частности, я никогда не возбуждал «не подчиняться распоряжениям военного министра». Сведения у составителя постановления, очевидно, смешали «возбуждение не подчиняться» с общей критикой политики военного министра, критикой, вполне естественной со стороны инакомыслящих и совершенно законной при провозглашенных еще первым Временным Правительством в Декларации свободах слова и печати.

В-3-х: 1) Насколько мне известно, «местная большевистская партия» не способствовала не только «полной», но и вообще какой-нибудь «деморализации гарнизона».

2) В частности, я не только не способствовал «деморализации гарнизона», но, поскольку она была, противодействовал ей различными способами, начиная с настойчивых приглашений воздерживаться от опьяняющих напитков, от игры в карты и т. д., а также с неоднократных призывов воздерживаться от покушений против лиц, организаций или имущества граждан — и кончая улаживанием недоразумений при отправке частей на фронт.

В-4-х: Относительно моей причастности к делу «об убийстве Бояринцева» гражданин начальник особого отряда введен в серьезное заблуждение, что усматривается из утверждения, будто это убийство имело место «на устроенном им (т.-е. мною) митинге». Между тем достоверно установлено, что убийство совершено на другой площади, я же о самом факте избиения и убийства узнал только по окончании митинга.

В-5-х: При чтении постановления представляется совершенно непонятным, почему не проверенные факты и покоящиеся на них общие утверждения считаются достаточными для такой серьезной меры, как лишение свободы, притом в такое время, когда конституционные гарантии, провозглашенные в Декларации, ни одним из Временных Правительств еще не были отменены.

В-6-х: Из постановления нельзя с точностью понять, является ли лишение меня свободы арестом административным, или судебным. Скорее надо полагать, что это административный арест, так как прокурор только поставлен в известность, о мнении же прокурура ничего не сообщается.

В-7-х: Я не сомневаюсь в полномочиях гражданина начальника особого отряда, хотя и не осведомлен об их об‘еме и границах, но в то же время осмеливаюсь выразить пожелание знать № телеграммы военного министра, так как эта телеграмма является, повидимому, юридическим основанием. В постановлении же цифра № упущена.

В-8-х: Выражение «главаря» лишает текст постановления и внешней корректности, и как будто намеренно вызывает отрицательное отношение к документу.

Таким образом, пред‘явленное мне постановление ни по содержанию, ни по форме не обосновывает лишения меня свободы, а потому, как прежде, я настаиваю на моем немедленном освобождении.

Тов. предс. Ц. С. Р. С. и Кр. Деп. *Минин.*

2-го авг. 1917 г.

Царицын. Гауптвахта 2 подгот. батальона».

Копия.

«Расписка.

От арестованного товарища председателя Царицынск. Совета Р. С. и Кр. Деп. Минина мною получено заявление от 2-го августа для передачи начальнику Особого Отряда Полковнику Корвин-Круковскому.

Начальник Караула

Прапорщик Осташкеев.

Гауптвахта 2-го подготовит. батальона.

Царицын, 2-ое авг. 1917 г.».

Итак, обвинений оказалось, действительно, «так много, так много», что бурбону-полковнику и пижону-уполномоченному г. министра, на самом деле, не удалось их грамотно и в приличной форме зафиксировать.

Обвинений и причин для ареста было «так много», что это литературное произведение двух авторов не все их перечислило.

По-крайней мере, по городу было широко известно, что меня обвиняют еще в таких преступлениях:

— Минин, будучи штатским человеком, ночевал в казармах.

Трудно понять, почему оккупанты привязались к этому обвинению. Очевидно, это была попытка буржуазных мозгов об‘яснить необычайное доверие солдат к большевикам. Об‘яснение немудрое, и оно только немногим уступает об‘яснениям, которые придумывала царицынская буржуазия. Среди последней по этому вопросу было два течения.

Одно говорило:

— Большевики потому пользуются вниманием среди солдат, что они выдают большие средства гарнизону, подкупают солдат.

А другое течение понимало наоборот:

— Солдаты потому идут за большевиками, что они сами их работу хорошо оплачивают, и потому большевики говорят и делают то, что солдатам нравится.

«Нанять... Купить... Оплатить...».

Убогие, подлые шкурники... Куда ни лезли они со своей «социологией», везде они только и обнаруживали «целковый». Дальше «целкового» их голова была неспособна работать.

Оккупанты придумали другое: «Ночевал в казармах».

Удивительно легко приобрести сочувствие крестьянина, одетого солдатом: идет первый попавшийся господин в казарму, располагается на нарах и спит на-пропалую до утра. А на рассвете гремят барабаны, строятся полки и господина будят:

— Любезный, вставай. Ты так отлично храпел, что мы решили — вперед! За тобой!.. Веди, куда хочешь.

Но почему-то ни один буржуа и никто из оккупантов не нашел удобным для себя применять такую тактику и переночевать хотя бы один раз в казармах.

Наоборот, они держались подальше.

А уж чего бы, кажется, легче и... дешевле.

Разумеется, никто из нас, штатских большевиков, в казармах не ночевал и никакой надобности в этом не было.

Наконец, пущено было по городу захватчиками и такое модное обвинение:

— Минин подкуплен германцами и получает средства от Генерального Штаба Вильгельма Второго.

Ах, как верил в эту версию бравый полковник. И как надеялся он прославить свое двойное имя разоблачением германского шпиона.

Корвин-Круковский перерыл текущие дела всех банков.

Он очевидно думал, что, когда военный министр Сухомлинов и прочие славные царские вояки получали немецкие деньги за свою работу на пользу русского отечества, так Германский Генеральный Штаб переводил иудины суммы открыто-прямо на имя шпионов через текущие счета в русских банках.

Но вдруг... Вот радость. Напал-таки...

— В одном банке на моем текущем счету оказалась колоссальная сумма — 100 рублей...

Но, увы, и эта бешеная сумма была давно переведена (и к тому же еще не получена) не от правительства Вильгельма, а от редакции «Новой Жизни», про которую полковник сам сказал нам, что она «поддерживает правительство».

Но верный служака «престол-отечества» не отчаивался: он ринулся на правительственный и железнодорожный телеграф.

И только когда и там обнаружилось, что германцы ни пфеннига не потратили на царицынских большевиков, Корвин-Круковский, скрепя сердце и с отчаянием в душе, записал в протоколе и приложил к делу скорбное признание:

— При проверке банков никаких сумм на текущем счету Минина не обнаружено, кроме ста рублей, присланных из редакции газеты «Новая Жизнь»...

Итак, обвинения в том, что я ночевал в казармах и что я подкуплен германцами, официально не были использованы.

Однако, и без того было ясно, что конца моему заключению пока не предвидится и что обвинители вообще не особенно считаются с декретами правительства и со всякими прочими формальностями.

Не до пустяков было, когда классовая борьба по всей стране переступала на новую, высшую ступень и когда помещики, буржуазия и мещанство с каждым часом об'единялись в одну «сплошную реакционную массу». Руками и зубами вцепились они в «неприкосновенную, священную собственность», а клыки и копыта единодушно обращали против партии большевиков.

Царицын был при этом для всех собственников и их вождей одним из самых острых шипов на их победном пути.

Этот шип и надо было срезать, не считаясь ни с какими юридическими пустяками, ни с какими конституционными выдумками.

В самой столице революционное правительство руками юнкеров разгромило «Правду», центральный орган партии большевиков, да как разгромило: всю типографию перевернуло вверх дном. А тут обижаются за какую-то «Борьбу».

Сам Ленин принужден скрываться, с ним Зиновьев перешел на нелегальное положение... Да что! Весь шестой партийный С'езд большевиков заседал наполовину подпольно. А тут еще разговаривают о каких-то декларациях правительства, законах о свободе. Пустяки...

Ведь, Царицын-то бил порядочных людей, жег и грабил приличную публику. Так... Ну, так вот и пусть разделываются за все.

Начальник «особого отряда» знал отлично, что он делал.

Его комиссар без устали штемпелевал.

А наши меньшевики и эс-эры?...

Они, отчасти, радовались победе над большевиками.

И они, отчасти, грустили по поводу некоторых излишеств своей собственной победы.

Маятник качался.

Мудрые люди тяпались головами о стены то направо, то налево.

Оттого бывало:

То меньшевистская «Рабочая Мысль» ударится в радикализм и нападет на карателей, защищая большевиков, то эс-эровский «Республиканец» (недаром его называли «Хулиганец») опустится на самое черное дно реакции:

Потом — наоборот...

Потом опять наоборот...

С болью в сердце, рота за ротой покидали солдаты нашего гарнизона Царицын.

За 141-м полком наступила очередь 155-го.

Боеспособных гнали на фронт.

Напрасно протестовали солдаты:

— Мы уже были по нескольку раз на фронтах. Мы изранены. Мы устали от вашей войны. Гоните буржуазию. Зачем прячете ее в тылу? Пересмотрите «белобилетников».

Не помогало. Их гнали.

А большевики? А Ерман? И я из своей камеры?

Мы... помогали «гнать» наших друзей от себя из нашего города.

Такова ирония судьбы. Такова диалектика событий.

Ибо так стоял вопрос:

— Подчиниться или восстать.

— Подчиниться... пока, — отвечали мы.

Я советовал. Ерман уговаривал. Большевики «улаживали недоразумения».

И солдаты уезжали на ненавистный фронт.

Но, уезжая, они еще больше негодовали на эксплуататоров и еще ближе и еще теснее привязывались к большевикам и к «родному» городу.

После отправки боеспособных на фронт, 155-ый полк должен быть переброшен весь из Царицына. Куда? На глухую станцию Евлашево, Кузнецкого уезда, Саратовской губ.

Каждый солдат понимал корни такой несложной политики оккупантов.

Негодованию революционного полка не было границ.

Товарищ Р., державшая связь между мной и Комитетом, говорит на свидании:

— Полк опять предлагает выступить против казаков и юнкеров. Наши товарищи в полку уверяют — они сделают это без труда: выкинут из города «особый отряд» и освободят арестованных. Комитет еще раз просил сообщить ваше мнение.

Восстание и раньше было нецелесообразно. Теперь же, когда одного полка в городе уже нет, вооруженное выступление, кроме всего прочего, может окончиться неудачей.

Да, положение было ясно для каждого члена Комитета.

И Ерман опять принимается за свою неблагодарную работу.

Тем не менее 155-й полк, уже совсем готовый к посадке в эшелоны и к от'езду, заявил Корвин-Круковскому категорически:

— Не поедем, пока не привезете Минина к эшелонам проститься.

После долгих дебатов, уговоров, дискуссий и криков полковник «уступил». Он дал заверение всему полку исполнить его требование.

На следующий день я узнал об этой истории и с большой тревогой дожидался вечера, момента отправки полка.

Не надо было долго ломать голову, чтобы предугадать то, что произойдет.

Разумеется, каждая сторона хитрила и вела свою политику: «проститься», для полка значило — захватить и увезти с собой, а «пообещать — привести», для полковника обозначало — никаких арестантов к полку не выводить, а полк на станции окружить, насильно посадить в эшелон и таки отправить вон из города.

Но как это произойдет?

Как бы наша тактика не дала трещины в этот важный момент...

Как бы не закончилось дело кровавой и, по меньшей мере, бесполезной схваткой.

Вечер... В окно камеры я вижу, как пылает электричество над далеким вокзалом и над всем городом.

Кругом тишина. Только часовые гауптвахты на этот раз не сидят, не беседуют, а ходят. Их шаги четко отдаются в караульном помещении и по небольшому коридору между нашими камерами. За окном тоже слышны чьи-то равномерные шаги.

Роковой час наступил.

Я то хожу по камере, то останавливаюсь под окном и слушаю, слушаю, пытаясь растолковать себе долетающие звуки. Но в камеру доносится только вечерний шум затихающего города.

В камере светло от керосиновой лампы. За решеткой окна — тихо и темно...

Но вдруг... голоса, много голосов... Затихло... Снова глухой гул и рокот... Еще... громче... громче... Выстрелы..

В тот же момент ожила наша гауптвахта.

Забегали часовые.

Защелкали ружейные замки.

Со двора покатили куда-то орудия...

Снова рокот. Опять выстрелы...

На гауптвахте тишина...

Я отдавал себе ясный отчет, чем может кончиться эта тишина лично для меня, но я стоял, как прикованный, под моим окном, жадно ловя те волны голосов, которые посылала масса над затихающим городом.

...Резкие, частые сигналы паровоза...

Рокот голосов оборвался...

Замирает отдаленный, мягкий гул.

Тишина...

Часовые зашагали по коридору.

Еще сигналы паровоза, долгие, нетороплитвые.

Но что это? Песня? Что за звуки, что за волны понеслись откуда-то, куда-то...

Песня... Да, та самая песня, которую наш полк исполнял так негодующе, так нежно, так проникновенно...

«Интернационал!..»

Но на этот раз, в этот последний раз наш революционный 151-й полк исполнял международный гимн под аккомпанемент вагонных колес...

Рабочие осиротели. За короткое время они потеряли двух любимых сыновей и воспитанников — 141 и 155 полки.

Окруженные рабочими кварталами, захваченные ураганом рабочего движения, полки росли, как одаренные дети, по часам.

Правда, еще до февраля по казармам полков делались обыски, производились аресты. После некоторых писем, перехваченных цензурой, в 141-м полку была обнаружена революционная группа.

Но полки во время самого февральского переворота еще не обнаружили ни полной сознательности, ни организованности, ни активности.

А тотчас после переворота, в течение целого месяца полки слепо шли за буржуазией. И только бурное пробуждение рабочих и скачкообразный рост их организации захватил солдатскую массу целиком, увлек ее за собой и поднял на такую высоту политической сознательности, что полки не уступали рабочим коллективам самых передовых фабрик и заводов.

После знаменитого воскресенья 28-го мая, после торжественного «Дня печати» пролетариат и гарнизон об'единились в одну революционную массу, в одну кровно-спаянную семью.

Не было в Царицыне самостоятельной «республики», про которую вопила буржуазная печать.

Но была коммуна, юридически не оформленная, без внешних атрибутов политической власти, безо всяких сепаративных тенденций против единого государства, но все же коммуна.

Тесная, крепко-связанная семья революционных рабочих и вооруженных солдат-землепашцев.

И вот коммуна ранена. Коммуна пленена.

Семья разорвана на части.

Больше 90% вооруженной силы потеряно...

Ибо что такое 93-й запасный пехотный полк! Он революционен, он идет за партией большевиков. Но... расквартированный по частям, окруженный буржуазными кварталами центральной части города, 93-й полк инертен, расколот, и политический удельный вес его не велик. Он против рабочих и против рабочей партии не пойдет—он тоже большевистский; но он и не даст о себе знать, как те кипучие, неугомонные всегда боевые любимые 141 и 155 полки. Не даром же сами каратели почти не обращают на него внимания. Никто не поднимает вопроса о переброске 93-го полка из Царицына.

Опустели казармы между заводами Нобеля и Французским. Опустели казармы и на Дар-Горе, по соседству с кварталами лесопильных рабочих и грузчиков.

А реакция свирепствует. И насилия продолжаются...

Странное дело, однако.

Диалектика общественных явлений изумительная.

Каратели наступают на печать, арестовывают работников, высылают целые полки. Каратели намеренно подавляют нашу партию. Они бешено сокращают наши силы.

Но... силы наши увеличиваются, и партийная организация наша с каждым днем крепнет качеством и растет количеством.

Закрыта «Борьба». Но ее заменила другая газета — «Листок Борьбы», еще более пламенный и негодующий.

Последние странички новой газеты покрываются десятками резолюций протеста строевых и не-строевых рот, больших и малых фабрик и заводов.

И целый поток трудовых грошей покатил в истощенную кассу рабочего органа.

Собираться не безопасно, но собрания продолжаются.

А заседания Бюро Совета, с участием Корвина и Корни, превратились в постоянную арену жестокой борьбы, язвительных насмешек, ярых разоблачений со стороны большевиков.

Даже меньшевистско-эс-эровские мудрецы, все крепче тяпаясь головами о правую стену, все чаще, все любезнее начали подмаргивать налево.

Поздно.

Рабочая масса уже оценила не только карателей, но также их пособников: и головы «мудрецов» уже осиял густой ореол гадливости и презрения.

Цирк. Общее собрание нашей организации.

На трибуне видный меньшевик Казаков.

— Товарищи! Я пришел, чтобы заявить: я сбрасываю грязное меньшевистское белье и надеваю чистые, светлые одежды партии большевиков.

Ему отвечает буря рукоплесканий.

«Мудрецы» негодуют. Мудрецы рвут на себе волосы.

Поздно: грязь облипает их по самые уши.

Новые пласты рабочих примыкают к большевикам.

И даже мелкая буржуазия начинает понимать комментарии к меньшевистско-эс-эровской программе, написанные казацкой плетью.

Подались даже юнкера и оренбуржцы.

Нет у них уже той спеси и заносчивости, которой они так щеголяли в начале оккупации.

«Разложить изнутри» пока не удалось.

Но не удалось и победителям прочно удержаться на ногах.

Звериные взгляды, свирепые манеры стали исчезать.

Юнкера и казаки все больше стали походить на обыкновенных человеков.

А может быть, это было от сознания своей победы...

Режим на нашей гауптвахте смягчился.



Дедушка Дубинин, один из самых активных партийцев - организаторов лесопильных рабочих в 1917 году.

Я целыми часами сидел и ходил на прогулке, нередко беседуя с товарищами, которых не пускали ко мне на свидание официально.

На свидания же пускали родных и знакомых, солдат и рабочих.

Наконец, разрешили свидания не в караульном помещении, а в моей камере.

Начальник караула приводил посетителя и тотчас удалялся, прикрывая за собой дверь.

И мы беседовали час и больше, обменивались письмами, успевали переговаривать обо всем, пока снова не отворялась дверь и не появлялся любезный, очаровательный начальник караула:

— Ну, кажется, пора. Переговорили...

И уводил моего гостя или гостью.

Начали поговаривать о том, что юнкера и казаки собираются покинуть замиренный Царицын и вернуться к себе, в свой тихий, спокойный, благонадежный Саратов.

Буржуазию охватила паника.

В ужасе, что ее победа над большевиками может окончиться для нее плачевно, буржуазия умоляла полковника погостить еще с «особым отрядом» в Царицыне.

А полковник был очень предупредителен и чуток по адресу таких высоких чувств гостеприимных и почтительных хозяев: он не торопился уезжать в Саратов, ему было очень недурно пока что и в Царицыне. Тем более, что «революционный порядок» был восстановлен по всей линии. Оставалось только почивать на лаврах и пользоваться плодами своей победы.

Вениамин Сергеев, наш «редактор», тотчас после ареста потребовал дать ему письменное об'яснение причин.

Не получив ничего в ответ, он об'явил голодовку.

Его перевели в лазарет. Он голодал и там.

Наконец, ему вручили постановление об аресте.

А через несколько дней под нажимом Совета он был освобожден из заключения «впредь до»...

Десять большевиков, солдат и офицеров, арестованных вслед за нами, продолжали сидеть за решеткой в разных местах.

Я требовал моего освобождения.

Комитет настаивал на нем.

Бюро Совета полегоньку теребило по этому же вопросу «гражданина полковника» и его комиссара.

Утром 12-го августа меня вызывают из камеры.

В караульной комнате — столик, как раз на том же самом месте, где месяца полтора тому назад я допрашивал жандармского подполковника Тарасова.

За столом сидит и поднимается мне навстречу превосходно знакомая мне туша судебного следователя.

Необ'ятный сюртук еле держится на швах, пытаясь охватить и прикрыть восьмипудовую массу.

— Здравствуйте, Сергей Константинович, — говорит туша.

— Здравствуйте, гражданин Королько...

Я знал его еще по посаду Дубовка, где он служил следователем до перевода его в Царицын. Мы были знакомы «семейно».

Тогда по нашему посаду ходили слухи, что по какому-то странному стечению обстоятельств, у одного садовода, который был громко известен, как рецидивист-грабитель и вор, в саду на травке-муравке паслась коровушка гражданина следователя по уголовным делам.

Королько я знавал еще по прежним временам.

В 1906-м году это он являлся ко мне в тюрьму «доследовать» одно политическое дело, которое только что торжественно провалилось в окружном суде.

И вот опять судьба свела старых знакомых.

— В чем же дело?

Королько медленно положил на стол тоже громадный и тучный портфель и начал выкладывать бумаги.

Удивило меня то, что делал он это с каким-то чувством не то смущения, не то недоброжелательства к тем самым бумагам, которые он так осторожно раскладывал на столе.

— Послали пред'явить обвинение.

— Почему п о с л а л и? Вы, кажется, сами приехали...

— Да разве дело веду я или какой бы то ни было следователь!..

— А кто же?..

— Турган...

Мина презрения пыталась отразиться на заплывшем жиром лице судебного следователя.

Действительно. Помнится, даже царизм не опускался до подобных вещей: Тургану, знаменитому в Царицыне начальнику у г о л о в н о г о р о з ы с к а, поручили вести чисто п о л и т и ч е с к о е д е л о...

Насколько прочно и незыблемо был у нас восстановлен бурбоном-полковником и эс-эром «Кордебалетом» «революционный порядок»!

Следователь подвинул ко мне по столу один из листов. И я углубился в чтение.

Обвинение было списано со всех 6-ти пунктов 129 статьи царского «Уголовного Уложения» и было наряжено в мундир великой российской буржуазно-мещанской «революции».

Меня обвиняли в в о з б у ж д е н и и с л у ш а т е л е й н а м и т и н г а х — «к бунтовщическим деяниям»... «к неповиновению законным распоряжениям власти»... «к учинению тяжких, кроме указанных выше, преступлений, как-то: к убийству капиталистов и помещиков и к хищению их капиталов и имуществ»... «к нарушению воинскими чинами обязанностей военной службы (отказу итти на войну) и в возбуждении вражды между отдельными классами, т.-е. преступлениям, предусмотренным 1—6 пунтами ст. 129 Угол. Уложения».

В конце документа сказано было, что меня должны перевести в Саратовскую губернскую тюрьму.

Изучив пункты обвинения, я расписался, что нахожу обвинение нелепым, и спросил Королько:

— Но на каком же основании я должен быть переведен в Саратовскую тюрьму?..— возмутился я.

— А, видно, на том основании, что вы здесь... непрочно сидите.

— А когда перевезут?

— Вероятно, через несколько дней.

Вот так революционный порядок!..

Вот так Кордебалет с социалистическим билетом на дне чемодана.

Мы простились, и толстяк поплыл со двора, притиснув, как лепешку, рессоры экипажа.

А я пошел к себе в камеру обдумывать новый поворот моей судьбы и писать сообщения в наш Комитет. В Саратовской тюрьме действительно «завинят» по всем правилам.

«Через несколько дней»...

Надо подумать. Не удастся ли что предпринять? Хотя...

Проклятые Кордебалеты...

Буридановы ослы.

К вечеру на свиданье пришла Р. Начальник караула пригласил ее в мою камеру, по обыкновению притворил дверь и ушел.

Р. передала все новости. Сказала, что настроение в организации прекрасное. На собрании бывает очень много народу, партийных и беспартийных. Собрания проходят с большим под‘емом.

А я передал ей приготовленное письмо и рассказал о событиях тюремного дня. Сообщение о том, что меня перевезут в Саратов, очень поразило Р., так как никто этого не предполагал, и все надеялись на освобождение или, по крайней мере, что меня будут содержать под арестом в Царицыне.

Р. должна немедленно передать сообщение Комитету. Но, конечно, при данных условиях ничего особого не придумаешь, и предпринимать ничего не следует. Необходимо только сделать так, чтобы я мог повидаться перед от‘ездом с некоторыми товарищами.

Мы сидели так часа два. В камере стало совсем темно, а в коридоре уже давно горели лампы. Через квадратный «волчок» тяжелой двери падали в камеру скудные лучи.

Никто не приходил. Не приносили лампы. Нас как будто совсем забыли.

Мы переговорили обо всем, даже о тех чудных, ароматных розах, которые принесла мне Р.

Наконец, мы сами решили, что свиданье кончилось, условились, что на завтра Р. опять придет и принесет мне вещи, необходимые для переселения в Саратов, и вышли из камеры.

Мы с Р. пожали друг другу руки. Начальник караула тоже в высшей степени любезно простился с Р., и она ушла.

Я вернулся в свою камеру, в которой уже стояла лампа, и начал отмеривать от окна к двери и обратно по шести шагов.

Хотелось гулять, наглотаться свежего воздуха, наглядеться на небо, не изрезанное железным переплетом оконной решетки.

Вдруг по коридору покатился голос самого «экспедитора» и «экзекутора» полковника Корвин-Круковского.

Я видел его однажды издали, знал его голос, но ни разу не говорил и не имел желания говорить с ним.

«Разве заявить, что я желаю говорить с ним и прошу меня вызвать или зайти ко мне... да, стоит ли? Нет. Не надо... Никакого толку, да и противно. Чорт с ним».

И зашагал опять по камере.

Так прошло довольно много времени.

Было уже за полночь.

В коридоре внезапно раздался грохот шагов.

Распахнулась дверь моей камеры. Вошел офицер:

— Собирайтесь.

— Куда?..

— В Саратов.

— Почему так неожиданно? Я не имею самых необходимых вещей.

— Так приказано. Собирайтесь — да поскорее.

Вещей было немного, надо их упаковать, а ни порт-пледа, ни чемодана нет.

Начал нагромождать белье, книги, бумагу, карандаши на постель, чтобы поместить их в один узел.

— Поскорее. Торопитесь.

Я обернулся к офицеру:

— Что за безобразие. Не даете сложить даже вещи. Как при самодержавии..

— Автомобиль готов, пора ехать.

«Хорошо, что не в пешем строю», подумал я. Скомкал вещи в один пакет, захватил корзиночку с провизией, не забыл и банку с розами и пошел.

Машина ярко светила огнями.

Шофер, офицер и три казака с винтовками.

Сели вокруг меня так, что, если бы я и надумал выпрыгнуть, это мне никак не удалось бы.

— До свидания, — сказал начальник караула.

— До свидания, — ответил я на эту неожиданную деликатность.

Автомобиль помчался со двора, потом налево, по глинистому взвозу, через овраги, куда-то опять налево и вдруг выскочил, горя огнями, на просторную площадь, на которой так торжественно мы проводили 1-ое мая, а потом и наш славный «День печати».

Старательно огибая центральную часть города, машина подкатила к пристани.

Казак подхватил мой узел, и мы двинулись на пароход, поднялись на верхнюю палубу.

Как ни смотрел я по сторонам, ни одного знакомого лица.

Проходим помещение 2-го класса.

Открывается каюта № 1.

— Пожалуйте...

Входим. Каюта двухместная.

Казаки немедленно вышли, чтобы встать на часах против каюты в коридоре и на палубе, против окна.

Офицер-эсаул задержался:

— Вы разрешите переночевать в вашей каюте?

«Вот чертовская любезность», — подумал я.

— О, конечно, конечно, располагайтесь.

— А свет, может быть, тушить не будем? Как вам удобнее?

— Тушить не будем, так лучше, — ответил я.

Спать, так спать.

Не знаю, как почивал эсаул. Наверно ему снились побеги, и он не раз вскакивал во сне.

Я же выспался хорошо и на другой день чувствовал себя превосходно.

Да и как иначе можно себя чувствовать, едучи на «Багратионе», одном из новейших теплоходов, который так плавно разрезает широкие воды красавицы Волги...

После чаю у нас с эсаулом завязалась беседа. Разумеется, говорили по «текущему моменту» о большевиках и революции, о земле, правительстве, о Царицыне.

Беседа длилась долго. Торопиться нам было некуда.

Наблюдая собеседника уже после разговора, я с удовлетворением заметил, что он, как будто, ошарашен или, по крайней мере, озадачен и как-то по-новому стал искоса посматривать на меня, а в его официальной деликатности зазвучали даже теплые ноты.

Эсаул, очевидно, не был из богатых казаков, но смотрел на весь мир через очки своих господ.

Он не знал о примитивных вещах из области политики.

На революцию, на большевиков он смотрел совершенно

иначе, чем следовало ему смотреть по его социальному положению.

Я попросил разрешения гулять по палубе.

— Это невозможно...

— Почему?..

— Запрещено. Там пассажиры.

— Пассажиры не помешают. А в каюте жарко. Неужели так и буду я сидеть целый день...

— Хорошо. Я пойду спрошу.

Спросить! Значит, на пароходе едет еще какое-то начальство.

Эсаул ушел.

Я — к окну и предложил часовому-казаку папиросу.

Он взял. Я заговорил. Казак, с оговорками и оглядываясь по сторонам, в общем выразил большевикам сочувствие за их борьбу.

«Дело не так плохо», торжествующе подумал я про себя.

Эсаул вернулся и повел меня гулять на палубу, отгородив от пассажиров порядочное пространство.

Я наслаждался созерцанием Волги и ее берегов. Торопился насладиться. Ведь, когда-то, скоро ли еще придется поехать по Волге...

Солнце грело, как летом. Ветер то покрывал воду частой рябью, то поднимал крутые бронзовые волны, то совершенно затихал, и река тогда становилась ровной, мягкой и блестящей...

При каждом удобном случае я пытался «разлагать» моих часовых и заговаривал с ними. Некоторые сначала чурались, но ни один не отказывался в конце концов поговорить.

И эти забитые, обманутые обитатели юго-востока с изумлением, как дети, открывали глаза, когда страшный главарь Царицынских большевиков сообщал им такие простые, такие неожиданные и близкие им новости...

Я весь день провел на палубе. И вот уж скоро Камышин. Опять Камышин.

«Теперь уже не арестуют, не поведут в этот мерзкий полковой каземат над помойной ямой», — подумал я.

Ко мне подошел эсаул:

— Ну, теперь идемте в каюту.

— Почему? Здесь так хорошо.

— С нами едет товарищ военного министра... Маниковский.

— Товарищ министра... Зачем он тут?..

— Он едет по своим делам.

— Ну, и пусть едет.

— Он опасается, как бы вас не освободили в Камышине. Идемте в каюту...

Я расхохотался.

— В Камышине! . . Освободить! Успокойте товарища военного министра и скажите ему, что никто меня тут не освободит, что у меня достаточно крепкая охрана и что я сам не хочу освобождаться в Камышине.

На следующий день, 14-го августа, в восьмом часу утра «Багратион» подошел к Саратову...

Писать регулярно дневник никогда мне не удавалось. И чувствуешь громадную пользу таких записей и настроение на-лицо, но как-то все мешают разнообразные текущие дела.

Но теперь, в эти дни неожиданного и странного тюремного заключения, после бурной, напряженной работы, времени бывало так много в моем распоряжении, что я не скупился потратить его и на дневник.

И пусть эти записи помогут воспроизвести картину так быстро и, кажется, так давно промелькнувших событий.

«14 августа. Саратов. Корпус одиночек.
1-й этаж. Камера № 8.

10 лет назад и — теперь. Та же тюрьма...

С парохода повезли не сразу. Доставали автомобиль. Публика почти вся сошла, оставались немногие.

Я вышел из каюты с корзиночкой и розами в руках. Я прощался с пароходом и Волгой. По пути стояли казаки. Смотрели на нас группы пассажиров. Мы прошли с сотником вниз, потом через другой пароход. На мостках — знакомые солдаты Царицынского гарнизона. Так ласково и так дружески говорили:

— Здравствуйте...

— Здравствуйте, — отвечаю им: и до свиданья.

Когда садились на автомобиль, собралось несколько публики. Смотрели с интересом и любопытством, и какие мысли у них были, — трудно было угадать. Я и сотник сели рядом. Впереди двое казаков с винтовками. Рядом с шофером представитель военной секции Саратовского Совета.

Помчались по городу к тюрьме. Хорошо было в этот утренний час. Было около 8. Небо чистое. На улицах прохладно. Город выглядел великолепно. Много солдат стоят и идут группами. Спешат куда-то граждане. Мы мчимся с Бабушкина взвоза, мимо Липок — по Никольской, мимо пассажа, по Московской — до самой тюрьмы... Вот и она. Опять она! 1907 год и 1917-й. При самодержавии и при революции. Но как она выглядит и все внутри? Неужели все так же, как была? — Неужели даже форма надзирателей осталась, не говоря уже обо всем внутреннем распорядке?

Старый корпус. Перекрашен в белый цвет. Хоть это хорошо... Открывают ворота. — Входим. — Да, как все это

знакомо. Казаки взяли вещи... Проходим в контору... Контора тоже расположена по-новому — с дверью во двор одиночного корпуса. Хорошо, что не по-старому, было бы почему-то больно. Дежурный надзиратель пошел будить помощника. Ждем. Представитель военной секции тут же. Он как будто чувствует себя смущенным.

Пришел помощник. Потом другой, проверяли документы. Предложили сдать деньги. Я сдал имеющиеся 20 рублей. Жмет руку представитель военной секции. Уходит. Мы направляемся в одиночный корпус. Привратники отпирают замки входной двери. Вот и приемная контора корпуса. Как все знакомо. Как полно воспоминаний.

Помощник распорядился освободить камеру... Ее вымыли, вычистили. — Пожалуйте в камеру... После нескольких вопросов помощников, они уходят. Один, очевидно, удивлен, что я уже был в этой тюрьме, другой слышал обо мне в Царицыне. Дверь закрылась. Один. Светло, чисто, воздуху достаточно. Кажется просторно после камеры студенческого батальона. Есть что-то новое. Ах, это краска стен. Раньше было белено. От этого в камере было светло, но особенно заметно выступали пятна от клопов и грязи.

Теперь краска светло-желто-зелено-сероватого цвета. Ничего неприятного нет. Хожу, — 6 шагов от двери к окну и обратно. Теснились воспоминания о прошлом и мысли о настоящем. Иногда промелькнет скорбное ощущение неволи. Но над всем преобладает сознание своей правоты и уверенности в хороших последствиях. Тогда и теперь. Как ясно, как просто положение было тогда и сколько туману и лицемерия сейчас.

Обед постный — из рыбы, пшенная каша. После обеда опять прогулка, чай. И теперь сижу и пишу. Обдумывал письмо-протест прокурору суда».

«15. Вторник.

«Утром зашел начальник тюрьмы, один, а потом вместе с помощником тюремного инспектора. Теперь у меня скамейка и более прочный табурет. Будет больничная порция. Внимательны, любезны. Потом был тюремный священник. Вид больного и удрученного. У него сын офицер каким-то образом ранен в Петрограде. Принесли мне «Новую Жизнь». Любопытно известие о братании на западном фронте у немцев. 6 немецких солдат осуждены в каторгу на разные сроки за братание».

«16 августа. Среда.

«После обеда лежал на койке. Вдруг отпирается дверь, и входит несколько человек в военной форме. Оказывается, президиум военной секции:

«— Ну, как себя чувствуете, товарищ, в тюрьме при новом режиме? И тут же кто-то добавил: «Да, странно как-то». — «Ничего», говорю. — «Не нуждаетесь ли в чем!» — «Пред‘явлено ли обвинение?» — Я сказал, что 1 ч. 129 ст., просил книг по русской истории и поскорее. — «Еще что не нужно-ли? Продуктов? Прогулки?» Я сказал, что особенно не нуждаюсь. И деньги пока есть.

«— Впрочем, вы так неожиданно, что я не успел сообразить.

«— Так вы нас всегда можете вызвать. Вот через коменданта тюрьмы. — Вышли и смотрят на камеры и не то шутя, не то серьезно: «А не выбрать ли нам камеры заранее»? Я просил еще ускорить следствие. Сказал, что пишу обжалование. Они обещали переговорить с адвокатом Н. Н. (Мясоедовым).

«Через несколько минут входит еще гость. Снимает соломенную шляпу. — «Я — тюремный инспектор. Не имеете-ли заявлений?» Вид у него как у больного или очень утомленного.

«— Больничную пищу получаете? — «Да, но вот обед сегодня не мог с‘есть». — «Почему?» — «Какая-то соленая вода, каша с горьким маслом». Он поморщился. «Хорошо, я справлюсь об этом. А еще что? Письменные принадлежности вам оставлены и даются без особого счета. Но только с вас слово: не передавайте помимо конторы где-нибудь на свиданьи».

«— Я не нуждаюсь в таких передачах, вас прошу не задерживать моих отправлений и передавать поскорее по назначению.

«— Хорошо, я сделаю о вашей корреспонденции особое распоряжение.

«Встал и простился».

Характерная деталь. Входят гости, не постучав, не предупредив. А инспектор, также как и священник, войдя и садясь по моему предложению, говорят также ко мне: «Садитесь».

Это значит, что я арестованный, хотя и не рядовой.

Обещания исполнили: сегодня доставили «Уголовное уложение».

С наслаждением читал биографию Никитина... Докончил обжалованье прокурору. Гулял утром час, перед обедом час, и вечером полтора.

К вечеру солнечная погода внезапно изменилась. Поднялась буря с пылью, потом дождь. И теперь все шумит за окном. Я просил не запирать камеру. Инспектор: «Но тогда и другие попросят» (т.-е. уголовные). «Я — особая категория». «Нет, нельзя». Обещали только снять висячий замок и то лишь до вечерней поверки.

А кто повесил их? Говорят, мой же братец эс-эр С. (Саша, т.-е. Александр Аркадьевич Минин).

Сейчас гимнастика и спать. Вставать буду по звонку в 6 час., тут-же умываться и гулять, потом пить чай...

Да. За несколько дней до моего вселения в Саратовскую губернскую тюрьму, там были повешены, кроме внутренних, еще наружные замки. Сделано было это по инициативе и после посещения тюрьмы А. А. Минина. Знал он или нет, что в эту тюрьму на-днях перевезут его двоюродного брата-большевика? Неизвестно. Но как член президиума Совета и как член правительственной партии эс-эров, он счел себя обязанным навести в тюрьме тоже «революционный порядок».

В одиночном корпусе, кроме подавляющего большинства уголовных и некоторых черносотенцев-монархистов, было заточено человек десять политических арестантов новой формации, главным образом, за крестьянское движение «по губернии беспокойной».

И вот за каждым из этих арестантов теперь не только захлопывали тяжелую, толстенную дверь и на два взвода завинчивали внутренний замок, но замыкали еще висячее чудовище на петлях задвижек.

И я попал тоже как раз под это революционное нововведение.

Когда, во время первой революции, в 1906—7 г.г., мы сидели с братцем в этой же тюрьме, самодержавие защелкивало на дверях наших камер только внутренний замок и, хлопнув тяжелой задвижкой, уходило.

Теперь не то. Теперь была вторая «великая российская революция», руководимая крупной и мелкой буржуазией. И теперь политических противников пропечатывали двумя железными печатями.

Впрочем, саратовские эс-эры были разные. Президиум солдатской секции (в том числе молоденький офицерик Пантрягин) были тоже эс-эры, но они явно сочувствовали мне, заботились об удобствах заключения, терзаясь противоречивым своим положением и даже... заранее приглядывали себе камеры по соседству с большевиками.

«17 августа. Четверг.

«Утро солнечное и прохладное. Гулял и дышал с наслаждением. После обеда принесли высушенный матрац. Так удобно лежать и думать.

«Читал „Вестник" (Саратовский). Всероссийское Совещание для правых, видимо, не удалось.

«В „Вестнике" (газета кадетов) написано про большевика Минина, находящегося в Саратовской тюрьме и обвиняемого по 129 ст.

«Вечером принесли «Летопись», записку и коробку папирос от Сони (сестра-большевичка). Завтра с Володей (Антонов—лидер Саратовских большевиков) придут на свиданье...»

«18 августа. Пятница.

«Солнце и ветер с дождем. И опять солнце. На свиданьи были Соня и Володя... Приятно было увидеться... Соня принесла полевых цветов и всяких продуктов. Много газет...

«В телеграмме от 17 августа говорится про Царицын: «Советом Р. и С. Депутатов об'явлена (16 авг.) забастовка в виде протеста против Московского Государственного Совещания. Бастуют крупные фабрики и заводы, грузчики, носильщики и трамвай. Совет постановил воспретить уличные шествия и митинги».

«Сегодня у меня праздник».

«19 августа. Суббота.

«Сегодня (в газетах) сообщение о Ц. (Царицыне). К. К. (полковник Корвин-Круковский) устроил свою демонстрацию, чтобы сорвать забастовку. Ничто не помогло... совет принял резолюцию об отмене смертной казни».

Итак, даже по газетам, и даже по буржуазным, можно было догадываться, что после всех репрессий Царицын не только не успокоился, но продолжал итти вперед, ломая установленный карателями «революционный порядок».

Но вот 21 августа ко мне пришел на свиданье делегированный Царицынским Комитетом рабочий орудийного завода—Павин.

Павин был тогда не из числа твердокаменных большевиков. Не раз он обнаруживал колебания по самым кардинальным вопросам. Но наш комитет относился к нему очень бережно и намеренно посылал его на всякие центральные с'езды вместе с Ерманом. Из Петрограда Павин возвращался пламенным большевиком и радовал наши сердца своим радикализмом.

Но теперь Павина заряжать большевистским электричеством не было никакой нужды. Его умные глаза полны решительности. Короткая, кругловатая фигура выступает уравновешенно, спокойно.

Павин передал серию писем из Царицына и рассказал подробно о событиях там.

В знак протеста против Московского Совещания большевики решили провести генеральную забастовку.

Для этой цели был создан руководящий стачечный комитет из представителей партии и союзов.

Даже меньшевиков и эс-эров удалось уломать принять участие в забастовке или, по крайней мере, не мешать ей.

События во всей стране, особенно Государственное Московское Совещание, и события в Царицыне, особенно репрессии,

накалили добела, насытили грозой общественную атмосферу Царицына. Почва для забастовки была необыкновенно благоприятна.

И вот полковник и Корни-де-Бад, не будучи в состоянии забастовку предотвратить, надумали сорвать ее манифестацией.

Накануне 16-го августа, на которое была намечена забастовка, начальник «особого отряда» положил на весы политики всю свою вооруженную силу.

Все юнкера и казаки были выстроены при полном боевом вооружении. Прикатили пушки, пулеметы. «Особый отряд» подтянулся и... демонстративно, победоносно двинулся по главным улицам и площадям города Царицына.

Четко стучали подошвами по мостовой господа юнкера.

Цокали по камням копытами лошадей казаки.

Громыхали за ними пулеметы.

Ворочали дулами орудия.

Зрелище было, поистине, великолепное, ослепительное, потрясающее.

На улицах — никого. Как вымерло.

И когда закончилась манифестация, когда отгремели свои последние громы по мостовым орудия и пулеметы, тогда население города чуть не единогласно решило: нас хотят опять повернуть к монархии, к царю. Тогда не только отдельные группы рабочих, еще стоявшие в стороне от политики, но даже служащие всех категорий, наконец, даже просто мещане, рядовые обыватели, все в ужасе шарахнулись прочь от нового «революционного порядка» и вплотную придвинулись к партии большевиков.

Того же дня вечером был арестован председатель стачечного комитета Яков Ерман.

На следующий день, в среду 16-го августа, город с раннего утра и до вечера как будто не просыпался: притих, замолк, умер...

Остановились фабрики, заводы, мельницы, мастерские.

На улицах, кроме часовых и патрулей, — ни единого человека.

Не видно лошадей, экипажей, так как извозчики забастовали в числе самых передовых.

Ни одного вагона на трамвайных рельсах.

Закрыты банки, магазины, так как служащие тоже примкнули к стачке.

Забастовали носильщики на всех трех вокзалах.

Опустел базар, так как не выехали в город с продуктами крестьяне.

Закрылись почтовые конторы.

Замерла телефонная станция. Замолчали все телефоны карательной экспедиции. Специально поставленные дежурные подавали и принимали звонки только по проводам Стачечного Комитета, Комитета большевиков и Президиума Совета.

Окаменелое царство...

Забастовка оказалась действительно всеобщей, генеральной и произвела ошеломляющее впечатление на все двухсот-тысячное население города.

Медленно, с остановками, но необыкновенно ярко воспроизвел передо мной эту картину всегда мешковатый, но теперь оживленный гость мой — Павин.

Письма из Царицына говорили о том же.

А попрежнему выполнявшая обязанности «начальника связи» между мной и Комитетом Р. писала: с каждым днем и часом «масса растет».

Но Царицын не только рос по часам у себя, дома.

Отраженным светом он давал о себе знать и в Саратове.

Саратов — город очень старый. Он давнишний центр огромной «Губернии Беспокойной». Населения в нем 360 тысяч, а вместе с примыкающей к нему, как пригород, слободой Покровской (по ту сторону Волги) населения целых 400 тысяч, то-есть ровно вдвое больше Царицына.

Саратов — крупнейший железнодорожный и водный центр и сосредоточие давно развившейся промышленности. А рабочее и революционное движение прочно укоренилось в нем еще в те годы, когда Царицын, отдаленный уездный городок, не показывал и признаков политической сознательности.

Но бедой и проклятием для Саратова было всегда то, что он город не столько промышленный, сколько торговый, и что на такое же количество пролетариата, как в Царицыне, еще в 1917 г., Саратов заключал в своих стенах огромную, подавляющую массу населения эксплуататорского, паразитического и обывательски-мещанского.

В нем общественные классы закончили свое формирование задолго до того, как в Царицыне только начали они вылупливаться из яичной скорлупы.

В Саратове сложились крепкие организации кадетов, меньшевиков, эс-эров. Они жили, процветали на богатом подножном корму.

Организация большевиков тоже развилась и окрепла в Саратове довольно рано и уже успела к 1917 году занять прочное место на страницах истории нашей партии.

Но саратовские большевики работали и бились, как в тисках, окруженные плотной толщей геологических пластов

буржуазии, дворянства, поповщины, мещанства и квалифицированной буржуазной интеллигенции.

Да и промышленные предприятия Саратова, кроме железнодорожных мастерских, не отличаются теми размерами, тем скоплением пролетарской массы, как это характерно для города-американца Царицына.

Все это роковым образом тяготело над существованием, над работой, над тактикой и над успехами в борьбе наших саратовских сотоварищей по партии.

А вот, теперь молодой да ранний сынок Царицын, «выйдя в люди», начал посильно помогать убеленному сединами революционеру-отцу — Саратову.

О Царицыне шумела буржуазная печать.

В Царицын выезжала специальная делегация.

В Царицын послана карательная экспедиция.

Царицын отвлек из губернского города на свои плечи самую сердцевину вооруженных сил реакции.

Но Царицын жив и борется, неугомонный, неукротимый.

И не только вся Саратовская организация большевиков но и рядовая рабочая масса губернского города полна жгучего интереса, полна глубочайшей симпатии к молодому городу-бойцу, городу-революционеру.

В пятницу, 18-го августа, на заседании Саратовского Совета Депутатов был поставлен вопрос о Царицыне.

С докладом выступил эс-эр Телегин.

Тот самый Телегин, который приезжал в Царицын с Комиссией Петроградского Совета в июне и который потом в июле после моего ареста вторично приехал, но тотчас поддался панике и по телеграфу одобрил командировку в Царицын «особого отряда» Корвин-Круковского.

Доклад Телегина длился больше часу.

Начал он его так:

— «Царицын займет видную страницу в истории русской революции»...

Потом, однако, некий оратор справа усомнился в такой оценке «анархического» города и заметил:

— «Нет дыма без огня».

На что получил негодующую реплику оратора-большевика:

— «Да. В Царицыне огни. А вам здесь дым застилает глаза»...

По докладу Телегина Совет вынес разбитое на пункты постановление, при чем пункт 5-й гласил:

«Ликвидировать арест Минина и других».

На основании принятой Советом резолюции, Исполнительный Комитет избрал комиссию. В комиссию вошли меньшевик

Гольдштейн и ветеран-большевик М. И. Васильев (на-ряду с Антоновым, — лидер Саратовской организации).

Оба юриста. И они сами должны в комиссию пригласить еще двух юристов.

А мой дневник от 19 августа продолжал по поводу этих событий:

«Вынесено постановление: делегировать к прокурору. Через 4 дня вернется следователь из Царицына и прокурор (окружного) суда. Тогда решится вопрос о моем освобождении до суда».

Раньше я и мои соотечественники-царицане полагали так:

... «Увезли в Саратовскую тюрьму. Значит, надолго. Однако, не совсем же надолго... Сколько бы дело ни тянулось, как бы меня ни осудили, как бы крепко меня ни держали, но... так или иначе всех нас амнистирует и освободит Учредительное Собрание... Так, отлично. Только когда же оно будет?.. Ну, теперь уже, наверно, будет скоро. Во всяком случае, рано или поздно, будет созвано Учредительное Собрание, которое всех нас обязательно освободит»....

Перспективы были весьма туманные.

Но вдруг теперь сам эс-эровски-меньшевистский Совет ринулся нам на помощь.

Учредительное Собрание где-то витает очень далеко. Совет же тут, у нас под боком, не дальше, как в одной версте от губернской тюрьмы и корпуса одиночного заключения.

Тучи стали рассеиваться.

Показались яркие кусочки запоздалого осеннего солнца.

Но, увы....

Мы-таки ошиблись, приняв за солнце не солнечные пятна даже, а погнутые кривые зеркала.

Ясно, просто высказался по нашему делу Совет.

Но его постановление меньшевики и эс-эры пустили по... юридическому жолобу, и когда-то оно докатится до цели?..

«20 августа. Воскресенье.

«Был Саша (эс-эр А. А. Минин). Обещал содействие. Пессимизм и поправение в общих вопросах...

«В окно светит луна. Несутся откуда-то звуки оркестра. Читаю много газет. На книги и записи остается мало времени. И вообще времени не хватает»...

Итак, опять меня осчастливил визитом братец.

Опять навестил меня в моей квартире.

Только квартира моя на этот раз выглядела немного иначе, чем тогда. Да оно и понятно: тогда он был в нашем Царицыне, а теперь я поселился в его Саратове.

Пришел он, впрочем, как родственник, но отнюдь не в качестве лидера эс-эров.

Тем не менее говорили мы и по вопросам общей политики.

Несмотря на торжество над большевиками буржуазии и партии эс-эров, он чувствовал себя невесело.

И несмотря на свой давний «социализм», он поправел еще более.

Не только как «социалист», но и как «брат», он тоже не прочь был пособить «ликвидировать мой арест», хотя говорил об этом очень неохотно, и пообещал... оказать воздействие на прокурора судебной палаты.

Он ушел, а за дверью моей камеры снова заскрежетал замок, повешенный братнею и братскою рукой.

А вечером опять осветила мою камеру луна, посылая свои лучи через квадратики железной, социалистически-революционной решетки.

«21 августа. Понедельник.

«Был Павин. Забастовка прошла замечательно дружно. Е. (Ерман) арестован. Также Петухов и Бурдаков» (большевики-руководители 155 полка).

«В тюрьму привели троих прежних надзирателей по делу начальника (Саратовской тюрьмы) Гумберта. Они об'явили себя эс-эрами (!?). Гумберту приготовлена камера».

«22 августа. Вторник.

«Полночь. С 8 часов спал. За день очень утомился. После вечернего кофе взял новую брошюру Ленина об империализме и продолжал читать. Как-то быстро пришло утомление и сон. Сны нехорошие. Проснулся от шума. Идет дождь. Где-то гром.

«Сегодня наконец привели бывшего начальника тюрьмы Гумберта, но посадили не в приготовленную одиночку, а провели в туберкулезный корпус к прочим палачам. Какие ужасные вещи рассказывают про его время в тюрьме. Когда смотришь со двора на одиночный корпус, то кажется даже красивым это легкое, стройное здание. Но решетки напоминают тут же, сколько ужаса, беспредельной тоски и слез видели эти стены».

«23 августа. Среда.

«Отдана Рига. Арестован Михаил Александрович с женой. Московским Советом большевики допущены к воинским частям. В Царицыне две роты (93 полка), перед отправкой их на фронт, потребовали переосвидетельствовать эвакуированных. Просьбу не удовлетворили. Заставили отправиться силой.

«Читаю Ленина об империализме.

«Просто и полезно».

«24 августа. Четверг.

Дни так однообразны, что только по запискам узнаешь день недели.

«Сегодня в телеграммах интересные вещи. В Петроградскую думу прошло 67 большевиков, 8 интернационалистов, 75 эс-эров, 42 к.-д. и других. Крайние левые могут оказаться в большинстве»...

«25 августа. Пятница.

«Здоров. Чувствую хорошо. Арестантам не дают каши, и хлеба вместо 2 фунтов только $1^1/_2$. Голодают. Просят помочь перед администрацией.

«Падение Риги заставило насторожиться обе стороны. Положение правительства опять непрочно.

«Саратовский Совет решил отпраздновать полугодовщину февральского переворота) не демонстрацией, а митингами».

«26 августа. Суббота.

«Привезли Ермана. Его освободил следователь, но, под давлением Круковского, опять арестовали. Номер нашего избирательного списка в Царицыне 14. Что-то дадут завтра выборы?

«Сегодня подал „петицию" заключенных.

«Холодно. Немного простудил грудь».

«27 августа. Воскресенье.

«Сегодня в Царицыне выборы. Что-то дадут они?

«Сколько слухов, что убили К. К. (Корвин-Круковского).

«Говорят, что N и N принесли резолюции о моем освобождении (от Саратовских полков).

«Сегодня был прокурор палаты.

«Я просил формулировать и мотивировать обвинения. Обещал, что будет торопить следователя, и сам с ним поедет в Царицын. Удивлен, что не пред'явлено обвинение по закону 6/VII. „Если окажется, что Вы не виновны, никакая стража вас не удержит"...

«С Ерманом в одном этаже и гуляли вместе. Много интересного о Царицыне.

«Арестованные вызвали начальника и разоблачили старшего надзирателя.

«Висячие замки сняли».

Ермана арестовали накануне генеральной забастовки, но уже после того, как подготовка к ней была закончена и все роли на день 16 августа точно распределены.

Как раз в этот день всеобщей стачки приехала невеста Ермана, которую никто в Царицыне в лицо не знал. На свидании

Ерман просил Р. и других товарищей встретить его невесту Лизу Меламед. Показал ее карточку, нарисовал ее внешние приметы.

Друзья пошли на вокзал и встретили Лизу. Так как носильщики и извозчики все бастовали, то багаж Лизы несли на руках.

На следующий день невеста проявила большую активность: побывала во всех учреждениях, у карателей, но особенно сильную атаку повела на следователя, который вел теперь дело Якова. И Ермана через три дня освободили с гауптвахты.

Лиза Меламед сама присутствовала при освобождении ее жениха.

Получив документ об освобождении от следователя, караул освободил Ермана.

Вместо того, чтобы забрать тотчас же с собой вещи и направиться в город к ожидавшим их с таким нетерпением друзьям, «молодая чета» вещи оставила на гауптвахте, а сама направилась осматривать окрестности города. Около часу бродил Ерман с невестой по полям и оврагам, пока не столкнулись лицом к лицу с юнкерами.

Юнкера были посланы за Ерманом.

Оказывается, произошло «недоразумение»: следователь освободил арестанта без ведома начальника «особого отряда».

Словом, прямо с приятнейшей прогулки наш Яков попал опять к своим вещам. А затем еще через три дня его направили пароходом в Саратовскую тюрьму.

Я никогда не видел Ермана унывающим. В обыденной житейской обстановке, в товарищеской беседе он обыкновенно был очень весел, оживлен, часто улыбался. Тогда его молодое, красивое и умное лицо чрезвычайно привлекало к нему сердца окружающих.

На трибуне это был орел с разжатыми когтями, с распущенными крыльями. Это был фонтан искр и пламени. Он бичевал противника, метал и рвал на клочки его аргументы. Он сам был олицетворением кипучей борьбы, и каленым железом жарких слов, простых и ясных, но горячих мыслей он призывал своих слушателей к увлекательной, неминуемой, сокрушительной победе. Атмосфера собрания накалялась до последней степени. А он, начав жестикулировать одной рукой, потом, в энтузиазме, поднимал их обе, и тогда на самом деле был похож на стремительного горного орла.

Вопреки всяким рассказам, Яков жил очень скромно в крохотной комнатке с окном на двор, которую он снимал у семьи из трех богобоязненных старушек. Личные потребности его вообще были необыкновенно скромны. Это был спартанец-большевик.

Днем и ночью Ермана на улице можно было узнать по его солдатской шинели, которую он часто носил и тогда, когда не было холодно, и которую он так искусно набрасывал на плечи, что одна пола шинели непременно волочилась по земле...

Когда я 26 августа выходил утром на прогулку и снизу на чье-то приветствие поднял голову, я заметил в коридоре второго этажа — лицо Ермана с его солнечной улыбкой.

На следующий день его перевели ко мне в первый этаж по соседству и разрешили нам совместную прогулку.

Да, теперь нам будет недурно, и мы сумеем, как следует, использовать предстоящие, быть может, долгие дни тюремного заключения.

На прогулке Ерман, по обыкновению, волоча по земле порядочный кусок своей шинели, еще раз, еще подробнее и полнее рассказал о последних событиях в Царицыне. И еще тверже мы были теперь убеждены, что наш родной Царицын не сумеет задушить никакая реакция.

Любопытная «мелочь»: арестовали меня, арестовали Яшу, арестовали еще десять виднейших большевиков нашего города. Зато... Зато освободили из тюрьмы и пустили на все четыре стороны бывшего начальника Царицынского жандармского управления, подполковника Тарасова и провокатора Григория Шишлянникова.

Так завершился, так округлился тот «революционный порядок», который насаждали в Царицыне социалисты с партийными билетами на дне чемодана.

На свиданье в этот день, воскресенье 27 августа, меня с Ерманом вызвали тоже одновременно. И тут, помимо всяких прочих новостей, нам передали такие, которые нас обрадовали до последних границ:

Начальник карательной экспедиции Корвин-Круковский по глубоким стратегическим соображениям перебросил наш славный 141-й полк в Саратов. Полковник рассчитывал при этом, что, пересадив наш полк на территорию Саратова, он подрежет ему его большевистские корни и расстроит его и утихомирит в массе сравнительно отсталого Саратовского гарнизона.

Вышло, однако, наоборот. И случилось нечто, для знаменитого полководца и политика, весьма неожиданное.

Едва разместившись по казармам «Военного Городка», наши земляки немедленно принялись за работу: и в Военном Городке и по городским казармам, в частных беседах и на собраниях солдаты царицынского полка повели бешеную агитацию против войны, за новый Интернационал, против буржуазии и помещиков, против меньшевиков и эс-эров, за большевиков, за Царицын...

А когда меня и Ермана перевезли «для прочности» в Саратовскую тюрьму, 141-й полк прибавил ко всем своим лозунгам еще один: «царицынских большевиков Минина и Ермана немедленно освободить из тюрьмы».

Саратовский гарнизон был не маленький. Наоборот: он представлял из себя колоссальную вооруженную силу — три пехотных полка, два пулеметных полка (3-й и 4-й), артиллерийская бригада и целый ряд отдельных частей и команд.

Повернуть за большевизм эту громаду было бы не легко. Но ее фундамент уже был разрыхлен и подточен саратовскими большевиками. В особенности был популярен в гарнизоне лидер-большевик Михаил Иванович Васильев. Ему так же, как и мне в Царицыне, частенько приходилось «успокаивать» воинские части и кропить святой водой большевизма маршевые роты.

Гарнизон уже поворачивался лицом против меньшевиков и эс-эров.

Наши земляки подкинули жару под гарнизонный котел.

И он закипел. Ходуном заходил.

К самым отсталым из саратовских солдат царицане подходили с беседами об убожестве солдатского житья-бытья. Доказывали, что так жить нельзя и что необходимо потребовать улучшения материальной обстановки. А потом постепенно переходили к вопросам высокой политики и тут уже не скупились на выражения в духе царицынских солдатских наказов.

Гарнизон заволновался и начал молниеносно преображаться.

Военное начальство было терроризировано кучей требований об улучшении положения гарнизона. А в печать и в Совет полетели большевистские резолюции сначала на обще-политические темы, а потом, когда полк узнал о переброске нас в Саратов, и с требованием нашего немедленного освобождения.

Две подобных резолюции и были доставлены в Исполнительный Комитет к субботе 26-го августа.

Возглавлял это движение молодой, но убежденнейший большевик, по внешности скромный и стеснительный, в работе—изобретательный и энергичный солдат 141 полка Черемисов.

Получив еще более свежие и яркие новости, мы с Яковом воспрянули, восторжествовали.

На близкое освобождение мы не рассчитывали, хотя и заметили, что юридическая машина заработала несколько живее. Но главное, самое главное было то, что наши земляки, что наш славный революционный полк и на новой почве не свернул своего знамени и ведет, как и в Царицыне, боевую партийную работу.

Да, было чему порадоваться.

На следующий день, 28 августа, в понедельник, переданные нам утром газеты, сообщили необычайную новость: восстал генерал Корнилов и об'явил поход на Петроград с очевидной целью восстановить монархию. После июльских дней, в течение целых двух месяцев, по стране бушевала буржуазно—помещичья реакция. Уже в конце апреля — начале мая собственнические классы принуждены были пойти в правительство на коалицию со своим последним резервом, со своим арьергардом—партиями эс-эров и меньшевиков. 18 июня столицу потрясла новая гигантская демонстрация под знаменами большевиков, а с таким треском начатое наступление на фронте против немцев обанкротилось. Июльская вооруженная демонстрация петроградских рабочих и солдат и кронштадтских моряков-матросов показала воочию, в какую пропасть может покатиться власть буржуазии вместе с неприкосновенной и священной собственностью. Буржуазия и помещики, царские генералы и чиновники с диким бешенством набросились на пролетариат, на революционные воинские части, на партию большевиков и ее вождей.

Никакие меры тут не казались палачам слишком грубыми, вплоть до самых гнусных насилий.

Никакие средства не считались грязными, вплоть до чудовищной и бесстыднейшей клеветы.

Партии кулаков и мещан, социал-демократы-меньшевики и социалисты-революционеры, в особенности их руководящие верхушки, с упоением ринулись на помощь буржуазии и помещикам, подталкиваемые исключительно мещанской ненавистью к большевикам и забывая свое революционное прошлое, свои социалистические программы, свою когда-то совместную борьбу рука об руку с большевиками.

И реакция наглела с каждым днем. И заботливо поливала и подчищала многочисленные корни царского самодержавия.

Лучше царь, чем большевики.

Вперед, пока не поздно.

И казалось многим из этих паразитов и их прихвостней, что действительно еще время не упущено.

Царь был свергнут, но монархия никем еще не была отменена, и ни революционное правительство, ни меньшевики с эс-эрами еще не удосужились хотя бы на словах прокламировать республику.

Учредительное собрание было провозглашено, но решительно никто не знал, когда оно будет созвано, как никто не был прочно уверен, будет ли оно созвано вообще.

На-ряду с «революционным» правительством и «революционно-демократическими» Советами благополучно существовали все командные высоты царско-думского самодержавия: и Госу-

дарственная Дума и Государственный Совет и даже «святейший правительствующий синод». Никто их не ликвидировал, не распускал, и все члены этих богоугодных заведений аккуратно получали причитающееся им колоссальное жалованье.

На креслах министров сидели «социалисты» во главе с адвокатом Керенским, а под креслами копошились черви самой гнилой дворянско-помещичьей реакции: во главе армии попрежнему сидели старые царские генералы, во главе судебных, административных и всяких прочих государственных органов тоже гнездились еще царские чиновники и закоренелые бюрократы.

Земля оставалась у помещиков, и казаки защищали их против крестьян, как это было совсем еще недавно при царе Николае. А крестьянские комитеты беспощадно заточались по тюрьмам.

Фабрично-заводские комитеты не могли добиться жалованья своим членам-рабочим, а то так и просто переселялись за решетку.

Военные комитеты разгонялись: тюрьмы были переполнены солдатами-революционерами. Не «свободная» армия «свободного» отечества нужна была теперь, а старая, знакомая, привычная, спокойная «серая скотинка»...

Словом, есть еще порох в пороховницах.

Нет царя, но его престол целехонек.

Он пустует. Вакантен. Так надо поторопиться его заполнить

И Корнилов торопился. Третий Конный Корпус и дикая дивизия пока что боевым маршем покатились... не против «немца», не для того, чтобы отбить у него Ригу, а для того, чтобы разгромить ненавистный и вулканический Петроград.

«А что если Корнилов победит?» — подумалось мне.

Я пытался представить себе, что же тогда получится.

«Нет, невозможно. Немыслимо... Никаких данных за его победу.

«А все-таки. Что, если... О, тогда, прежде всего будут растерзаны клыками реставрации все те, кто, как мы, так предупредительно, так любезно были подкинуты в лапы диктатору копытками Корни-де-бадов и буридановых ослов»...

Меня вызывают на свиданье.

Навстречу попадается с газетами в руках комендант (он же начальник) тюрьмы:

— Читали?!

— Читал.

— Корнилов-то!.. Заговор... Ведь это значит... Ну, как вы думаете?

Эс-эровские мозги коменданта попали в тупик. Событие распирало его череп. Он не мог понять, чем же это все кон-

чится. На лице честного демократа отобразилась тревога и полное смущение.

«Опоздал Корнилов. Ничего у него не получится», — ответил я и направился в контору.

Скоро туда же на свиданье был приглашен и Ерман.

Вот оно что!.. Гарнизон будто бы пред'явил ультиматум Совету: «Или немедленно освободите царицынских большевиков или... мы освободим их сами»...

Представители от гарнизона запрашивают наше мнение.

Мы осведомились подробнее о положении дел, о соотношении сил, сопоставили это с тем, что происходило в последнее время в Саратове, в Царицыне и по всей стране.

И на то, на что мы с Ерманом никак не соглашались в нашем революционном городе, на это мы теперь дали наше полное согласие...

Вся контора, все тюремные чиновники и арестанты, как о чем-то вполне достоверном, говорили теперь о нашем близком освобождении.

Но как это случится! Юридически или насильственно?

Никто не мог ответить себе точно на этот вопрос.

Юридическая машина, заведенная Советом и пущенная в ход его Исполнительным Комитетом, заработала быстрее, но все-таки достаточно вяло и без каких-либо положительных и очевидных результатов. Почему? Натыкалась на непредвиденные глубокие препятствия.

Постановление Совета было: «ликвидировать аресты».

Это не то, что постановление гарнизона — просто: «освободить».

Но все-таки воля Совета, хотя и подстриженная в резолюции ловкими парикмахерами, была недвусмысленна и несомненна.

Кто же ее претворит в жизнь? Тот, кто по положению обязан исполнять решения Совета—его Исполнительный Комитет? Или те, кто не только постановляют, но и на самом деле желают выполнить свои постановления?..

Срок ультиматума — завтра, 29 августа, в 12 часов дня.

В этот час на завтра назначено общее собрание гарнизона. И если к этому сроку мы освобождены властями не будем, то гарнизон будто бы сам пойдет массой к тюрьме и освободит нас.

Уверенность в освобождении нас тем или иным путем, а скорее силой, была кругом настолько велика, что рецидивисты-уголовные торопливо готовились к побегу.

Камеры наши теперь уже не запирались целый день. И мы с Ерманом проводили время вместе то в его, то в моей камере.

После вечернего чая, выйдя в коридор, я лицом к лицу столкнулся с комендантом тюрьмы.

— Товарищ Минин, что же это такое! Почему вас не освобождает Исполнительный Комитет?

— А вы спросите у него. Мы не знаем.

Комендант был до последней степени встревожен.

— Ведь, теперь для каждого ясно, все равно освободят — не они, так солдаты. Скорей бы освободили от Совета, а то у меня все уголовные разбегутся...

И комендант заторопился в свою комнату.

«Для каждого ясно!» В том-то и дело, что для многих это совсем не ясно. По крайней мере, ни власть, ни лидеры меньшевиков и эс-эров не делают никаких решительных шагов к освобождению.

А, может быть, наоборот. Может быть им тоже все ясно. И они приняли все меры к тому, чтобы не опозорить Саратова «царицынской анархией».

Поздно вечером, когда во внутреннем замке два раза повернулся ключ и за дверью щелкнула задвижка, я сел за свой дневник.

По обыкновению, больше думал, чем писал, и писал осторожнее, чем думал:

«28 августа. Понедельник.

«Корнилов задумал переворот.

«Здешний гарнизон послал телеграмму протеста против заговора.

«Между прочим, гарнизон будто требует нашего освобождения.

«В тюрьме вечером какое-то движение — нето привели, нето освобождают кого-то...

«Обще-гарнизонный митинг завтра в 12 часов дня.

«Читаю газеты. Хотя они уже из „прошлого века“. Начинается что-то новое.

«Непонятно, на кого рассчитывает Корнилов, выступая против правительства и советов и партий».

Утро. Солнце.

Ерман зашел ко мне. Мы собираемся на прогулку.

Вышли в коридор.

В середине коридора, напротив выхода, стоит дежурный тюремный надзиратель, а рядом с ним сидит на табурете солдат-часовой с винтовкой. Это по всей тюрьме поставлен гарнизонный караул для усиления тюремной стражи.

Надзиратель что-то говорит часовому и кивает в нашу сторону.

Часовой обернулся и пристально смотрит на нас.

Мы проходим к концу коридора, чтобы по внутренней лестнице спуститься на прогулочный двор.

Надзиратель остановил нас, указывая на часового:

— Про вас спрашивает...

Мы поздоровались. Часовой говорит:

— Много там у нас разговору. Освободить вас хотят...

— А вы, товарищ, какого полка?

— Пулеметного....

— Вот так стража, — говорили мы потом, гуляя по небольшой четырехугольной площадке двора.

Одной стороной дворик примыкает к самой тюрьме. Остальные три стороны огорожены высокими деревянными стенами. На стене, противоположной тюрьме, построены мостик и будка для часового. День и ночь тут дежурили теперь солдаты из полков гарнизона.

На этот раз часовой не засиживался в будке, а все ходил и ходил по своему высокому помосту над нашими головами.

Совершая наши квадратные круги по протоптанному краю площадки и оживленно беседуя о возможностях начавшегося дня, мы заметили, что часовой как-то особенно пристально посматривает на нас.

— Товарищи, — заговорил наконец часовой, — где-то тут сидят Минин и Герман? Вы не знаете, где?

— А на что это вам?

— Да мы постановили освободить их из тюрьмы... гарнизоном.

— Как же это было, товарищ?

— На собрании. Много говорили там. Их привезли из Царицына. Мы так и постановили всем митингом — прийти к тюрьме и взять. Нынешний день опять собрание в обед, — последнее, должно быть...

— Товарищ, — не утерпел тогда Яша, — так это же мы и есть: я — Ерман, а это — Минин.

Солдат недоверчиво настороживался.

— Ну? Так это вы!

— Конечно. Должно быть, вам о нас говорили из 141-го полка?

Солдат улыбнулся:

— Так оно и есть.

Повернулся от нас, поправил на плече винтовку и зашагал по своему высокому помосту.

— А вы из какого полка? — спохватились мы.

— Из пулеметного, — бросил нам часовой и запрятался в будку.

А мы продолжали шагать по крохотному дворику.

— Пора заходить, — по привычке сказал надзиратель, появляясь из двери и показывая часы.

На часах было ровно одиннадцать.

Не успели мы дойти до наших камер, как меня позвали в контору.

«Что это значит? Для свиданья это как будто рано. И почему зовут меня только одного»..

Через открытые ворота нашего двора, отделяющего корпус одиночек от общего корпуса, виден просторный двор, ведущий ко всей тюрьме, и за ним прочные, накрепко запертые ворота.

«Откроется ли сегодня для нас эта крепкая, железом кованная калитка? Или, наоборот, прихлопнется еще плотнее?»

Через небольшой коридор я прошел в комнату, где на широком мягком кожаном диване происходили наши свиданья.

Никого нет, и меня ведут дальше, в канцелярию и, наконец, в уютный, но мрачный, как камера, кабинет начальника тюрьмы.

Начальник сидел за столом на кресле и беседовал с каким-то штатским гражданином.

— А, господин Минин. Пожалуйте. Вот это следователь по вашему делу. Побеседуйте.

И начальник выскочил в канцелярию.

В противоположность царицынскому следователю, саратовский был сухопарый, бледный и необыкновенно казенный.

Я старался угадать по его внешнему виду, в чем дело.

И ничего хорошего для себя пока не обнаружил.

Следователь сел на кресло начальника, а мне предложил напротив себя тоже стул, на котором он только что сидел.

Стало как-то темно. Я оглянулся на окно: тучи загородили солнце.

«Наверно, будет дождь», подумал я.

Следователь покопался в портфеле, вынул бумаги в аккуратной обложке, на которой крупными буквами было напечатано «Дело», и повторил мне все те обвинения, которые мне уже пред‘явлены были дважды на седьмой день ареста и на восемнадцатый.

Потом это олицетворение казеннейшего бюрократизма предложило мне самому подробно изложить, как было дело.

И я начал...

Я отлично знал, что передо мной не забитый, обманутый оренбургский казак, даже не казачий эсаул и не безусый патриот-юнкер, а закисший и промозглый судейский чиновник.

Но... чего не бывает с людьми в наши дни, в наши необыкновенные времена...

Да, наконец, пусть и он узнает на самом деле, что такое представляет из себя в действительности наш оклеветанный революционный Царицын.

И я, не щадя сил, концентрируя факты, рисуя целые картины, подробно излагал ему всю историю, как делал это раньше сначала перед комиссией Петроградского Совета, потом, уже из заключения, в двух докладах царицынскому Совету.

Чинуша был очень внимателен и что-то выписывал для себя.

По временам он совсем оживлялся. Наконец, в еще более редкие моменты на его казенном лице проскальзывало что-то в роде изумления и даже сочувствия.

— Это так,—сказал он наконец,—это очень интересно и... Но все-таки вот июльское выступление... Это дело рук вашей партии, от имени которой и вы действовали в Царицыне.

Тогда я рассказал ему об июльском выступлении, о том, как наша партия сдержала его, и что если бы наша партия этого не сделала, то вот именно тогда-то и была бы в Петрограде самая доподлинная «анархия».

Наконец, я уверил его, что сам Ленин пишет в этом роде в нашей новой петроградской газете.

— Неужели!? Так пишет и Ленин?

— Я могу вам потом показать этот номер.

— Пожалуйста. Я буду вам очень благодарен.

Так прошло у нас в «беседе» не меньше, как целых три часа.

Я уже порядочно устал, а мой собеседник пока еще не проявлял никаких серьезных признаков активного сочувствия большевизму...

Наконец я попросил его показать мне «дело», чтобы ознакомиться подробно с тем, как меня обвиняют и что против меня могут показать свидетели.

— Мне кажется, я имею на это полное право,—сказал я.

— Пожалуйста, — ответил следователь, усадил меня на свое кресло, подвинул ко мне синюю папку с моим «делом» и вышел из кабинета в канцелярию.

В кабинете стало еще темнее: накрапывал дождь.

Вооружившись карандашом и листом чистой бумаги, я углубился в «дело».

Григорович, командир 141-го полка...

Его показания идут первыми. Он задавал тон...

Хорошо. Так что же по такому делу может показать этот солидный, корректный и тактичный господин? Он безусловно не наш. Больше того: под корой деликатности и тактичности в нем постоянно скрывался непримиримый, но бессильный враг.

— Минин часто сдерживал солдат, — показал командир самого непокорного полка, — никогда открыто и прямо не призывал солдат не подчиняться начальству или не итти на войну. Но весь смысл его речей настраивал толпу против начальства, против войны...

Тон показания сдержанный, спокойный.

«Ну, это еще ничего», — подумал я: — «прилично. Могло быть хуже»...

Командир 93-го полка... Коробкин.

Он показал более резко, в повышенном тоне.

Оно и понятно, ведь это его мы «сместили» и публично обесчестили.

Однако, даже Коробкин писал менее резко, чем когда-то вопили против нас наши земляки-меньшевики.

Не страшен и Коробкин. Пустяки. Его-то мы сумели бы отвести..

Посмотрим дальше...

Что такое?!. Не может быть!.. Но ведь это же позор...

Еще раз и еще раз читал я подпись и... не верил своим глазам.

Достопочтенный П., лидер царицынских меньшевиков, запутал себя в это грязное дело против большевиков и дал-таки свои показания...

Но что он написал? За или против? Или ни за, ни против? Или, наконец, и за и против?.. Одинаково допустимо и первое и второе и третье для таких лидеров таких партий в такие времена.

Внимательно, строку за строкой, слово за словом, я не читал, а изучал обширное показание.

Тяжелые времена переживала тогда наша партия. И П. решил использовать момент и потопить нас навсегда.

Показание лидера меньшевиков далеко оставило за собой показания полковых командиров.

«Минин призывал не к классовой борьбе, а к классовой резне» — запечатлелась у меня в мозгу фраза после первого же чтения написанного и подписанного меньшевиком П. показания.

Какая мещанская тупость в оценке положения и какая бешеная ненависть к рабочему классу и его партии!..

Но я должен торопиться. Дальше, дальше...

Ну, а дальше, как увенчание всего этого необыкновенного «дела», следовали показания... двух уголовных шпиков.

Не даром же первоначальное дознание было поручено начальнику царского уголовного сыска знаменитому Тургану.

Шпики не стесняли себя уже никакими границами здравого смысла и, как бы следуя директиве благовоспитанного

и образованного меньшевика П., они заверяли своих патронов, что большевики хотели выпотрошить капиталистов и помещиков и возбуждали солдат к убийствам, грабежам, к резне..

Я постарался поставить себя в положение лидера меньшевиков и уголовных сыщиков и задал себе вопрос: мы призывали к резне, гарнизон шел за нами — так почему же он нас не послушался...

И разве тогда остались бы целы подобные господа?..

Следователь не показывается.

Но надо торопиться.

Я нашел показания П. и начал заносить на бумагу наиболее поразительные места.

Через пять минут я откачнулся на спинку кресла.

Это так чудовищно...

А я так устал.

Посмотрел на стену кабинета — ровно три часа...

В кабинете стало еще темнее и как будто холоднее.

Передохнув, я снова нагнулся над бумагами и заработал карандашом...

Со двора, через окно донесся какой-то шум.

Я продолжал писать.

Шум увеличивается. Растет...

Несомненно, что-то необычайное происходит возле главных тюремных ворот.

Согнувшись над столом, я уже не писал, а вслушивался в этот волнующий шум, пытаясь понять и разгадать его...

Погром? Самосуд? Освобождение?.. Другое что?..

А шум растет и приближается.

Это голоса и крики целой массы людей...

В кабинет из канцелярии, через две ступеньки, бледный, как беленая стена, вихрем заскочил мой следователь, вцепился в портфель, выхватил у меня со стола «дело» и в ту же секунду ринулся назад...

Голоса уже заполняют контору.

Вбегает начальник тюрьмы:

— Господин... Товарищ Минин!.. Вас... вас там зовут.

Я поднялся и вышел из кабинета.

Комната наполнена солдатами.

— Где тут Минин?. — обратилось тотчас ко мне несколько голосов...

— Да, вот он! Товарищ Минин, здравствуйте, наконец-то.

Это были уже знакомые солдаты 141-го полка и во главе их незаметный, скромный Черемисов...

Рукопожатия. Поцелуи. Об'ятия...

— Да где же Герман-то?.

— Ерман в одиночке. Я тут один.

— Товарищи, в одиночный корпус, за Германом!

Меня потащили из конторы.

— А зачем вас тут держали? — спрашивают беспокойные голоса.

— У следователя был. Никак не могут закончить дело...

— Ну, вот мы и закончили. Скорей на улицу. Там все ждут. И машина как раз готова.

— Да как же это вас пустили сюда?..— пошутил я.

Наперебой отвечают, горя глазами, сразу несколько человек:

— Да нас было не пустили. Мы подошли, говорим: «отпирай»...

— А они говорят: «отпирать нечем — ключи куда-то затерялись»...

— Ну, так и не надо — сказали мы, — и через ворота перелезем.

— И было полезли. Но тут как раз отыскались ключи. Мы распахнули ворота и прямо в одиночки. Вас там нет. Говорят, позвали в контору. Ну, вот и нашли.

Солдаты-саратовцы протискивались через плотные кольца царицан, крепко жали мне руки, поздравляли.

На пороге, перед выходом из конторы, на меня напала с рукопожатиями и поздравлениями новая группа — эс-эровский президиум военной секции Саратовского Совета:

— А мы услыхали, что у тюрьмы что-то происходит и подкатили сюда как раз во-время. Ну, поздравляем. Не угодно ли на наш автомобиль...

Ермана уже несли на руках.

Его молодое, прекрасное лицо торжествующе, солнечно улыбалось.

Подбрасываемый на руках, он выкрикивал:

— Да здравствует саратовский гарнизон!.. Да здравствует 141-й полк!.. Власть рабочих, солдат и крестьян!.. партия большевиков!.. Долой буржуазию!.. Предателей-меньшевиков и эс-эров!..

И вслед за каждым лозунгом, грохотало «Ура!.. Ура!.. Ура!..», начинаясь от группы, которая несла Ермана, перекатываясь через весь двор и замирая где-то далеко за тюремными воротами, по Московской улице...

Наконец нас поставили на автомобиль военной секции.

Снова приветствия. Опять лозунги. И громоподобное «ура»...

Вся улица по направлению к вокзалу, насколько можно видеть, заполнена солдатами.

— Назад! На площадь!.. Собрание!.. Говорите!..

Окруженные плотной массой наших освободителей, мы медленно подвигались к площади — между губернской тюрьмой и вокзалом. Вокруг нас на машине сидели самые близкие друзья из 141-го полка.

— Как же это все произошло? — спросили мы с Яковом.

— А очень просто, — ответил Черемисов, — сначала вы все знаете, а сегодня собрались и все ждали, не освободят ли вас. А когда сказали, что нет, не освобождают, ну, мы и пошли.

— Да не сразу дошли-то, — дополняет сосед Черемисова: — по дороге нас остановил ваш братец, эс-эр-то, да и говорит — куда вы, зачем идете? Это, дескать, незаконно... И все такое... Мы закричали на него. А он говорит: Минин мой брат, я его хорошо знаю, он против законов не пойдет и сам из тюрьмы не выйдет. Напрасно вы это делаете...

— И вы не послушались такого мудрого советчика...

— Мы сказали: «Знаем, что сам не выйдет. На то и идем, чтобы вывести».

Вот и площадь. Солдаты окружают громадной массой трибуну.

Попрежнему густые тучи ползут над городом. Накрапывает мелкий осенний дождь.

Собрание открывает Черемисов и дает мне слово.

Но... о, ужас. Проклятый следователь украл мой голос. Четыре часа я провел за бесполезным разговором: из-за этого с утра ничего не ел, не пил. И вот теперь нет сил, нет голоса... в такой исключительный и небывалый момент...

Я скоро уступил место Якову.

Дождь основательно начал мешать нам.

Но Ерман успел сказать то, что было нужно.

С редким энтузиазмом он приветствовал организованность и силу освободителей, а потом, как раненый лев, он обрушился тяжелыми ударами на буржуазию, на монархический заговор Корнилова и на их пособников, меньшевиков и эс-эров.

Буря энтузиазма, ураган рукоплесканий были ему ответом...

Митинг окончен. Куда же теперь?

— В комитет большевиков!

И мы тем же порядком, распевая революционные песни, направились по Московской улице, потом по Александровской, до громадного, нового здания «крытого рынка», где в магазине № 10 и помещался наш Комитет.

Подошли. Тут мы простились с нашими избавителями от «нутряных» и «висячих» замков и предложили им разойтись пока по казармам.

Солдаты за все время своего выступления чувствовали себя необыкновенно уверенно и шли наверняка, не опасаясь никаких вооруженных помех. Да и на самом деле, кто же бы смог или рискнул им помешать! Четыре пехотных полка, два пулеметных, артиллерийская бригада... Кто же там остался еще и кто посмел бы?!..

Но длинный день, начавшийся митингом и закончившийся демонстрацией, день, полный необычных переживаний и тоже без еды, без питья, утомил даже крепких, выносливых солдат.

Однако, и теперь они не все разошлись. Довольно большая группа, особенно солдат из 141-го полка, теснилась у дверей комитета и охотно давала раз'яснения о событиях любопытным прохожим...

Сначала в комитете, кроме нас и наших друзей, почти никого не было. Но быстро стали подходить саратовцы - большевики. С одними из них мы были уже знакомы, а с другими тут же, на скорую руку, знакомились и без отдыху отвечали на всевозможные вопросы.

— А где Васильев и Антонов?..

— Они в Совете.

— Надо позвонить по телефону.

Не успели позвонить, как в помещение Комитета уже влетел, размахивая руками, мой сотоварищ по камышинской и золотовской каталажкам — Володя Антонов.

— Га - га - га!.. Так это вы?.. га - га - га!.. — захохотал он.

Обнялись. Расцеловались.

— Га - га - га!.. — продолжал он хохотать, — а мне говорят там... ну, эти словом... Какая - то банда, говорят, идет по городу и двигается к губернаторскому дому, прямо на Совет... ха - ха - ха...

Когда в нашей компании наступило некоторое успокоение, Антонов предложил:

— Вечером, теперь уже скоро, у нас будет заседание Исполнительного Комитета. Приходите туда. Надо будет оформить ваше освобождение.

Мы согласились.

Антонов исчез. А мы начали писать телеграммы.

Я написал две и обе в Царицын: одну — в Комитет, а другую «начальнику связи» Р.

Ерман тоже написал пару телеграмм.

Содержание везде одно и то же:

«Сегодня в 3 часа дня освобождены гарнизоном и, кажется, прочно. Остаемся, чтобы оформить наше освобождение».

Бесконечно усталые, но бодрые, в приподнятом настроении, мы пошли к моей сестре немного отдохнуть и закусить. Сестра жила на Большой Казачьей, № 183, в квартире старой большевички Романенко. Дочь Романенко, Нина, подросток лет 14, тоже приходила к нам на свидание в тюрьму, вместе с моей сестрой Софией, и тоже, как и сестра, осведомляла нас о происходящем в городе. Тем приятнее было нам увидеться с ними со всеми. Наши друзья доставили нас на квартиру и, в полной уверенности, что теперь уже с нами ничего не может приключиться, разошлись по домам.

И вот мы с Яковом остались одни в кабинете частной квартиры, мы, которые надеялись освободиться по амнистии Учредительного Собрания, которых никак не могла вызволить из тюрьмы чисто-юридическая механика, но которые были так легко и просто извлечены из-за решетки сознательной, вооруженной силой массы.

Мы посмотрели друг на друга и только тут, кажется впервые во всем об'еме, поняли и оценили то, что сегодня произошло.

Да и сегодня ли это было? День показался таким длинным, как будто не утром этого дня, а, по крайней мере, вчера или даже позавчера мы гуляли вместе последний раз по квадратному тесному двору одиночного корпуса и перекидывались короткими фразами с нашим часовым-пулеметчиком...

Через какой-нибудь час, когда на улице спускались осенние ранние сумерки, мы с Ерманом, только вдвоем, подходили к губернаторскому дому, чтобы попасть на заседание Исполнительного Комитета и там окончательно, юридически оформить наше освобождение.

«Сейчас закончим», — говорили мы между собой, — «завтра побываем в полках, поговорим, простимся и... надо торопиться в Царицын. Как бы ни закончились выборы в Думу, там нас ждут, работы накопилось много, а потом приедем сюда еще раз и побываем повсюду на собраниях».

«По предложению наших товарищей большевиков Исполнительный Комитет санкционирует наше освобождение, тем более, что такова была и воля пленума Совета Депутатов. А тогда никто не посмеет к нам придираться даже с формальной стороны...»

И уже про себя, не говоря об этом Ерману, я подумал, подходя к дверям залы заседания: «Мы освобождены революционным народом. Освобождены, вопреки желанию центрального правительства. Так бывало иногда и при царизме. И как радовались тогда все товарищи, к каким бы из трех революционных партий они ни принадлежали. Да, а теперь пожалуй, тоже... как эта военная секция...»

Мы открыли дверь и вошли в зал заседания.

Громадный кабинет. Пышное электричество. Ковры, мягкая мебель.

Посередине длинный, большой стол, накрытый сукном.

А за столом весь президиум Исполнительного Комитета под председательством уже знакомого нам меньшевика Майзеля.

— Здравствуйте, товарищи, — сказали мы торжественно.

Антонов, Васильев и другие большевики тотчас бросились к нам.

— Здравствуйте, — сказали сдержанно остальные.

— Присядьте, — холодно посоветовал нам председатель.

Мы выбрали стулья возле края стола и... «присели». Наши большевики тоже расселись по своим местам.

Собрание возобновило обсуждение какого-то для нас совершенно неожиданного и абсолютно неинтересного «очередного» вопроса.

Мы сидим и слушаем...

— Однако, наклонился я к Ерману, — что это такое за чертовщина?

Ерман засмеялся.

Но только было я зашевелился, чтобы сделать наше «внеочередное заявление», как поднялся из-за стола мой брат эс-эр Минин и с конспиративным видом подошел ко мне:

— Сергей, идем-ка на минуту...

Ерман остался, а мы с братом вышли из зала и остановились у дверей.

— Чего ты? В чем дело? — спросил я брата.

— Исполнительный Комитет уже обсуждал ваш вопрос и поручил мне переговорить с вами.

— Так подожди, я позову Ермана.

А когда Ерман, затворив за собой дверь, подошел к нам, чрезвычайный посол Исполнительного Комитета заговорил, наклоняясь монументальной фигурой то к Якову, то ко мне:

— Вы освобождены незаконно. Исполнительный Комитет рекомендует вам вернуться обратно в тюрьму.

— Куда!? В какую тюрьму?!.

— В ту самую, из которой вас сегодня освободила незаконно толпа.

— Не толпа, а гарнизон.

— Нет, толпа... ну, да все равно. Словом, без ведома и санкции властей...

— Как «без ведома»? Вы все отлично знали. А «санкции» вашей, правда, не дождались. Это верно. Так вот мы теперь и пришли сюда за «санкцией».

— Это невозможно... Слушайте: тут же рядом с залой заседания сейчас сидит правительственный губернский комиссар Топуридзе. Он о вашем освобождении пока официально еще не знает. Но как только ему доложат официально, он принужден будет принять свои меры...

— Какие же это меры? Пусть принимает.

— А я все-таки, товарищи, советую вам вот что: вы возвратитесь в тюрьму, Исполнительный Комитет и комиссар тотчас же доложат прокурору, и он вас немедленно освободит...

— Это надо было делать раньше. А теперь чего нас освобождать, когда мы и так на свободе.

— Это лучший выход из положения. Это будет вполне лойяльно и гораздо удобнее для нас и вас.

— Да санкционируйте сейчас же наше освобождение и предложите сделать это же правительственному комиссару. Вот и все.

— Говорю вам, это невозможно, Исполнительный Комитет...

Мы возмутились окончательно:

— Вернуться в тюрьму!.. Да ведь это значит прежде всего глубоко оскорбить и прямо-таки оплевать всю ту массу солдат, которые сегодня пришли к нам и освободили нас...

— Ну, в таком случае, — сказал брат, — перейдите на нелегальное положение.

— Что такое! Куда это!..

— На нелегальное положение. Ну, то-есть, чтобы никто официально не знал, где вы поселились.

— Мы и так не собираемся докладывать о нашей квартире, — сказал я и кивнул Ерману: чего тут попусту время проводить — идем...

Вернувшись в зал заседаний, мы сели на прежние места.

Братец тоже водрузился на свое кресло и о чем-то зашептался с председателем.

Заседание продолжалось, как будто ровно ничего не случилось...

Мы знали, что вслед за этим заседанием в городском театре назначен пленум Совета Депутатов по вопросу о выступлении Корнилова.

Мы с Ерманом посоветовались, и я обратился к председателю:

— Я прошу слова для внеочередного заявления...

Председатель вскочил и с негодованием бросил нам:

— Вам уже говорили: ваш вопрос решен и пересматриваться не будет.

— Тогда мы обратимся к Совету Депутатов.

— А мы закроем заседание и распустим Совет...

Больше нам тут делать было нечего. Мы вышли из «губернаторского дома» и направились к театру. С нами пошел

туда же старый большевик доктор Сергей Иванович Мицкевич. Он проводил нас в литерную ложу третьего яруса, и мы расположились там на креслах за плотными занавесками.

Депутаты уже почти все собрались, а президиума еще нет.

К нам в ложу непрерывно забегают большевики, горячо поздравляют нас, расспрашивают.

Больше всех волнуется Мицкевич:

— А вы слово попросите? Вам выступить необходимо...

— Посмотрим. Там видно будет, — отвечали мы.

— Непременно, — повторил он и куда-то исчез.

Зрительный зал наполнился до краев депутатами и публикой.

Наконец на обширной сцене разместился президиум.

Заседание открыто.

Докладчик-меньшевик говорит о политическом моменте, главным образом — о выступлении Корнилова, о необходимости борьбы с ним — общими силами правительства и демократии. Читает телеграмму о постановлении правительства — повысить вдвое цены на хлеб и с призывом ко всему крестьянству поддержать правительство в борьбе с контр-революцией. Под телеграммой подпись: «Селянский министр Виктор Чернов»...

Мы слушаем эти призывы с большим вниманием и тут же критикуем про себя: «Селянские» политики пошли не дальше царского слуги — Столыпина, который тоже хотел опереться на крестьянство, но под последним разумел исключительно самую реакционную часть его — «крепкого мужичка», деревенского кулака... Кому дается подачка повышением цен сразу вдвое? Кулаку, «крепкому мужичку»... А как это отзовется на крестьянстве, которое само докупает хлеб, и на рабочем классе, который хлеба совсем не производит!.. Чудаки... Проводите 8-мичасовой рабочий день, рабочий контроль, конфискацию помещичьих земель, и от царских генералов и клочка не останется... Не могут. Не в силах. На то они и «селянские» политики. Пустой словесной побрякушкой, да льготами кулакам хотят спасать революцию, не обижая ни капиталиста, ни помещика...

К нам опять забегает Мицкевич:

— Товарищи, разрешите об'явить Совету, что вы здесь. Это куда полезнее будет для борьбы с Корниловым, чем такая пустопорожняя галиматья. Ну, как — об'явить!..

— Об'являйте, что-ли...

Теперь сам председатель собрания, меньшевик Майзель, излагал свое высокое мнение:

— Корниловщина — контр-революция. С ней во что бы то ни стало необходимо бороться. Демократия сильна. Она будет

еще сильнее, когда об‘единит свои силы; товарищи, нам необходимо сплотиться. Мы пойдем вперед общими силами. И тогда...

— Товарищи!!. — вдруг, неожиданно, вопреки всякому «демократическому этикету», появляется перед столом президиума Мицкевич и, обращаясь к собранию, взволнованно и горячо продолжает:

— Мы говорим здесь об опасности для революции. Мы кричим тут (он указал рукой на президиум) о сплочении наших сил, об‘единении и так далее. Но почему, товарищи, мы молчим о том, что сегодня силы нашей прибыло, что сегодня из тюрьмы революционный гарнизон освободил двух царицынских большевиков — Ермана и Минина? Они здесь, товарищи, вместе с нами...

И он торопливым жестом указал на нашу литерную ложу.

Президиум оцепенел, а громадная зала потряслась от рукоплесканий. Все лица повернулись к нам.

Раздвинув занавески, мы подошли к барьеру ложи и поклонились собранию.

Бурные, всеобщие аплодисменты.

И... тишина. Глаза устремились на президиум.

Тогда председатель надтреснутым голосом прокричал:

— Товарищ Мицкевич! От имени президиума об‘являю вам выговор. Во-первых, за то, что вы нарушили ход собрания, во-вторых, за то, что вы перебили речь не просто оратора, а самого председателя собрания... Об‘являю заседание Совета закрытым...

Собрание замерло от недоумения. Опять водворилась тишина.

Все продолжали сидеть на местах.

И в этой тишине, на глазах у всего Совета и публики, меньшевики и эс-эры из президиума похватали свои шапки и портфели и бросились к выходу через кулисы.

— Товарищи! — провозгласил тогда снова все еще стоявший на краю сцены Мицкевич, — от имени партии большевиков об‘являю митинг открытым...

Мы торопились вниз на трибуну.

По дороге нам уже сообщили, что почти все меньшевики и эс-эры, члены президиума, прошли со сцены в коридор и оттуда расселись по ложам, и, таким образом, остались-таки на собрании.

После краткого приветствия по нашему адресу, председатель предоставил нам слово.

И я начал говорить. Собрание застыло от напряжения...

Но вот бывают же такие несчастия в самые счастливые, радостные дни: как и днем на площади, я не мог собрать своего

голоса и чувствовал себя под тяжестью невероятного переутомления...

Разумеется, самое главное, хотя и очень кратко, я сказал.

Вторым опять выступил Ерман.

И я не помню, чтобы когда-либо до сих пор наш Яков говорил с таким необыкновенным под'емом, с такой тяжеловесной



Яков Зельманович Ерман.

силой и с таким пламенем в словах и мыслях — то радостных и солнечных, то злых, бичующих и ядовитых.

Он говорил о генерале Корнилове, но совсем не так, как до него на этой же трибуне только что промямлил докладчик.

Он говорил о революции, но это была тоже совсем не та революция, о которой мы только что услышали от того же докладчика и самого председателя Совета.

Он дальше рассказал еще раз о нашем освобождении, но окончательно поразил он собрание подробной и яркой картиной заседания Исполнительного Комитета, с которого мы бежали, как от чумы, чтобы обратиться за помощью к самому Совету... Но Совет закрыт. Эс-эры и меньшевики дезертировали из своего Совета... Проклятие таким вождям. Позор таким политикам...

Да. Туго пришлось тогда нашим противникам от неистового трибуна Якова Ермана.

И он покорил, завоевал собрание все, целиком. Он так заклеймил, иссек и пригвоздил наших политических врагов, что на этом громадном собрании их было не видно, не слышно: они не подавали голоса, не шевелились, прибитые к земле, уничтоженные...

Собрание в резолюции горячо приветствовало наше освобождение.

Когда мы вышли из театра, небо так же, как и днем, было пасмурно, чуть-чуть накрапывал мелкий дождик.

Группа товарищей провожала нас.

Мы направились к своей квартире на Большой Казачьей.

Но не успели мы отойти от театра двух десятков сажен, как стала приближаться к нам какая-то группа, очень похожая на рабочих.

— Вы что, товарищи! — окликнули мы группу.

— Мы — анархисты. Мы тоже хотели бы проводить вас до квартиры. А то как бы чего не случилось. Теперь, ведь, все возможно.

Мы тотчас согласились и сердечно поблагодарили за внимание.

«Анархисты», держась в некотором отдалении, проводили нас до квартиры и стояли на улице, пока не щелкнул изнутри замок и железный крюк...

Утром 30-го августа нашей первой мыслью было:

— Но чем же кончились выборы в Царицынскую Думу?..

Выборы должны были состояться в воскресенье, 27-го. Неужели так затянулся подсчет голосов... Или просто нам забыли немедленно сообщить?.. Но последнее невозможно, немыслимо. Так почему же нет ни писем, ни телеграмм?..

И мы начали гадать — в какой уж раз! — о том, чего ожидать нам на этот раз от выборов.

Со времени первых выборов, 9-го июля, произошло в стране и в городе много крупных событий. Как они отразятся на составе новой Думы?

Одно несомненно, что как по всей России, так и у нас широкая рабочая масса, крестьянство и армия должны покатиться ши-

рокой волной к нашей партии. В Царицыне такой процесс был особенно заметен после подвигов нашей местной «корниловщины» под командой Корвин-Круковского и Корни-де-Бада. Генеральная забастовка 16 августа доказала это даже политически слепым и глухим обывателям.

Но, с другой стороны, не могли не отразиться на выборах отрицательно и репрессии в атмосфере осадного положения. Арестованы мы с Ерманом. Оторваны от работы еще не меньше десяти крупнейших организаторов-большевиков. Закрыта «Борьба», сам собой по-неволе перестал выходить после 3-го номера и «Листок Борьбы». Свобода слова, собраний, печати для нас придушена. А главное, самое главное то, что из города выкинуты целых два полка наших избирателей и наших славных агитаторов.

Кто заполнит и кто возместит для нашей организации такую огромную потерю?..

9-го июля на 102 гласных было избрано 38 большевиков.

Подводя теперь итоги нашим соображениям о всяких возможностях, мы в конце концов пришли к твердому убеждению, что и на этот раз большевиков попадет в гласные Думы никак не меньше 38 процентов.

Однако, как же мы доберемся до Царицына?

Выехать из Саратова ничего не стоит: сели на первый попавшийся пароход и поехали... Но ведь нас могут арестовать на первой же пристани, если не на «Увеке», то в каких-нибудь «Синеньких», или в том же кулацком селе Золотом или в том же мещанском Камышине...

Здесь мы неприкосновенны. В Саратове за нами колоссальная вооруженная сила. Тут мы—освобожденные народом революционеры. А за чертой города мы — беглые преступники, «незаконно» выпущенные из «заслуженной тюрьмы» «преступной бандой»...

Не оставалось ничего больше, как опять направляться в Совет за «амнистией».

В бывшем губернаторском доме прежде всего мы узнали о том, насколько проницателен оказался комендант тюрьмы. Правда, не все уголовные арестанты одиночного корпуса разбежались, но, во всяком случае, самые крупные, самые преступные элементы скрылись. Уголовники гораздо лучше учли ситуацию, чем эс-эры и меньшевики. На улице, идущей мимо тюремных стен со стороны, противоположной главному входу в тюрьму, уголовных к назначенному для нас гарнизоном часу уже ожидали подводы и «вольное» платье. И когда солдаты, отыскав меня и Ермана, да кстати захватив и остальных политических заключенных, двинулись к воротам, в этот момент уголовники бро-

сились по двору в противоположную сторону, перескочили через забор, переоделись и спокойно разошлись и раз'ехались по своим трущобам.

Знал ли об этом «официально» губернский правительственный комиссар меньшевик Топуридзе?!..

И вот мы снова предстали пред очи меньшевика Майзеля и эс-эра Минина. И снова, как накануне, затянули они юридическую волынку:

— Вернитесь хотя бы только на полчаса. Вы даже в камеры не будете заходить, а как только войдете в контору, позвоните нам по телефону. И мы тотчас же позвоним прокурору. Он приедет и официально освободит вас.

Мы видели, что им дорог был теперь уже не столько «престиж власти», который они так ревниво оберегали, сколько... самообман престижа.

— Да что вы тут с ними разговариваете! — сказал М. И. Васильев, когда мы, выйдя, от «лидеров» меньшевиков и эс-эров, встретили лидера большевиков: — Едем на гарнизонный митинг в Военный Городок...

— Едем-то, едем, — ответили мы, — но надо же нам и к своим выбираться.

Собрание солдат было грандиозное. И мы еще больше заклеймили поведение меньшевиков и эс-эров и раз'яснили их преступное поведение.

В тот же день, идя по центральной части города, мы с Ерманом встретили группу незнакомых солдат. Один из них отозвал меня в сторону и сказал:

— Сейчас мы были в городской медицинской комиссии, и я слышал, как врачи и военные говорили между собой, будто от Керенского пришла телеграмма: арестовать вас и ночью перевезти в Москву...

Мы посоветовали солдату передать об этом в Городке Черемисову или еще кому-нибудь из наших.

Но про себя мы с Яковом решили, что если такой план, действительно и был у Керенского или Топуридзе, никто не решился бы его осуществить: не такова была ситуация...

Нас усердно приглашали на рабочие и на военные собрания. И мы неустанно вели агитацию и пропаганду «по-царицынски».

А наши слушатели просили нас подольше оставаться в Саратове...

Но вот, наконец, пришла телеграмма о результатах выборов в Царицынскую Городскую Думу:

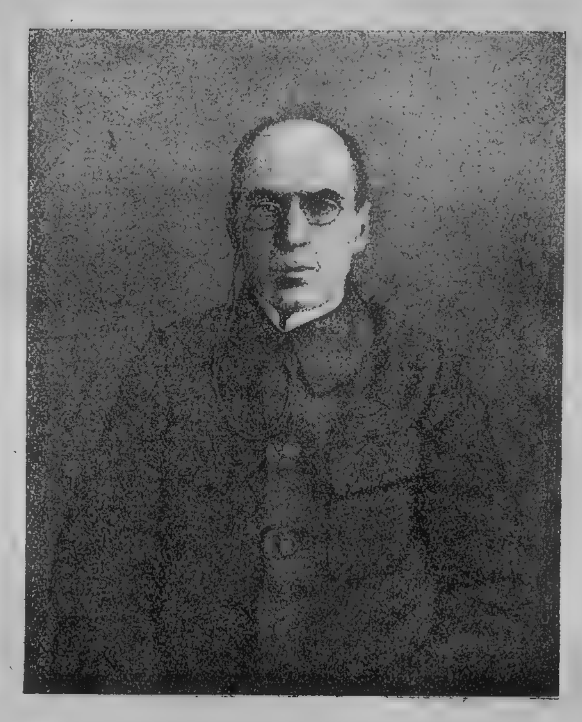
Из «блока меньшевиков и эс-эров» избрано — вместо 26 гласных (9 июля) — только 17.

А из большевиков избрано, вместо 38 гласных, целых 45...

Остальные 40 членов Думы (из 102-х гласных) распались на целый десяток мелких буржуазно-купецких и поповских групп...

Да. Это — полная победа...

44 — 45% Думы большевики!..



М. И. Васильев.

Городской голова и председатель Думы — должны быть большевики...

Наша фракция — самая сильная: при организованности нашей фракции и при раздробленности остальных гласных на целую дюжину партий, за большевиками всегда или почти всегда обеспечено большинство...

А скоро мы одержали победу и на дипломатическом фронте: видя, что с нами ничего не поделаешь и что каждый день, оставаясь в Саратове, мы еще больше подрывали «престиж», сара-

товские меньшевики и эс-эры надумали «компромисс», который мы с Ерманом и приняли довольно охотно:

— Идите, — сказали нам «лидеры», — к судебному следователю, дайте с каждого по двести рублей, и следователь... «изменит меру пресечения» и освободит вас под залог.

Мы так и сделали, уплатили в пользу правительства наших дорогих товарищей «социалистов» контрибуцию в размере четырехсот «серебреников» и получили зато на руки «выкупные свидетельства»...

А затем... затем направились мы с нашими узлами и свертками на пароходик «Ваню»...

Этот небольшой буксирчик был нам в тысячу раз дороже и милее роскошного громадного теплохода «Багратиона».

Могучие дизеля «Багратиона» мчали нас из оккупированного Царицына в саратовский плен.

А паровая машина дяди «Вани» извлекала нас теперь из «социалистической» казенной паутины и возвращала опять в революционный и свободный город.

Пароходик «Ваня» был «реквизирован» у какого-то частного владельца в Царицыне и послан был специально за нами под охраной самых надежных и боевых рабочих-большевиков.

На передней палубе пароходика — просторная каюта — «рубка». Внутри нее, на обширном деревянном столе, — развернутые бумажки с колбасой, маслом и копченой рыбой. Под ножом трещат ломти яркокрасного арбуза. Непрерывно сменяются чайники с кипятком. А вокруг стола... не «товарищ военного министра — Маниковский», не эсаул с оренбуржцами или юнкерами, а... коренные пролетарии, испытанные большевики...

И кипит беседа, полная жгучих и сочных воспоминаний о только-что пережитом...

А на следующий день, осторожно обойдя и столь знакомое нам село Золотое и столь памятный город Камышин, мы ровно в шесть часов утра «ступили», наконец, опять на родную царицынскую почву.

VIII. Совет и Дума большевиков.

Январь — февраль: царизм.
Март — 18 апреля: буржуазия.
Апрель — май: меньшевики и эс-эры.
28 мая — 20 июля: большевики.
Конец июля — конец августа: Корвин-Круковский и Корни-де-Бад...

Ну, а дальше кто? Чья очередь?
Кому вручит судьба диктатуру?
Помещики и капиталисты...
Кулаки и мещане...
Рабочие и солдаты...
Наконец — «иностранцы» — юнкера и казаки.

Все классы и все партии, вплоть до «оккупантов» от правительства, подходили по-очереди к экзаменационному столу и на глазах всего населения держали испытание на аттестат политической зрелости.

За восемь месяцев... Пять режимов, пять диктатур...

Да разве когда-нибудь и где-нибудь обучала история широкие массы политике так близко, так наглядно и так головокружительно быстро...

И не только рабочее большинство населения города приходило к очевидному сознанию: «Только мы должны будем и сможем управлять», но одновременно и все враждебные классы и группы проникались твердым убеждением в своем провале, в своей неспособности к политическому руководству, а также — в силе, росте и тактичности пролетариата и родственной ему подлинной революционной демократии.

500 юнкеров и 500 казаков с их пулеметами, орудиями и полковником все еще оставались в городе и все еще гнездились в своей «крепости» — в казармах «Студенческого Подготовительного Батальона». Но... куда девался их политический задор и военный пыл!.. Они были прибиты, удручены, парализованы. Их военная диктатура свелась к нулю. А сам генерал-губернатор, их полководец — Корвин-Круковский, засел в своей квартире, в «Столичных Номерах», спустил на окнах занавески и сказался тяжко больным.

Да и разве могло быть иначе?..

Ведь, экспедиция приехала из благонамеренного и преданного правительству Саратова, куда и отправила для надежности «самых преступных главарей». А... Саратов освободил их из тюрьмы...

Экспедиция приехала в «анархический» Царицын, чтобы водворить свой «революционный порядок». А этот самый... усмиренный полковником и облагороженный юнкерами и казаками город поднял выкинутых из него «арестантов» на ответственнейшие посты...

Да, еще как!.. Несмотря на режим военной диктатуры и путем всеобщего голосования...

Казармы 141-го полка теперь занимал 172-й Финляндский.

А на место 155-го был прислан и расквартирован 241-й запасный полк.

Эти свежие и преданные Временному Правительству полки предназначались быть могучей опорой для полковника и солидной базой того же «революционного порядка», который насаждал эс-эр Корни-де-Бад.

По прибытии в Царицын полки были встречены лидерами меньшевиков и эс-эров.

Но... увы!.. Основная масса солдат и этих полков тотчас же потребовала представителей всех партий, а потом... потом либо держалась нейтрально, либо сочувствовала большевикам...

Словом, не даром комиссар от Керенского, легкокрылый «Кор-де-Балет» уже куда-то выпорхнул из города, а тяжеловесный полковник сказался тяжело больным: он имел все основания заболеть еще более тяжело...

В первый же день после нашего возвращения в Царицын какая-то группа солдат, встретив нас на улице, горячо приветствовала нас и тотчас потребовала немедленного освобождения остальных арестованных большевиков — Петухова, Горбунова, Бурдакова и других.

Да. Они так и сидели еще за решеткой.

Могли ли мы освободить их? Очевидно, могли.

Однако, мы решили попытать сначала разрешить вопрос мирно.

Федотов был тогда уже начальником местного гарнизона.

И вот мы трое, Федотов, Ерман и я, направились к прямому проводу на телеграф.

Не долго длились наши переговоры.

Федотов очень скоро доказал казанскому военно-окружному начальству, что арестованные большевики должны быть немедленно освобождены, в противном случае они будут выведены с гауптвахты самими рабочими и солдатами.

И штаб округа дал свое согласие.

Ликованию рабочих не было конца...

А наша организация росла и крепла по часам.

Вся Россия тогда начала оттаивать от июльских морозов.

Льды реакции дали трещины и тронулись по всей стране.

Меньшевики и эс-эры повсюду разоблачались, как подлинные слуги помещиков и капиталистов.

И повсюду с каждым днем большевики отвоевывали все новые и новые позиции.

Рабочая и солдатская масса «левела», росла, все теснее примыкала к большевикам и все быстрее организовывалась под их руководством.

Но Царицын... Этот молодой пролетарский центр Юго-Востока и Нижней Волги... Он уже закончил свое политическое образование. Он уже сдал зачеты по всем пяти классам великой школы классовой борьбы и, наконец, путем оружия в Саратове и посредством избирательного бюллетеня у себя дома уже к началу сентября сдал выпускной экзамен на полную политическую зрелость.

По всему городу — собрания...

Докладчики — освобожденные большевики.

Суть докладов — повесть об аресте, заключении и революционном выходе из тюрьмы. И выводы: о роли классов и партий. Особенно же — о меньшевиках и эс-эрах. Полгода... Только полгода. Но эс-эры и меньшевики сделали все возможное в их положении, чтобы себя политически обнажить и, на глазах народной массы, изобличить себя до конца. Их скрытая тяга и тайная страсть помогать эксплуататорам становилась теперь очевидной, кристально-прозрачной и легко осязаемой даже для многих и многих из самых отсталых рабочих, солдат и крестьян.

Буржуазно-плехановская газета «Волго-Донской Край» и в стихах и в прозе издевалась над этими праздничными собраниями, что-де в цветочных магазинах раскуплен весь товар и что никогда никаким артистам не подносили так много цветов, как освобожденным большевикам.

Еще бы. Ведь это была радость окончательно прозревших, это была радость полной победы и никем неодолимой силы.

Царицын?.. Тут обессилен враг, и никто не посмеет отныне поднять руку на партию большевиков, на рабочих, на гарнизон, или на крестьян.

А ближайший тыл?! Что теперь Царицыну какой-нибудь офицерский городок Камышин или кулацкое село Золотое, когда сам могущественный гарнизон города Саратова фактически заключил военный союз с революционным Царицыным и не только освободил его большевиков, но, при первом появлении корниловских отрядов под боком у города в донских округах, послал военную подмогу на специальном большом пароходе...

Отряды корниловцев оказались, впрочем, незначительны и были разогнаны собственными силами Царицына, при чем были взяты даже трофеи. И пароход с крупной военной силой и техникой был отправлен с благодарностью обратно в Саратов.

Казанский Военный Округ? Но он сам дал санкцию на освобождение арестованных юнкерами и казаками большевиков.

Центральное правительство?..

Но ему было не до нашего города, ибо «Царицыны» вырастали теперь по всей стране, и волна большевизма поднималась каждый день все выше и все грознее...

В Бюро Совета Депутатов меньшевики и эс-эры все еще были в большинстве. А председателем Совета все еще оставался меньшевик Ш.

Но они уже были не те... Одни из них, как меньшевик Г., заметно полевели и ближе, чем когда-либо, подходили к нам. А другие не могли не считаться с действительным соотношением сил.

Бюро постановило: вызвать «начальника особого отряда» Корвин-Круковского и потребовать от него вывести его отряд из города.

Но полковник не явился: болен.

Через день-два приглашение повторено.

Но... Полковник заболел еще тяжелее...

Тогда Федотов направился в Казань и, на основании секретного предписания штаба округа, казаки и юнкера как-то незаметно и бесшумно очистили город и вернулись по своим местам: юнкера — в школу, а—казаки в свою дивизию, расположенную недалеко от Саратова.

В первой же половине сентября был переизбран Совет Депутатов. И теперь как в Совете, так и в его Исполнительном Бюро большинство определенно принадлежало рабочим, солдатам и крестьянам — большевикам.

И с каждым днем росла, обучалась и вооружалась за счет полков и оружейных магазинов специальная вооруженная сила Совета Депутатов — его Красная Рабочая Гвардия...

Городская Дума...

После Совета это второй и зависимый от первого орган политической власти.

Но теперь силою вещей Дума выдвинута на первый план.

Совет, как орган чистой политики и вооруженной силы, твердо стоит на страже интересов рабочих и солдат города и крестьянской массы уезда и всего окружающего района по обоим берегам Волги.

Но Совет не имеет хозяйства, и его финансовые обороты ничтожны.

Это боевой орган пролетарской диктатуры.

Не то — Дума.

У нее громадный бюджет. Она — хозяин целого ряда крупнейших и ценнейших городских предприятий и учреждений. И в ее распоряжении крупная масса рабочих и служащих самых разнообразных специальностей и квалификаций — от чернорабочих до бухгалтеров и инженеров, от электриков и трамвайщиков до сторожей и учителей народных школ.

До победы над классовыми врагами даже большевистская Дума была бы слабой, бессильной.

А после победы даже большевистский Совет Депутатов проявил бы себя жалким и никчемным банкротом, если бы не взялся тотчас же за применение на практике своей революционной программы в городском хозяйстве и во всей муниципальной жизни и работе.

Разогнать Думу и взять на себя ее функции?

Или заставить ее насильственно подчиниться Совету и проводить его политику?..

Да. Такой вопрос и такие задачи неизбежно стали бы перед нашим Советом, если бы... если бы «всеобщее голосование» не дало нам и в Городской Думе большинства.

Но такое большинство было на-лицо.

Ибо 45 большевиков на 102 гласных, при нашей организованности и дисциплине, — это и есть обеспеченное и прочное большинство.

И этим задача нашей организации была облегчена в огромной степени.

Больше никаких переворотов. И никаких исключительных мер.

И в Совете и в Думе большевики руководят и управляют на самом законном основании — на основании законов и «обычного права» самого Временного Буржуазно-Кулацко-Мещанского Правительства.

Не в этой области были наши затруднения.

Справимся ли мы?.. — Вот вопрос, который беспокоил многих членов нашей организации.

«Это вам не агитация с пропагандой!» — говорили и писали чистокровные буржуа и их приятели из меньшевиков и эс-эров.

Перед выборами в Думу для своего списка 102-х кандидатов мы собрали все наиболее работоспособное и авторитетное в нашей организации. И из этих 102-х — целых 45 оказались «отцами города».

Нечего говорить, что очень многие из этих «отцов» были и слишком молоды и слишком неопытны. Да и все 45 без из'ятия были очень молодыми и зелеными новичками в управлении хозяйством города с его двухсоттысячным населением.

Но мы сравнивали этот авангард нашей организации с авангардами других партий и говорили себе:

— Как бы там ни было, но в настоящий момент никто не сможет лучше управлять городом в интересах трудовой массы населения, как именно мы — большевики.

Перед первым заседанием новой Городской Думы заседала наша думская фракция, в которую входил и весь наш Комитет.

Принято было три основных постановления:

I. Городской голова и председатель Думы должны быть большевики — Минин и Ерман.

II. Большинство Городской Управы должно быть также из большевиков.

III. Наша организация обязывается соблюдать железную дисциплину и на каждое заседание Думы являться во что бы ни стало в полном составе.

Итак, вот оно — первое заседание Городской Думы, избранной «всеобщим, равным, прямым и тайным» голосованием...

Час настал. Скоро начнется заседание.

Меньшевики и эс-эры — один блок — 17 гласных.

Наши 45 заранее должны договориться с ними.

И тогда эти 62 голоса, почти ровно $^2/_3$ всей Думы, вполне законно и беспрекословно заставят итти за собой остальную разнокалиберную и разношерстную правую треть, а исполнительный орган — Управа — и руководящие посты будут обладать непререкаемым авторитетом для всей Думы и для всего населения города.

Городской голова — большевик.

Как это ни звучало дико и чудовищно для черносотенцев и даже для меньшевиков и эс-эров, — с этим фактом постепенно стали примиряться и к нему привыкать уже после первых выборов 9-го июля.

А мы, во имя единства «всей революционной демократии», как продолжали себя величать эс-эры и меньшевики, со своей стороны не возражали, чтобы из двух «товарищей городского головы» были — один меньшевик П., а другой эс-эр — Косолапов.

Председатель Думы — Яков Ерман.

Молодой, 23-хлетний, непримиримый большевик.

Это был новый и тяжелый удар. И не только для черносотенцев, но также и для «революционных демократов».

Но и с этим фактом пришлось помириться и кое-как привыкнуть к нему после выборов 27 августа.

А мы, во имя большинства в две трети, также шли на уступку и не возражали против «товарищей председателя Думы» — эс-эра Котова и меньшевика Г.

Словом, по этим двум коренным вопросам диспутировали мы недолго и скоро достигли единогласия.

Городская Управа.

— Большинство, разумеется, большевики, — заявили представители нашей фракции.

— Как!? — возопил тогда П. — Нет! Наш блок на это не пойдет.

— А на что же вы пойдете?

— Большинство должно быть наше!

Мы уже давно привыкли к беспочвенной требовальности лидера меньшевиков. Но такая претензия показалась нам сверхъестественной даже в устах П.

— На каком же это основании должно быть ваше-то большинство?

— А на каком основании должно быть ваше, — отвечает П. — Ведь вас только 45 из 102-х, то-есть меньше половины. Как же вы можете выражать интересы всей Думы!?

— Да мы и не собираемся обслуживать интересы всей Думы. Мы имеем в виду только «социалистов» и тех, кто их выбирал, а тут мы в подавляющем большинстве.

— Нет. Мы не согласны.

— Но вы забываете, что у всего вашего «блока» только 17 человек из 102-х гласных Думы.

— Но у вас и городской голова и председатель Думы.

— Так. Но у вас по паре «товарищей» и городского головы и председателя Думы. Это на 17-то гласных. Чего же вам больше?

Но «блок» твердил свое и закончил дискуссию ультимативно:

— Большинство должно быть наше. В противном случае мы совсем не будем работать в Управе.

Когда-то меньшевики отказались помещать в «Известиях Совета» наши статьи, а потом, будучи ничтожным меньшинством, требовали своего участия в партийном органе «на паритетных началах»...

Когда-то меньшевики имели полную возможность в «обновленной» Думе получить пост городского головы, но не захотели потому, что-де и кадет «Кленов не так уж плох». А теперь меньшевики и эс-эры хотели подорвать в Думе наше законнейшее руководство.

Одним словом, уступать буржуазии, когда нет никаких оснований для уступок, и наступать на большевиков, когда, кажется, нет никаких «прав» и никакой почвы для наскока — такова тактика «социалистов», тактика неустанных пономарей так называемой «революционной демократии»...

Но факт остается фактом — ультиматум:

— Или дайте нам большинство в Управе, или управляйте городом вы одни, большевики...

Мы покинули маленькую комнатку во втором этаже, против зала заседаний, в которой происходило совещание лидеров «социалистических» фракций, и поднялись в третий этаж, в комнату бухгалтерии, где нас дожидалась фракция большевиков.

Ерман и я изложили, как обстоит дело с Управой, и предложили фракции: «блоку» не уступать, а если «социалисты» будут упорствовать, то составить Управу из одних большевиков.

Началось обсуждение.

Высказываются многие, и большинство ораторов склоняется... к уступке, к соглашению с «блоком» на его условиях.

Еще и еще раз доказываем мы с Яковом, что это недопустимо, что это противоречит нашей победе на выборах и нашему большинству в самой Думе, что нелепо будет положение и городского головы и председателя Думы, когда большинство в исполнительном органе Думы будет принадлежать ничтожной фракции из 17-ти человек. Наконец, говорили и о том, что ультиматум блока, возможно, только запугивание и что сами эс-эры и меньшевики в последний момент принуждены будут согласиться. А если даже и не согласятся, то мы и одни справимся.

Целый ряд ораторов поддерживает нас. Но большинство опять-таки зовет к уступке:

— Трудное дело. Нам одним не справиться...

И это говорили те самые, кто считал для себя самым легким делом брать власть в Совете и биться за нее с оружием в руках.

А, между тем, за нами снизу посылают одного гонца за другим:

— Скорее. Пора начинать заседание. Дело только за вами.

Голосуем. И... большинство поднимает руки за уступку «блоку»...

— Ну, в таком случае, товарищи, — вырывается у кого-то с горечью, — мы действительно пока еще не доросли.

Благовоспитанный и «породистый», по словам буржуазных газет, торговец железом Кленов, как глава прежней и новой «обновленной» Думы, не без волнения открывает заседание, без особой радости приветствует Думу, избранную по новому закону, и не без скрытой горечи, но торжественно заявляет о передаче прав и полномочий...

При выборах — закрытая баллотировка шарами.

Голосовали каждого кандидата персонально.

Все шло очень гладко.

Только при выборах в Управу меньшевика П. произошло маленькое недоразумение: П. еле прошел.

При двух третях нашего «тройственного согласия» и... еле прошел.

— Это безобразие. Вы срываете наше соглашение, — горячился в кулуарах П.

— В чем дело? Почему вы не голосовали все? — спрашиваем мы своих товарищей по фракции; — ведь, это нарушение дисциплины.

И некоторые совершенно искренно покаялись тут же:

— Не могли... Ну, не могли за него голосовать... за других еще так-сяк, но за П... Рука не подымалась.

Так или иначе, но все кончилось, как было намечено.

Кленов сошел с трибуны и, как рядовой гласный, опустился на стул на крайне-правом секторе Думы.

А мы, новый президиум и новая Управа, поднялись на возвышение и спокойно и с улыбками расположились вокруг стола.

Президиум Думы:

1. Председатель Думы — Ерман, большевик.
2. Товарищ председателя — Генкин, меньшевик.
2. Товарищ председателя — Котов, эс-эр.

Городская Управа:

1. Городской голова — Минин, большевик.
2. Товарищ городского головы — Д. Полуян, меньшевик.
3. Товарищ городского головы — Косолапов, эс-эр.

Остальные члены Управы:

4. Заведующий торговлей и рынками — Павлюков, большевик.

5. Заведующий трамваем, освещением, водопроводом, канализацией — Столповский, меньшевик.

6. Заведующий народным образованием — Колгин, эс-эр.

7. Заведующий обеспечением семейств мобилизованных — Бабак, большевик.

8. Ивашкевич — меньшевик.

9. Кацнельсон — большевик.

И Ерман повел заседание.

Перед моим креслом на столе блестящей горкой расположилась, как будто в недоумении, серебряная с потертой позолотой цепь — символ авторитета и власти городского головы.

Благочестивая, монархически настроенная цепь, много видавшая на своем веку, как будто с тревогой поблескивала под огнем электрических ламп и опасалась, что теперь вот эти новые неведомые люди нанесут ей жестокое и несмываемое оскорбление.

Но мы, большевики, переглянулись, потрогали цепь руками, посмеялись и оставили эту драгоценность лежать в покое: не только никто не надел ее на себя, но даже... никто из большевиков не стащил ее к себе в карман, чего, наверно, опасались господа буржуа.

Так вот и принялись мы за эту работу, которая до сих пор была монополией крупнейших домовладельцев — сначала

черносотенцев, а потом кадетов, — и в которой мы первые дни чувствовали себя одинокими и совершенно неопытными новичками.

Из газет мы знали, что большевики победили и избрали из своей среды городских голов еще в Луганске, Иваново-Вознесенске и в Красноярске. Но ни от них что-либо получить, ни им из своего опыта что-либо дать мы не могли.

Приходилось руководствоваться целиком собственным опытом и разумением.

После неистовой борьбы классов и партий в городе наступило успокоение, «социальный мир». После грозовой, накаленной атмосферы наконец-то засверкали мягкие, солнечные лучи — правда, не над головами тех, кто призывал этот «социальный мир» и кто хотел его использовать исключительно для себя.

После выборов Совета и его президиума, а особенно после избрания всеобщим голосованием Думы и ее исполнительных органов, после ликвидации вооруженных сил буржуазии, как мелкой, так и крупной, — о чем, о какой борьбе могли мечтать у нас теперь капиталисты, буржуазные интеллигенты, попы и все их партии?!

Одна только мелкая, будничная, повседневная борьба в Думе по второстепенным вопросам, да и то без особенной надежды на успех.

Вот она — Дума...

Левый «сектор», то-есть целая половина, — 45 большевиков.

Центральный «сектор», точнее — узкий клинышек розово-желтого цвета, — 17 эс-эров и меньшевиков.

И... правый сектор — из 40 членов чуть не целого десятка фракций, по существу мало согласимых и об'единенных только затаенной ненавистью к большевикам.

Тут сидят и три попа во всем своем великолепии и рядом... бывший председатель Городского Исполнительного Комитета врач Розанов. Тут — бывший городской голова кадет Кленов (как и Розанов — член Государственной Думы), и бывший городской голова домовладелец и черносотенец Пятаков и рядом... первейшие местные адвокаты: «народный социалист» Федоров и бывший эс-эр Перфилов. Тут кадеты-инженеры и мелкие домовладельцы, чиновники и им подобные всякие другие.

Дума не была точным зеркалом населения.

Население было левее.

Удельный вес правых не соответствовал на деле их 40%, и они прекрасно это понимали.

Правда, их было 40, а нас 45, т.-е. только на пять голосов больше. При вечных колебаниях «золотой середины» из

17-ти меньшевиков и эс-эров, правые могли бы не раз и по серьезным вопросам урвать себе большинство, присоединив к себе голоса из «блока». Но гораздо больше было шансов за то, что «социалисты» будут итти за «социалистами» же большевиками.

Большевики это единое целое, правые не организованы.

Руководящие посты за большевиками.

И только в Управе — уродливое большинство из представителей ничтожного «блока»...

Со следующего дня после первого заседания Думы, я приходил в помещение Управы для работы уже в качестве городского головы.

И тут мы скоро убедились, что «социалистическое» большинство в Управе не представляет для нас ровно никакой опасности. Один раз в неделю Дума и один раз в неделю Управа. Меньшевики и эс-эры усвоили себе, во-первых, очень здоровую мысль, что им нет никакого смысла проводить какие-либо свои предложения против нас в Управе, чтобы через два-три дня эти же предложения были вынесены в Думу и отвергнуты там нашим большинством.

А во-вторых: мы очень скоро убедились, что мы получили пост городского головы по наследству и по традиции с такими большими правами и полномочиями, о которых мы и не знали раньше. Не только между заседаниями Думы и Управы городской голова — это вершитель всех срочных дел, но и независимо от того он пользовался в городских делах громадным влиянием, например, хотя бы уже потому, что как смещение, так и назначение всех служащих городской Управы зависело почти исключительно от него.

А так как городской голова был одновременно и председателем Совета Депутатов, то тем более было у эс-эров с меньшевиками оснований работать с нами в Управе очень дружно и согласованно...

Словом, началась мирная, спокойная, «органическая» работа.

Однако, через несколько дней мне сообщили, что служащие городской Управы волнуются, как следует не работают и что среди них царит паника, так как они ждут поголовного увольнения.

До известной степени паника эта имела свои основания: годами, а то и десятками лет эти служаки привыкли работать на определенную группу господ-домовладельцев и работали так, как это требовалось от них — с подобострастием и раболепием. Эти отвратительные черты тотчас же бросились нам в глаза, как только мы вступили со служащими в деловые отношения.

Политически служащие в большинстве тоже были настроены против большевиков. Большевиков же они знали до сих пор по их непримиримой и стремительной борьбе за свои цели.

И вот, когда привычные командиры, многолетние отцы и благодетели, оказались прибитыми к тесному и жалкому правому уголку Думы, служащие пришли к естественному заключению, что почва под ногами рухнула и что им приходит конец...

Тогда мы назначили в зале Думы собрание, пригласили на него работников Управы и учителей городских школ.

Как городской голова и большевик, я изложил собранию свою, так сказать, декларацию:

— Вы опасаетесь поголовного увольнения. Этими нелепыми слухами и сплетнями расстраивают вас наши и ваши враги. Что случилось? До сих пор вы работали на кучку домовладельцев. Теперь вы будете служить подавляющему большинству населения и прежде всего рабочему классу. И разве теперь ваша работа не станет во много раз ценнее, плодотворнее, благодарнее... Материальное положение ваше мы постараемся улучшить, особенно для низших категорий. От вас, кроме работы, требовалось подобострастие и подхалимство, при назначениях и увольнениях процветало кумовство. А теперь к вам отношения будут чисто деловые и товарищеские. И никто уволен не будет. Правда, мы потребуем более серьезной работы. И вот, если кому покажется работа тяжелой или если кто сам для себя найдет работу при новых условиях почему-либо невозможной, те пусть подают заявление, и мы удовлетворим их просьбу об увольнении. Но сами мы увольнять не думаем и не собирались, кроме как в тех случаях, когда будут доказаны в отношении к работе полное пренебрежение или, тем более, преступный или корыстный подход...

Собрание подействовало на служащих успокоительно. Они принялись за дело, и с тех пор в этой области не наблюдалось никаких особенных недоразумений или осложнений.

Специалисты...

Все эти статистики, архитектора, бухгалтера, преподаватели, инженеры и прочие...

Использовать ли их? Частично уволить или разогнать поголовно?

Такие вопросы не волновали, не раздирали нашу организацию. Эти вопросы даже не ставились нами. Ибо для всех нас было очевидно само собою: чтобы повести работу не хуже, чем раньше, необходимо, чтобы специалисты остались на своих местах, необходимо, чтобы они втянулись в нашу общую работу в направлении нашей муниципальной программы. А если

придется кого-либо увольнять или замещать, то, конечно, только в случаях прямого противодействия Думе и Совету или в случаях полной неработоспособности специалиста и при возможности лучшей кандидатуры.

Лишь ничтожное меньшинство из специалистов сочувствовало нашей партии, а главный бухгалтер Управы и гласный Думы, «народный социалист» Литвиненко скоро об'явил себя большевиком и пополнил нашу думскую фракцию.

Подавляющая же масса специалистов была тайным или явным, мягким или злобным противником большевиков.

Тем не менее специалисты заработали на своих постах с усердием, по крайней мере не меньшим, чем в «старое доброе время» при господских думах.

Да и что им больше оставалось делать?..

Муниципальная машина заработала без перебоев.

На первых порах каждый день работа городского головы-большевика начиналась с двух хвостов: одного еще на улице, перед зданием Управы, а другого — перед дверями моего кабинета.

В качестве «средства передвижения» я получил по наследству экипаж и пару великолепных кровных рысаков, которыми солидно и лихо управлял почтенный Яков Филиппович — кучер с большим управским стажем. Яков Филиппович с первого же дня не только не проявил какого-либо саботажа, но целиком и полностью признал авторитет нового городского головы. Тут же он рассказал мне, что ему приходилось возить много городских голов, а во время февральского переворота он «прокатил» самого полицмейстера... в тюрьму...

И вот подкатывая к Управе на рысаках или просто подходя пешком, я уже издали слышал резкие голоса:

— Вот он. Приехал. Товарищ-голова!..

И тут начинались бесконечные и горестные жалобы и просьбы тех, кого осиротила и разорила царская война.

Это была толпа и длиннейшая очередь усталых и изможденных матерей, жен, сестер, дочерей тех, кто был призван в армию и либо еще оставался в войсках, либо уже выбыл оттуда, как убитый или искалеченный.

— Товарищ-голова. Опять не дают. С раннего утра тут... Пособите...

— Тут проходил товарищ П... Мы к нему. А он говорит: идите к Минину: он — голова.

Я, конечно, был «голова», но он-то сам П., ведь, тоже как-никак — «товарищ» головы.

А поступал «не по-товарищески».

Захожу в комнату первого этажа, куда уперлась голова очереди и откуда выдают обыкновенно пособия.

— В чем дело? Почему задерживаете?

— Нет мелких денег.

— Так разменяйте.

— Пытались. Нигде не меняют.

Нажимаем на банки, и «способие» раздается.

Во втором этаже Управы я встречаю другого рода «хвост», который меня не узнает и молча пропускает мимо. Колонна эта начинается от коридора, тянется через угол общей канцелярии, через комнату членов Управы и молча упирается в самую дверь моего кабинета.

Какие-то заплаты и лохмотья вместо одежды.

Начинаю принимать.

Оказывается, большинство из них — отчаянная голь и нищета. Одни пришли за подачками, к которым некоторых из них приучили прежние городские головы-филантропы. А другие пришли потому, что по-своему поняли большевиков и истолковали себе их победу: большевик это — друг и защитник угнетенных, и он может и должен помочь немедленно всем и каждому...

Попадались в этой очереди и рабочие, которые приходили за советом в семейных делах. Были тут и всякие изобретатели. Наконец, терпеливо дожидались тут и разные господа и дамы, которые когда-то принадлежали к «приличному обществу», но по тем или иным причинам разорились и теперь от нового головы ожидали себе поддержки по случаю своей благовоспитанности и, так сказать, высокого происхождения.

Эта категория, очевидно, имела уже совсем слабое и превратное представление о большевиках.

Сначала, по неопытности, я принимал-таки всех и — долго-ли, коротко-ли — но говорил с каждым об его делах.

Но очень скоро я убедился, что такая «работа» не только не имеет непосредственного отношения к моим обязанностям, но что она просто не дает мне заняться настоящим делом.

И мы установили, что все приходящие по каким-бы то ни было делам направляются в соответствующие отделы, в крайнем случае — к членам Управы. И только те, кому это действительно необходимо, допускаются к товарищам городского головы или к нему самому.

А «настоящего»-то дела было сколько угодно.

Да притом «дела» тяжелого и далеко не веселого.

Ибо мы наследовали от прежних «отцов города» в кассе Управы почти полную пустоту.

Разбогатевшая было перед войной городская казна была теперь окончательно разорена. Она богата была только одним — долгами, по которым нечем было платить. Одни пособия семьям

мобилизованных в ряды войск и пострадавшим от войны очень дорого стоили городскому управлению и ложились непосильным бременем на его бюджет.

Мы, разумеется, знали об этом заранее. Больше того: ничего лучшего мы и не ожидали.

Но то, что мы теперь увидели в действительности, поразило нас своими размерами и... тем, что мы теперь почти одни и целиком за все несем ответственность.

Для «пособий» скоро не хватало уже не только мелких денег, а вообще никаких денег...

Толпы ожидающих «пособия» с каждым днем увеличивались, приходили с каждым днем к Управе все раньше и раньше и обступали меня теперь по утрам и при каждом входе и выходе из Управы со все более бурными и резкими требованиями и жалобами.

Служащие в отделе пособий тоже нервничали и грубили с приходящими, иногда не без тайного умысла.

Приходилось одних успокаивать, других учить «хорошему тону», а всем вместе... доставать денег и денег.

Скоро Дума и Управа закончили свою внутреннюю организацию.

На помощь Управе создан целый ряд комиссий во главе с членами Управы.

В эти комиссии привлечены были и на правах членов и на правах сведущих лиц целый ряд крупных специалистов — учителя, врачи, инженеры, служащие банков и т. д., а также целый ряд гласных, в том числе и из правого сектора, в частности правые гласные, бывшие члены Управы, как знатоки городского хозяйства.

Комиссии тотчас и очень энергично, деловито принялись за свою работу.

И в этой работе специалисты и правые по крайней мере не отставали от остальных.

Из специалистов привлечены были наиболее опытные и наиболее преданные общественному делу.

А из правых гласных и прежних управцев особенно энергично работали те, кто видел расцвет города перед войной и угасание городского хозяйства во время войны и в ком интересы городского работника-профессионала подчас заглушали чисто классовый буржуазный аппетит.

Ознакомление с делами новых «хозяев города» и внутренняя самоорганизация заняли первое время новой Думы и Управы.

Одновременно та и другая разрешали целый ряд текущих, очередных вопросов.

Зала Думы при этом не раз оглашалась хохотом и веселыми репликами, когда то часть правых голосовала с большевиками, чтобы провалить какое-нибудь забавное и беспочвенное предложение «социалистического блока», то большинство «блока» с отчаяния голосовало с большинством правых, чтобы отразить предложение большевиков.

Однажды, во время самого будничного заседания Думы в президиум поступило сообщение, что от духовенства и группы верующих пришла делегация, которая желала бы изложить самой Думе свою просьбу по вопросу о церковно-приходских школах.

От «блока» тотчас выступили ораторы и заявили, что Дума не может прерывать своих работ из-за таких вопросов и что делегации надлежит обратиться со своим ходатайством прежде всего к Управе, которая и поставит вопрос в Думе, если это понадобится.

Я посоветовался с Ерманом и с бюро нашей фракции и внес от имени большевиков обратное предложение:

— Товарищи и граждане гласные! От группы населения пришла делегация и желает обратиться со своей просьбой к тем, кого избрало все население руководителями города. Разумеется, лучше всего было бы этой группе граждан предварительно вопрос поставить в Управе и, может быть, там вопрос и решен был бы окончательно. Но раз делегация обратилась непосредственно к Думе, мы, избранники населения, обязаны выслушать граждан и дать им то или иное решение самой Думы.

А мы, сами-то, уже знали заранее как суть ходатайства этих почтенных граждан, так и наше думское решение...

Предложение наше принято. И вот на трибуну поднимается не кто иной, как священник В. И. Мраморнов, мой родственник.

Очень складно, очень плавно, с настроением и прекрасным голосом излагает Мраморнов свою петицию:

— Временное Революционное Правительство издало закон о закрытии церковно-приходских школ. Но, во-первых, народных школ очень мало, городские школы не могут обслужить все население, а церковно-приходские школы преподают не только религию, но также грамоту, арифметику и прочие необходимые для всех науки. А во-вторых, закрытие церковно-приходских школ противоречит об'явленной самим Правительством «свободе совести». Никто не может теперь запрещать преподавание закона божия, если сами родители желают обучать ему своих детей. От имени верующих я ходатайствую перед вами, граждане-гласные, приостановить в городе исполнение закона и не закрывать церковно-приходских школ...

Городская Дума не была Советом Депутатов, и никто ей не передавал функций Совета. Но раз уже чисто политический вопрос попал в Думу, будем его решать. Мы не формалисты.

Кое-кто из правых поддержал ходатая.

Меньшевики и эс-эры вообще-то отнюдь не были настроены воинственно по адресу попов и религии: ведь это они без зазрения совести сдабривали поповские молебны и речи своими «социалистическими» проповедями, выталкивая маршевые роты на фронт.

Но это было давно. С тех пор и «социалисты» кое-чему научились. А главное: ведь, закон-то был издан ихним же «революционным», хотя и «временным», правительством...

И меньшевики с эс-эрами горой стали за их правительство, против делегации и за закрытие церковно-приходских школ.

Дали слово и мне.

И вот тогда впервые я воспользовался по этому вопросу «свободой слова» и «свободой совести» и сделал первый публичный доклад о религии.

Доклад длился около часа.

И, должно быть, он не был скучным, потому что слушали его все, включая благочестивую делегацию, очень внимательно и смеялись — сначала тихо, потом все громче и громче, сначала на левой половине Думы, в публике и в центре, а потом и на правом секторе...

Дума отвергла ходатайство боголюбивых родителей и отвергла таким образом, что всякие надежды на злоупотребление «свободой совести» для мракобесов-родителей должны были на долгое время зачахнуть...

А касса пуста...

И главное — это военные расходы.

Пособия выдавались полностью. Но пособия составлялись из двух частей: городской и казенной. Однако, правительство, за своими фразами о спасении «отечества» и о «войне до конца» забывало или не могло посылать городу свою законную часть. И наша антивоенная Дума расплачивалась теперь за нелепо воинственное правительство.

Обложить имущие классы?..

Но мы теперь в области финансов и хозяйства оказались в таком же положении, как раньше в области чистой политики и завоевания фактической власти: мы были с нашим городом только небольшой точкой на карте огромной страны, где власть еще принадлежала частной собственности, капиталистам и помещикам, а не рабочему классу.

Обложение капиталистов... Жилищный переворот и т. д.

Мы все эти меры подготовляли, и, в частности, наша финансовая комиссия уже разрабатывала план учета, оценки и переоценки частных домовладений.

Но чтобы провести все это на практике, надо было или добиться согласия правительственного центра или пойти против центра и действовать, как вольный город, как автономная республика.

А для этого необходимо побывать и позондировать сначала почву там, где вершатся коренные вопросы всего государства...

Но ведь семьи пострадавших от войны и мобилизованных ждать не могут.

А правительство денег не шлет.

И векселя-то пока что еще не отменены, и по ним расплачиваться-то тоже приходится...

И мы начали свою «работу» с починок дыр и прорех, наделанных прежними «отцами города» и прежними «отцами государства».

— Вы городской голова, и вы прежде всего и всех отвечаете за городские финансы.

Так говорили мне и намекали и мои любезные «товарищи городского головы», и все люди центра, и кое-кто из правого сектора Думы.

Но мы и сами все это отлично понимали и, в надежде, что потом как-нибудь выкрутимся совсем, так как город-то наш не из бедных, мы занялись неизбежным на первых порах штопаньем и наложением заплаток.

Поехал я в «Общество Взаимного Кредита». Переписали векселя, да и еще кое-что получили...

Знакомый мне лично из посада Дубовки, крупный лесопромышленник, А. М. Грязев, тоже почему-то вдруг уверовал в кредитоспособность нашей Думы и, по собственной инициативе, дал нам сто тысяч рублей по божескому проценту — из шести годовых.

Но все это крохи.

Надо провести серьезный и долгосрочный заем. И мы послали в «Биржевой Комитет» сообщение, что такого-то числа, во столько-то часов мы от имени Думы желаем с ним побеседовать о городских финансах...

Биржевики собрались очень аккуратно. И мы засели в одной из крохотных комнаток уже известного нам помещения Биржи и первого меньшевистско-эс-эровского «Совета Депутатов».

По мановению жезла появились чай и закуска — без «возбудительных» напитков.

Разговор был очень спокойный и даже душевный.

— Так вот нам нужны деньги. А денег нет.

— Это правильно, — ласково ответили собеседники, — только как же бы это их достать...

— У вас есть деньги. И вы должны Думе помочь.

— Помочь мы согласны. Мы не смотрим, что во главе городского управления большевики. Это наше общее дело...

— Так вот и помогите...

— Только подо что и как? И какие гарантии?..

— Гарантии!?. Так вы же знаете, что мы богаты: электричество, трамвай, водопровод, канализация... Не думаете же вы, что мы доведем дело до того, что пустим это все имущество с молотка. Наконец, налоги. Поправимся и расплатимся...

Биржевики чай не пили и только звенели чайными ложечками в стаканах, как будто сахар никак не хотел распускаться.

А я, между тем, томимый жаждой от непрерывной работы, выпивал один стакан за другим...

— Так-то оно так. Но только...

Словом, я не давал никаких определенных гарантий и предлагал «помочь» Думе на веру, хотя и под проценты.

А биржевики, зная наш финансовый кризис, как раз тут-то и решили показать свою силу и принажать на «зазнавшихся» большевиков.

Пришлось пододвинуть «резервы»:

— Мы в Думе недавно, — сказал я, — и разве это мы разорили городские финансы! Такое получили наследство. И от кого? От вас. Кто разорил город? Война. А разве не вы стояли и до сих пор еще стоите за войну? Это ваша война. А мы, как вы сами знаете, с самого начала были решительно против нее. Кто же в таком случае разбил это самое городское «корыто» — мы или вы? И на ком тут ответственность за пустоту городской казны?..

— Пострадал не только город, а вся промышленность и торговля.

— Неправда, многие из вас только нажились и разбогатели на этой войне. И свободные деньги у вас должны быть.

— Может быть, так и было в начале войны, но за последний год в делах застой, а многие даже разорились... Мы считаем, что городское хозяйство это наше общее. Но... при всем желании...

— Так. Стало быть, — и хотели бы помочь, да нечем. Ну, что ж. На нет и суда нет. А завтра, когда меня встретит у ворот Управы толпа солдатских жен, калек и инвалидов, я им скажу: «Средства все исчерпаны. В кассе ни гроша. Идите к капиталистам. Они начали войну. Они на ней нажились. Они же вас осиротили и покалечили. А теперь не хотят вам помочь через Думу. И вот идите теперь к ним сами и требуйте уплаты

за ихнюю войну»... И когда у нас не будет хватать помещений для сирот и инвалидов, мы пошлем их опять-таки к вам, чтобы вы поделились вашими просторными квартирами. Для раненых под лазареты мы займем ваши дома и конторы. И уж не думаете ли вы, что кто-нибудь в этом сможет нам помешать?..

Как началась наша беседа спокойно и душевно, так и закончилась:

Без всяких условий с их стороны, биржевики приняли наши предложения и гарантировали солидный заем.

Но мы совсем не хотели также, чтобы правительство оставалось нашим безнадежным должником. Суммы, причитающиеся нам с правительства, по крайней мере, облегчат нам удовлетворение пострадавших от войны, и нам не придется по этой статье тратить сверхсметные средства...

* * *

Необходимо ехать в Петроград, в министерство внутренних дел.

Около 10 октября Дума так и решила.

Но кого послать?

14 октября в Москве созывался С'езд городских голов.

На этот С'езд Дума тоже решила послать своего делегата.

Но, опять-таки, — кого?

Наша фракция внесла предложение послать и в Москву — на С'езд и в Петроград — за деньгами—только одного представителя и, разумеется, никого иного, как городского голову.

Дума согласилась послать только одного делегата.

Но тут «социалистический блок» заявил:

— Необходимо командировать одного из товарищей городского головы, так как самому голове совершенно невозможно покидать город при таком критическом состоянии городской кассы. Голова должен оставаться пока здесь на своем посту.

Эта громкая, но хитрая фраза так и осталась фразой.

Дума, конечно, решила по-нашему.

И вот теперь уже мои дорогие «товарищи» меньшевик Д. Полуян и эс-эр Косолапов, оба «революционные оборонцы», должны были сами успокаивать группы волнующихся жен солдат и родственников сирот и инвалидов.

А так как я чувствовал себя довольно-таки неопытным в городских финансах, то мы командировали еще вместе со мной и на помощь мне бывшего члена Управы и правого гласного нашей Думы — домовладельца Козлова, как большого специалиста по городским делам и, в частности, по финансам.

Запасшись балансом, сметами, отчетами и всевозможным прочим творчеством финансового отдела и бухгалтерии, мы

с Козловым сели в поезд и покатили по назначению, об'единенные одним общим и горячим желанием—как можно больше для нашей Думы заполучить финансов от правительства.

* *
*

... Москва.

Вечером иду в МК.

В эти часы дня, под вечер, в гостинице «Дрезден» почти никого не было. С трудом я нашел в одном из верхних этажей помещение МК. Несколько незнакомых мне товарищей сидели и стояли вокруг столов и что-то горячо обсуждали.

— Я хотел бы видеть кого-нибудь из Московского Комитета. Я — из Царицына. Минин.

Тогда они бросились ко мне навстречу, горячо пожимали мне руки и наперебой начали расспрашивать о нашем городе. Затем предложили мне сделать на собрании рабочих доклад о Царицыне.

Сейчас же написали об'явление, которое на следующий день и было напечатано в органе МК.

Собрание назначалось в Замоскворечьи, в большом зале Коммерческого училища.

— Я не знаю как следует Москвы и боюсь проплутать и опоздать на доклад. Не можете ли вы распорядиться, чтобы меня свезли туда на машине.

— Дорогой товарищ! — ответили тогда москвичи: — ведь у нас нет ни одной машины...

— Как же это так?.. Ведь, вы в Совете Рабочих Депутатов теперь большинство.

— Да. Но в Совете Солдатских Депутатов большинство не наше, и все машины Совета, как были, так и остались пока в распоряжении меньшевиков и эс-эров.

Мне дали подробные указания, как добраться пешком и на трамвае до Коммерческого училища.

На доклад собралось довольно много рабочих. Они, видимо, очень интересовались Царицыным, очень внимательно прослушали мой рассказ и подали массу записок.

Из вопросов я особенно остановился на одном:

— «Товарищ докладчик, скажите, какие социалистические мероприятия вы уже осуществили?»

Я ответил, что мы пока еще ничего социалистического не провели кроме того, что завоевали власть. Завоевали ее недавно. Денег у нас нет. А принимать какие-нибудь решительные меры в области хозяйства и собственности вообще трудно, пока кругом в стране власть еще не принадлежит рабочему классу.

* *
*

Вторым вопросом собрания был «текущий момент». Выступал с речью «о текущем моменте» неизвестный мне московский большевик.

В его характеристике положения для меня не было почти ничего нового. Но меня поразил вывод, который сделал докладчик:

— Необходимо немедленно готовиться к захвату власти...

Поразило меня и то, что хотя в словах оратора не было ничего особенно содержательного или глубокого, речь его воспринималась с каким-то особенным энтузиазмом, а в тех местах речи, где оратор хотя бы только упоминал о «Власти Советов», ему в ответ неслись и его перебивали громовые аплодисменты...

И тогда для меня стало очевидно, что вопрос о захвате власти назрел и для всей страны.

С 14 по 16 октября заседал С'езд городских голов.

Подходя к невеселому, но торжественному зданию Московской Думы, я вспомнил, как вот с этого крыльца, тотчас после свержения царя, кто-то из прежних «отцов города» уговаривал собравшихся перед Думой разойтись по домам, приняться за свои дела и помогать разбить немцев до конца...

А внутри здания Думы в эти дни кипел котел: постоянные заседания, совещания. А рабочие в запачканных и засаленных костюмах волочили по этим солидным и чинным коридорам неизвестно откуда вдруг появившиеся громадные ящики с патронами и револьверами...

Зала С'езда где-то наверху.

На площадке парадной лестницы записывают анкетные данные о делегатах.

— Как фамилия?..

Я сказал.

— К какой партии принадлежите? — спросила меня из-за стола какая-то женщина:—Впрочем, я знаю — конечно, большевик.

И выдала мне мандат.

И тут я впервые увидел собственными глазами многих из тех светил буржуазного мира, о которых до сих пор только приходилось читать и слышать.

Большевиков же было очень немного: Урицкий из Петрограда, городской голова г. Луганска — Червяков, кое-кто из районных Дум г. Москвы...

Наша фракция была очень незначительна, чтобы предпринять что-либо особенное на этом смотру мелкобуржуазных и и чистобуржуазных зубров.

Да и не было в этом тогда никакой особенной надобности, ибо уже ясно было, что основные вопросы революции ре-

шаются теперь не в этих зданиях и не теми людьми, которые тут собирались...

Внешне С'езд проходил торжественно, солидно, по временам высокопарно.

А по существу — нудно, скучно и бесплодно.

Вечером опять направляюсь в гостиницу «Дрезден», в кабинет МК.

Заседание чрезвычайное и в высшей степени секретное.

Здесь в «порядке дня» только один вопрос:

«Вооруженное восстание»...

А на следующий день я опять на С'езде.

Сижу в самом конце залы и думаю:

«Как странно... Сидят вот эти самые господа и говорят, говорят. Очень спокойно и очень чинно обсуждают всякие текущие, очередные вопросы городского строительства. Рисуют планы. А там... в гостинице „Дрезден"... уже решено. Не сразу, не без возражений, но... предложение докладчика принято.

«Восстание!.. В ближайшие дни!.. Медлить нельзя...

«А господа все говорят и говорят. Ожидают ли они? Догадываются ли, что это будет и что теперь будет это очень скоро. Как будто—нет. Не знают или не понимают. Иначе не были бы так беззаботны и по-будничному деловиты.

«А когда узнают или заметят... О, они зубами вцепятся в свое новое, „демократическое" положение. И спихнуть их будет не легко. А спихнуть надо будет не только тех, кто целиком за старый режим, но и этих „демократов" и „революционных демократов"... Сопротивление будет огромное повсюду. А здесь, в Москве, как-то особенно чувствуется на каждом шагу буржуазия и обывательщина...

«Да... с каким треском полетят в пропасть все эти резолюции, которые сейчас так литературно обрабатываются, и все эти планы, которые здесь так старательно намечаются»...

На С'езде я попросил слово только один раз вечером в конце заседания. Я считал необходимым опровергнуть последнюю гнусную и клеветническую корреспонденцию, помещенную в виде телеграммы в «Русском Слове», № 231, от 10 октября.

Слово мне дали. И я прежде всего зачитал это «собственное», и «специальное» сытинское творчество, а потом дал об'яснения.

Корреспонденция гласила:

«Капитуляция большевиков.

«Царицын, 9/X. Состоялось заседание районного комитета торговли и промышленности, в котором обсуждался вопрос о финансировании города.

«Члены Управы, с городским головой большевиком Мининым во главе, нарисовали тяжелую картину финансового положения города. Задолженность достигла 10-ти миллионов. В кассе нет ни гроша. Милиция грозит забастовкой, в виду неплатежа жалования.

«В речах членов и городского головы далеко не чувствовалось прежнего задора. Наоборот, перед комитетом предстали растерянные, беспомощные люди, увидевшие, что действительность не мирится с теориями меньшевиков, большевиков и эс-эров.

«Комитет, выслушав „отцов города", заявил, что капиталисты готовы открыть свои кошельки, но при условии выполнения Думой следующих требований: избрание одного члена Управы от цензовиков, предоставление цензовикам трех мест в финансовой комиссии, гарантия имущественной и личной безопасности и организация городом продовольственного дела.

«Управа выразила полную готовность выполнить требования цензовиков.

«Характерно, что во время выборов Управы цензовые элементы пытались выговорить себе в Управе хоть одно место, но с ними не хотели даже разговаривать.

«— Никаких соглашательств, — заявили им, — не может быть с группами, стоящими левее эс-эров.

«Отметены были даже народные социалисты.

«Комитет решил открыть городу кредит в размере двух миллионов».

Во всем этом сочинении верны только начало и конец:

1. Положение городской кассы действительно критическое и задолженность Управы громадная.

2. В Управу на самом деле из чистокровной буржуазии и даже из «народных социалистов» мы никого не провели.

3. Наконец, правильно и то, что биржевики постановили открыть городу кредит.

Об'яснив это, я дальше кратко изложил, как было дело:

— 1. В некоторые комиссии, в том числе и финансовую, мы уже раньше и по собственной инициативе пригласили некоторых полезных цензовиков.

2. Ни одного цензовика в самой Управе нет и не будет.

3. Вообще по случаю займа Управа никаких решительно обязательств, кроме процентов, перед цензовиками на себя не взяла и не намерена брать...

Не столько с интересом, сколько с любопытством публика выслушала мои об'яснения. И заседание было закрыто.

А затем скоро и вполне благополучно закончился и самый С'езд.

И вот опять мы с Козловым в поезде.

Надо торопиться получить от правительства денег для нашего города.

В Петрограде мы остановились в одном из приличных и удобных номеров «Знаменской гостиницы» возле Николаевского вокзала.

Козлов нагрузил свой портфель нашими финансовыми документами, и мы направились в министерство внутренних дел.

В министерстве прежде всего нам, конечно, заявили, что наши сведения не полны и что необходим еще целый ряд дополнительных данных.

Козлов сочинил по этому случаю длиннейшую телеграмму, переполненную вопросами и цифрами, я подписался, и мы стали ждать ответа.

Ответ не приходил. А тем временем было назначено заседание в министерстве по целому ряду местных дел. Поставлен был и наш вопрос.

Вокруг длинного стола расположились: товарищ министра, как председатель, его ближайшие сотрудники по муниципальным делам и несколько групп ходатаев и представителей с мест.

Между прочим, кто-то назвал вслух мою фамилию. Все обернулись ко мне, но особенно впился в меня глазами некто Новиков, представитель Богородской Управы и, как оказалось потом, меньшевик.

Он тотчас же передал мне записку:

«Вы и есть тот самый Минин, о котором писали газеты?»

«Да. Тот самый»,—написал я.

Прочитав ответ, Новиков расхохотался и, подавляя смех, тотчас поднялся и выскочил из комнаты.

Я пошел за ним:

— В чем дело, товарищ?

Но он упорно глядел на меня и продолжал хохотать.

Наконец он сказал:

— Да разве я так представлял вас по всем этим писаниям в газетах!..

В министерстве ничего положительного пока для нас не получалось: без новых данных, якобы, никак нельзя решить вопроса о том, должно платить правительство Царицинской Управе свои несомненные долги или нет...

А тем временем я уже ориентировался понемногу и на другом полюсе — в Смольном.

И первый из знакомых, который мне там попался в послеобеденный час почти в пустом коридоре, была О. Д. Каменева, которая знала меня по последней енисейской ссылке. Теперь она с каким-то листком в руках носилась по длиннейшим коридорам Смольного.

Обрадовалась, горячо приветствовала, задала пару вопросов и... тотчас приступила к делу:

— Вот и хорошо. Очень кстати. Сейчас позвоню. Вам дадут машину, и поезжайте немедленно. Столько собраний, столько собраний! И у нас не хватает ораторов...

Мы зашли в какую-то канцелярию. Оказывается, там работа кипела, — по крайней мере, без устали работали телефоны: шла бешеным темпом организация митингов и собраний.

И вот мы помчались вместе с одним левым эс-эром (по фамилии, кажется, Спиро или как-то в этом роде) в незнакомый мне завод и по неизвестным мне улицам и переулкам, так как до сих пор в Петрограде я бывал только проездом или на короткое время.

Громадная мастерская, битком набитая рабочими.

Левого эс-эра я просил выступить первым, на что он очень охотно согласился.

Я же хотел послушать и понаблюдать собрание, так как считал себя пока еще недостаточно подготовленным, чтобы так вот сразу выступать в столице перед совершенно новыми слушателями — передовыми пролетариями и в такой исключительный момент.

А мой приятель уже громил буржуазию, меньшевиков и правых эс-эров. Он рубил с плеча и призывал к немедленной борьбе за Власть Советов...

Я потом дополнил его речь, кое-где подправил, указал на серьезность момента, на трудность борьбы, на необходимость железной организованности, пояснил положение примерами из последней истории Царицына и, в заключение, тоже призывал к перевороту...

Также, как на собрании в Москве, рабочие ответили на речи бурными аплодисментами.

И какой-то грозовой энтузиазм несся из мастерской навстречу каждому революционному призыву...

Утром я снова был у товарища министра и еще раз просил поскорее вернуть Царицыну правительственный долг.

А он также спокойно и деловито, как раньше, требовал дополнительных данных, которых мы с Козловым никак не могли получить.

Да. Он был спокоен и буднично деловит, совершенно так же, как те, в Москве, на С'езде городских голов.

И опять я задавался вопросом: «Знает ли он и его компания, что работают... на вулкане?..»

И еще раз ответил себе, как там — в Москве: «Или не знают или не понимают...»

А вечером опять меня послали на собрание.

Просторная низкая столовая. Рабочих и работниц масса. Один за другим бросают ораторы пламенные призывы. Я сказал, что послан из Смольного, и попросил слова. Мне обещали, но предупредили, что записавшихся очень много, а собрание уже и без того затянулось.

В этот момент поднялся на трибуну и с огромным под'емом заговорил, как видно, местный, очень авторитетный и хорошо всем собравшимся известный большевик...

И в собрании пронесся ураган негодования против бурбуазии и готовности к немедленной борьбе за «Власть Советов»...

И вот тогда я понял окончательно то, что говорил от имени Ильича и ЦК докладчик на внеочередном заседании Московского Комитета:

— Или мы пойдем во главе восстания, как его руководители, или революция перешагнет и через нашу партию. Медлить нельзя...

И как пророчески глубок и проницателен был Ильич в своих могучих статьях в центральном органе «Правде». Он бил в набат. Он бичевал банкротов. Он призывал восстать. И его призывы, как огни розовых молний, прорезывали и рвали на части пелену той смрадной атмосферы, которая душила всю страну...

А потом опять я был у товарища министра.

Это уже после 20 октября.

Товарища министра я встретил на этот раз в коридоре и спросил о нашем деле.

Но он как-то недоумевающе и дико посмотрел на меня, пробормотал что-то невнятное и какой-то новой неуверенной походкой задвигался по коридору.

Колени его подогнулись, и от этого его высокая фигура казалась ниже, чем обыкновенно.

Я посмотрел ему вслед и вышел, чтобы больше не возвращаться.

«Да, теперь они узнали — подумалось мне — а, может быть, даже и поняли»...

Революционный Комитет Петроградского Совета работал уверенно и молниеносно.

И вокруг болота, в котором беспомощно копошилось и заживо разлагалось буржуазное правительство, заколачивал в новую почву одну за другою крепкие сваи.

Комиссары Революционного Комитета вырастали теперь повсюду — на фабриках и заводах, во флоте, в полках и в специальных частях. Авторитет и сила этих комиссаров росли с каждым часом, так как они были одновременно и органами зарождавшейся революционной власти и лучшими доверенными

людьми самой массы, массы, готовой на решительную и беспощадную битву рабочих, солдат и матросов.

Правительство беспомощно металось в расставленных силках...

24 октября вечером я был на собрании представителей частей в Смольном.

А 25 утром, выйдя из под‘езда «Знаменской гостиницы», я уже прочитал на стенах домов и дворов, что старое правительство низвергнуто и что отныне в стране установлена новая подлинно революционная власть...

Несчастные меньшевики и эс-эры!..

Уже сначала мая они, хотя и в меньшинстве, но занимали в буржуазно-помещичьем правительстве министерские кресла, а потом их болтливый командир—адвокат Керенский—стал даже премьером.

На Всероссийском Первом С‘езде Советов меньшевики и эс-эры были избраны вождями «революционной демократии»...

И вот за какие-нибудь четыре — пять месяцев они в глазах рабочих и крестьян, в глазах армии и флота размотали и разбазарили весь свой четвертьвековый «революционный» и «социалистический» багаж...

Избранные на Первом С‘езде, они успели еще до истечения срока своих полномочий растоптать свои собственные программы и разоблачить себя перед теми, кого десятки лет обманывали «диктатурой», «землей», «социализмом».

А по истечении своих полномочий, они — «социалисты», «революционеры» и... специалисты по части «демократии», они, как чумы, страшились одного имени Второго Всероссийского С‘езда Советов...

Тянули и оттягивали срок созыва.

Потом назначали и переназначали его.

Но наконец-таки предстали перед своими «избирателями» во всем своем убожестве и ничтожестве.

Они-таки сами открыли Второй С‘езд Советов.

Больше им ничего не оставалось...

Сами открыли всемирно-историческое судебное заседание, а потом... потом, как мелкие воры, как последние предатели, сами плюхнулись на скамьи подсудимых...

Не без сопротивления, не без сожаления, не без пышной фразы и кривляний.

В актовом зале Смольного на трибуне они стояли, как жалкие существа, которых загнал на последнюю высокую скалу беспощадный и гневный потоп.

А когда смыла их грозная волна, тогда — о, это были гениальные полководцы и железные бойцы! — тогда они, чтобы

повернуть назад колесо истории, зажали в цепких руках и не передавали новым избранникам... гуттаперчевые печати и ключи от столов Центрального Исполнительного Комитета...

В виде протеста... против чего?.. Ведь было свергнуто правительство буржуазии и помещиков!.. и от обиды... на кого?.. за что? — что их еще раз не избрали в большинстве в президиум!.. они торжественно, вместе с кучкой «фронтовых делегатов» — офицеров покинули зал заседания.

И не сумели создать заметной пустоты в зале.

Наоборот: собрание стало как будто еще полнее и, во всяком случае, еще бодрее и веселее.

Они ушли...

Они не уходили из правительства буржуазии, хотя там тоже были в меньшинстве.

Они не уходили из правительства, которое продолжало царскую войну, которое набило тюрьмы солдатами, которое разгоняло фабрично-заводские комитеты, которое за попытки захватить помещичьи земли арестовывало при помощи казаков крестьян и их революционные организации.

А теперь ушли и навсегда связали себя с классом эксплуататоров и навсегда прокляли себя сами перед лицом широких масс...

Впрочем, один вернулся. И, разумеется, потребовал себе слова «для внеочередного заявления». Ибо в эти часы они уже «не стояли в порядке дня» и говорили только «вне очереди».

Получив желанное слово, Мартов еще раз поднялся на трибуну:

— Вы тут рассуждаете, а там (он указал куда-то рукой), там ваши части уничтожают вековые исторические ценности. Ваша «Аврора» в этот самый момент бомбардирует Зимний дворец!..

Поистине «в этот самый момент» лидеру меньшевиков раззолоченный «вековой» дворец тиранов был во много раз дороже, чем победа пролетарских кварталов. И сохранение художественных изделий было важнее, чем сохранение диктатуры рабочего класса.

А Мартов несомненно говорил об архитектуре, о статуях и картинах. Ибо нельзя же было считать «вековой исторической ценностью» то правительство, которое «в этот самый момент» спряталось во дворце и которое само постоянно называло себя «временным»...

Смех и негодующие реплики были ответом оратору.

А в довершение всего, через какой-нибудь час, на трибуну поднимается матрос:

— Товарищи. Услыхав от Мартова, что «Аврора» бомбардирует Зимний дворец, я направился на место. И что же! Ни-

какой бомбардировки нет, и нету в ней пока никакой надобности. Это просто крейсер «Аврора» и Петропавловская крепость на всякий случай перекликаются друг с другом...

С фронта прибывают и прибывают делегаты. Один за другим поднимаются на трибуну.

Одних послали части для ознакомления.

А другие прибыли от частей, которые были брошены против восставшей столицы.

— Мы от самокатчиков... — говорит оратор, — один из многих подобных:—нас послали на подавление «бунта» в Петрограде и на защиту Временного Революционного Правительства. Но, приблизившись к городу, мы решили сами ознакомиться с положением дела. И вот теперь наша часть командировала нас приветствовать Петроградский Совет и его Революционный Комитет. И, да здравствует Второй Всероссийский С'езд. Да, здравствует Власть Советов... Мы, самокатчики, отдаем себя на защиту революции...

Жалкие «внеочередные заявления»...

Пламенные приветствия делегатов...

И... небывалые в летописях человечества революционные декреты...

Команду подает Ильич.

Он вернулся. И опять неутомимо работает на своем капитанском мостике...

Раньше я видел его только издали.

А теперь мельком, на ходу познакомился с ним.

Мы шли по коридору Смольного с Авелем.

Енукидзе и я были в один день и на один срок и в одно место Енисейского уезда сосланные в начале войны: он из Петербурга, я из Царицына. Там от Енукидзе я и узнал впервые подробно об Ильиче, как о человеке и вожде партии. Прекрасный рассказчик, Авель спокойно, пластично, по-гомеровски, передавал один факт за другим и нарисовал удивительно яркий, сильный и глубоко привлекательный портрет Ильича.

Мы шли по коридору. Ильич торопливо шагал куда-то мимо нас.

Авель остановил его:

— Владимир Ильич, познакомьтесь — Минин из Царицына.

Ильич быстро обернулся ко мне:

— А, знаю. Читал, читал.

Он крепко, по-дружески, пожал мне руку. И снова помчался вперед, перекидываясь фразами со встречными и рассматривая какие-то листы бумаги в руках...

Я видел, как Ильич вернулся из-за границы после февральского переворота, как торжественно и горячо встретили его

рабочие, солдаты, матросы, наша петроградская организация.

Я слышал его громовые «тезисы», которые тогда даже многих из старых большевиков поразили, потрясли и озарили.

А потом «революционная демократия» меньшевиков и эс-эров совокупно с буржуа и генералами, с попами и дворянами очернила его, оклеветала, покушалась на его жизнь и загнала в подполье...

Но Ильич продолжал организовывать революцию и бомбардировать предателей из подполья, из своей искусно скрытой и замаскированной батареи.

И вот теперь он появился снова — тихо, скромно, бесшумно. Однако, все почувствовали сразу, как на рулевое колесо надавила тяжелая, могучая, искусная рука.

— «Предложение немедленного мира всем народам и правительствам».

— Как!... И правительствам?!. — недоумевали даже большевики.

— Да! — отвечал Ильич: и правительствам...

И пусть будут виновны они, наши враги, если откажутся публично от мира...

— Конфискация помещичьих земель и пользование государственной землей на основании собранных эс-эрами 242-х крестьянских наказов...

— Как!.. — недоумевали многие даже старые большевики:— но, ведь, уравнительность и социализация — это мелкобуржуазная утопия, которую мы постоянно разоблачали...

— Да, — отвечал Ильич:—Но вы видите, этого хотят сами крестьяне. А мы должны делать революцию рука об руку с ними... Пролетарскую революцию...

«Совет Народных Комиссаров»...

«Председатель — Владимир Ильич Ульянов-Ленин»...

Но ведь это же рискованно-смелый, отчаянно-дерзкий вызов целому миру, всем этим пожирателям чужого труда, насильникам, грабителям, лжецам и клеветникам.

Да. Так оно и было.

Но это же имя станет маяком и знаменем, к которому потянутся глаза и руки всех рабочих, всех угнетенных и рабов...

С вечера 25 до утра 27 октября только и заседал революционный С'езд. Ибо все делегаты торопились на места, торопились разнести электрические волны переворота по всем городам, по всем фронтам, по всей огромной стране.

Полтора суток.

И за этот короткий момент был потрясен до самого дна весь одряхлевший, напитанный слезами и кровью, насыщенный обманом и ложью — старый мир.

О, сколько бы бесплодных разговоров, пустых деклараций, бесчисленных заседаний, бесконечных прений, бесполезных комиссий и подкомиссий, а, стало-быть, и какая уйма времени понадобилась бы любому другому непролетарскому классу, чтобы в момент переворота провести законы, которых история дожидалась веками...

А восставшему пролетариату для оформления власти и для издания всех основных законов потребовалось меньше, чем двое суток — 36 часов, два ночных заседания...

И поистине теперь из каждого окна Смольного, из каждого слова ораторов, из каждого листка бумаги, звонка телефона, стука шагов — говорила, глядела, кричала тысячью, миллионами голосов новая история нового человечества...

И, как во всякой глубокой и потрясающей трагедии, дело не обошлось без... веселых анекдотов.

Почтенные останки «революционного» правительства, как затравленные суслики забились в бывшие царские норы Зимнего дворца.

О, они были под надежнейшей охраной... деморализованных юнкеров и батальона женщин-авантюристок.

Это после того-то, как Петропавловская крепость и «Аврора» уже об'явили дворцу свои грозные «шах» и «мат».

Но силы «революционного» правительства росли: к ним на выручку поспешили хорошо упитанные и прекрасно одетые буржуа и мещане-гласные Думы.

Они были безоружны. Да и зачем им было оружие, когда сердца их кипели чувствительной любовью к своему правительству и звериной ненавистью к восставшим...

И не вина почтенных граждан. что они не смогли облегчить муки возлюбленного правительства и арестоваться вместе с ним...

За какие-нибудь 24 часа перевернулся и полетел в тартарары весь такой удобный прежде мир, и уже не ставил в грош он теперь ни возвышенных чувств, ни благородного мышления безоружных героев...

Не их вина, что они... малость опоздали...

Ибо как раз в этот момент—и уже во второй раз — «пошел народ к Зимнему дворцу»...

Не к царю. Так как царь еще с января 1905 года не долюбливал гнезда своих предков и по-долгу не заживался в нем, а теперь тем более предпочитал сельские ландшафты.

Нет, не к царю. Так как во дворце теперь обитала иная порода. Он был битком набит «демократами» — «конституционными», «революционными, «социальными», — теми самыми демократами, которые кога-то без устали ополчались на царя и клялись именем дорогого и милого «демоса»...

И вот к ним-то и «пошел» теперь «народ»...

Правда, — не с иконами, хоругвями и царскими портретами. Это было бы для демократов веселым праздником.

И даже не с коленопреклоненной петицией-прошением на высочайшее имя ее величества демократии.

О, нет... Хуже всего для высокоуважающей себя демократии — конституционной, революционной и социальной—было то, что на этот раз «народ пошел к Зимнему дворцу» с оружием и не выпускал его из своих рук до тех пор, пока «временные» вершители народных судеб не сдались на милость новых грубых людей.

Однако, главный артист, режиссер и демиург «мещанской драмы» ускользнул из «своей» столицы, от «своего» правительства, от «своих» армии и флота.

Он торопился спасать Россию с другого конца.

И он ринулся теперь уже открыто, без оглядки и без лишних разговоров за помощью к тем, кого он же сам, он — революционно-социалистический адвокат — ровно пять лет и пять месяцев тому назад, после кровавого ленского расстрела, обзывал и клеймил, как истязателей и палачей рабочего класса...

Краснов и Керенский!..

Это они теперь на глазах всего мира шли рука об руку спасать Россию, выручать отечество и тайные планы союзников, хотя бы и через... развалины революционнейшей в мире столицы, по трупам рабочих, солдат и матросов...

Они только шли, только готовились, только хотели, но... по примеру всех цивилизованных людоедов, они уже оповестили все свое контр-революционное стадо истинно-верующих, что они... уже пришли, уже покорили, что они уже после первого военного танца под стенами Петрограда — проломили череп большевистской голове пролетарской революции:

«Петроград взят».

— «Войска Временного Правительства заняли столицу»...

Февральская революция всей буржуазией — крупной, средней и мелкой — была расхвалена и раздипломирована как самая *мирная* и как самая *бескровная* в истории революция.

А разве знаменитые *три дня Октября* — 24, 25, 26 — потребовали больше крови?!

Разве в самой столице это самое «временное», «революционное» «правительство» не упало с народного дерева в пропасть так же легко и просто, как ровно восемь месяцев тому назад скатился туда же гнилой, из'еденный червями плод самодержавия?!

И разве рабочие, солдаты и матросы жаждали крови!..

Но враг, сам враг захотел ее.

И кровь полилась...

* *
*

Из Царицына на С'езд Советов приехали Яков Ерман и Рувим Левин.

И мы все трое принимали посильное участие в событиях. А теперь — надо возвращаться. Но как? Прямой наш путь через Москву. Но Москва — фронт. Москвы — нет: она раскололась по линии классов на части. Идут жестокие бои. Уже несколько дней...

Никто не говорит нам, да никто, видно, и сам не знает, как следует, что же такое происходит, как и когда кончится битва во второй столице...

Впрочем, сам Царицын нас не беспокоит. За него мы целиком уверены. А здесь мы все-таки не бесполезны...

Ночь. Смольный горит огнями.

У под'езда тяжело фыркают автоброневики.

Шипят и гудят легковые и грузовые машины.

Из-за колонн поблескивают тяжелые максимы-пулеметы и треногие «кольты». Ленты заправлены и молчаливо грозно, будто медные змеи, спадают на каменные плиты и в железные коробки...

После напряженного дня поток людей ослабел.

Но десятки и сотни ног все бегут и все торопятся по липкому от грязи полу...

Подкатывают грузовики...

Зажигаются огнями легковые автомобили и быстро по грязному изрытому шоссе исчезают во мраке...

Краснов и Керенский наступают.

И Смольный готовит отпор...

В первом этаже, направо от лестницы, — Штаб Красной Гвардии. Коридор полон вооруженными рабочими...

Из Красной Гвардии одна часть за другой отправляются на фронт.

Туда же мобилизуются матросы и большевистские полки.

День и ночь разбираются, развозятся и разносятся из Смольного тюки, пакеты, свертки литературы...

День и ночь принимает, инструктирует и рассылает на места, во все концы восставшей страны, комиссаров и делегатов Ильич...

Наверху в коридоре попадается мне навстречу Володарский.

Мы старые знакомые. В 1912 году в архангельской ссылке, в городке Мезени он изучал в моем кружке русскую историю. У него была неутомимая жажда к познанию. Проглатывая книги, молодой мозг неустанно работал над коренными вопросами науки и партии... И еще тогда Володарский-Гольдштейн рос по дням и по часам...

А теперь он выдающийся и пламенный рабочий-агитатор...

— Хотите поехать в Петроградский полк? — спрашивает он.

— Зачем?

— Необходимо к утру двинуть его на фронт.

— Хорошо. Но что я должен делать?

— На собрании об'ясните положение и поднимите полк выступить на фронт.

— Поеду один?

— Один.

— Но я не знаю вообще Петрограда, а теперь ночью тем более не найду.

— Шофер знает. Сейчас дам записку.

По записке я получил внизу наряд на автомобиль.

В эту грязную, дождливую, холодную ночь было очень удобно ехать в закрытом автомобиле-карете с прозрачными зеркальными стеклами. Только было как-то неприятно просторно.

Ехали без огней, но машина мчалась, как при солнечном свете.

Через окна я видел пустынные улицы, лужи и слякоть, редкие костры, а на перекрестках улиц группы солдат и рабочих — красногвардейцев...

Как ни хорошо знал шофер свою столицу, но в полуночной темноте он ошибался адресом несколько раз, прежде чем мы под'ехали к казарме полка...

Я вошел, отыскал командира, показал мандат и об'яснил в чем дело.

— Солдат мы сейчас поднимем и соберем, но — для фронта у нас не хватает пулеметов.

— Как не хватает!... Мне об этом ничего не сказали... — отвечал я командному составу.

— У нас, конечно, были, но наши пулеметы забраны куда-то.

Солдаты собрались очень быстро.

Внимательно выслушали и постановили: «Идем».

А командный состав... Они тоже готовы... хоть сейчас, но... достать бы пулеметов, без пулеметов нельзя...

Все это, может быть, и правильно. Даже, наверно, так оно и есть. И все же за этими пулеметами чувствуется какая-то неуверенность, колебания...

— Давайте, — говорю, — звонить по телефону, чтобы немедленно прислали пулеметы...

Звонили. Долго звонили. И... без результата: никто не отвечает: либо отвечают совсем не те, кого нам надо.

— Хорошо. В таком случае поеду сам и об'ясню.

И мы снова мчимся по тем же улицам обратно в Смольный.

В поисках Володарского открываю одну дверь. Смотрю— Ильич... Вышел, видно, из своего кабинета и ходит по пустой комнатке один, в глубокой задумчивости. Я хотел уйти. Но он поздоровался и спросил, что нового. Я сказал, что знал. Потом в свою очередь спросил его, как он смотрит на положение... И он сказал, как бы продолжая свои мысли:

— Чтобы провести фактически конфискацию земель, необходимо конфисковать немедленно и банки...

Наконец я нашел Володарского. Рассказал.

— Нет пулеметов?.. Сейчас пошлем.

Он обежал несколько комнат, настрочил и послал какие-то записки, волновался по телефону...

— Пулеметы скоро будут. А ночевать ко мне. У меня есть в квартире свободная кушетка. Только подождите немного меня.

Но я сказал:

— Я полагаю, что мне следует поехать в полк еще раз. Я как-то неуверен, что полк выступит во-время...

— Ну, тогда поезжайте. А потом ко мне...

Улицы были так же пустынны, мокры и грязны. Так же останавливали нас патрули и так же после тщательного просмотра документов, пропускали дальше...

Уже с полдороги проехали мы, как в одной совершенно темной улице машина вдруг остановилась.

«Почему стал автомобиль? О чем и с кем так долго разговаривает шофер?..

«Патруль?.. Не похоже»...

В голове забегали тревожные мысли.

И в тот же момент я нащупал в кармане револьвер.

Осторожно и мягко открылась дверца...

Их было трое... четверо... может быть, больше.

Разглядев меня, они заговорили:

— Нам надо бы поскорее сообщить...

— А что такое? В чем дело?

— Мы — рабочие из гаража. Только что ворвались к нам офицеры и захватили наши броневики... У нас было тихо, спокойно. И вдруг среди ночи крики, выстрелы. И они захватили машины... Нам бы поскорее в Смольный. Не подвезете ли нас?..

— Хорошо. Садитесь.

Они захлопули дверцу. Двое сели с шофером. Остальные куда-то исчезли в темноте.

У ворот Смольного автомобиль остановился.

Я сказал рабочим, где найти дежурных.

Они соскочили с машины и бросились к зданию.

А мы опять помчались к нашему полку.

Полк в сборе и готов немедленно выступить по указанному маршруту. Задерживают пулеметы. Ну, а они, по самым точным данным, ожидаются с минуты на минуту.

Успокоенный за полк, я вернулся в Смольный.

Долго искал Володарского, чтобы сообщить ему о полке, о захвате броневиков и узнать подробнее, что случилось.

Но ни Володарского, ни кого-либо из знакомых не оказалось.

Дежурный Революционного Комитета сказал, что он уже знает о броневиках, но не мог или не хотел мне сказать что-либо о результатах и принятых мерах.

Бесконечно усталый, я прошел несколько комнат в поисках свободного места.

Однако, все кушетки, диваны, все столы и стулья, словом все, на чем бы можно было более или менее удобно соснуть, было занято спящими...

Заглянул в большую залу, где теперь бывали заседания Центрального Исполнительного Комитета, но и там та же картина.

Тогда я пошел за какой-то шкаф, постелил газету, положил под голову фуражку, накрылся моим пальто и скоро заснул.

Это было в 6 часу утра.

Проснувшись в 11, я сразу почувствовал какую-то тревогу.

Вскочил и направился в буфет верхнего этажа.

В коридоре большое движение.

Молчаливые, сосредоточенные лица...

Ни шуток, ни смеха, ни громких разговоров...

Да. Так и есть: произошло что-то неладное...

В буфете я узнал все:

Керенский наступает, а в городе восстали юнкера и захватили броневой дивизион.

Узнал я также, что «Петроградский полк» выступил на позиции.

Чем меньше почва была под ногами эс-эров и меньшевиков, тем больше у них было претензий, тем более наглые требования пред'являли они большевикам.

Картина хорошо известная нам — царицанам.

Левые эс-эры вместе с нами участвовали в перевороте и входили в Центральный Исполнительный Комитет, но не в Совет Народных Комиссаров. Для этого у них еще не хватало революционности.

А меньшевики и правые эс-эры требовали допущения в Центральный Исполнительный Комитет Советов по... 40 гласных от Московской и Петроградской городских Дум...

И еще особые права Викжелю...

И еще особые права всем тем органам, под которыми был очень зыбкий фундамент, но в которых зато кишмя кишели кадеты, правые эс-эры, меньшевики...

Восстание юнкеров еще более раззадорило и расшевелило все это змеиное гнездо контр-революции...

А вместе с тем и еще более обнаружили себя колебания и сомнения у части членов нашей партии — большевиков...

И в буфете, и в коридорах, и в канцеляриях Смольного можно было теперь услышать эту фразу:

— Надо уступать. Надо соглашаться. Одни мы... едва ли выдержим...

Большинство думало иначе.

А все вместе принимали меры для уничтожения врага теперь уже на двух фронтах...

Но... Керенский опоздал.

А юнкера... поспешили.

Скоро все их захваченные броневики они потеряли.

Поле восстания суживалось каждую минуту, пока юнкера не засели и не забаррикадировались в своем Владимирском училище.

Они вели беспощадный и необычайно меткий обстрел осаждавших и убили не одного пулеметчика внутри наших авто-броневиков.

Тогда заключительное слово было предоставлено артиллерии.

И... над восставшими была поставлена точка.

Но...

Керенский наступает.

Меньшевики и правые эс-эры долбят свое.

Народные комиссары никак не могут овладеть аппаратом министерств...

Вот наверху, в Смольном, собирается фракция ЦИК'а, т.-е. одни большевики без левых «эс-эров»...

Ильича нет. Он чем-то занят. Вероятно, в ЦК, где нет полного единодушия.

Заседание фракции все же открывается...

Рязанов... Он требует соглашения. Всякая иная тактика в этот момент губительна для революции. Да и за чем его посылали для переговоров к меньшевикам и эс-эрам, если фактически дело тянут и не идут ни на какие уступки...

Коллонтай... Для нее соглашение — лучший выход из положения. Народные комиссары висят в воздухе. Из мини-

стерств разбежались все чиновники. Никто с нами не желает работать. Остались одни курьеры.

И так далее. И тому подобное.

Прения прекращены.

Сейчас голосование.

За Рязанова и Коллонтай, пожалуй, будет большинство.

Но тут открывается дверь, и, как тигр, Ильич устремляется к трибуне...

— Нет, позвольте, — протестует оппозиция: — прения прекращены.

Для Ильича прекращены прения!..

Тогда он обращается к собранию.

И фракция дает ему слово.

Ильич возмущен и гневен... среди своих.

Этого мне до сих пор наблюдать не приходилось.

— Я слышал, — начал он, — что некоторые вожди колеблются и готовы пойти на уступки. Но в такой момент, как сейчас, двести надежных матросов для революции важнее, чем двадцать тысяч колеблющихся вождей...

Кто-то подал реплику, что не только Викжель (Всероссийский Исполнительный Комитет Железнодорожников), но и Румчерод (Комитет Румынско-Черноморского фронта) против нас...

— Рум-че-род!.. — убийственно-иронически протянул Ильич: — сам Румчерод против нас!.. Подумайте!.. Но знаете ли вы, что за этими крикливыми болтунами не может быть никакой массы...

— «Бесплодные переговоры», — беспощадно громил он: — Вас «послали»... Да. На то и послали, чтобы вы тянули переговоры, пока мы дело делаем...

Прения кончены и на этот раз окончательно.

Ильич победил, победил сокрушительно, как побеждал он во всем, ибо, как в результате своих бесчисленных бесед с большевиками, с беспартийными рабочими, солдатами, крестьянами, матросами, так и на основании своего гениального чутья он знал действительное настроение и силы подавляющего большинства революционных классов, как знал он и все действительное убожество крикливых и шумливых врагов революции.

А казачий премьер Краснов и атаман демократии Керенский наступают...

И «сам Виктор Михайлович Чернов находится при войсках» — добавляют от себя эс-эровские газеты...

Нас, несколько человек, хотели послать агитаторами на фронт. Но... командировка пока отменена после того, как первая партия агитаторов слишком жестоко пострадала от огня противника...

Вместо фронта меня послали сделать доклад на большом собрании в цирке «Модерн»...

Рабочие и работницы, солдаты, матросы...

Где-то там была неуверенность и колебания.

А здесь — огромная солидарность, глубочайшая убежденность в силе своей, в необходимости полной борьбы и в неизбежности окончательной победы...

В Смольном, в буфете, встретился я с Я. М. Свердловым.

— А вам пора ехать в Царицын, — сказал он: — там теперь вы более необходимы, чем здесь.

— А что в Москве? Можно ли проехать?..

— Идут бои. Ничего определенного...

Ерман, Р. Левин и я начали соображать: нельзя ли вернуться в Царицын не через Москву, а, например, по железной дороге до Рыбинска или до Нижнего, а там Волгой с последними пароходами до Царицына...

Но решили, что этот путь еще ненадежнее, тем более, что и пароходов на низ может уже не быть.

Так едем через Москву!..

Пропускают ли там поезда из Петрограда? — Неизвестно...

Действует ли там вообще станция? — тоже неизвестно.

Знаем только одно, что из Петрограда поезда отходят регулярно. Стало быть, ехать приблизительно можно...

И вот я, Ерман и неизменный Козлов на вокзале.

А Левин еще чем-то задержан в Петрограде.

Очень удобно уселись во втором классе вагона вечернего поезда.

Но поезд, как будто, и не думает отправляться.

Я не успел подкрепиться пищей на дорогу. С собой тоже ничего не взял. Хорошо бы заглянуть в буфет...

Спрашиваю кондуктора:

— Долго ли простоит поезд?

— Не меньше, как двадцать минут...

Отсчитав себе десять минут, я с часами в руках побежал в буфет.

Закусил. Возвращаюсь.

Платформа пуста... Ни пассажиров, ни поезда, ни... кондуктора.

«Да на ту ли платформу я попал?»

Оглядываюсь. Бегаю. Спрашиваю...

Да. Так оно и есть: кондуктор ошибся — поезд укатил на Москву вместе с Ерманом, Козловым и... с моими вещами...

Тогда я опять направился в Смольный...

А там — заседание Центрального Исполнительного Комитета.

Радостное возбуждение... Лучезарные доклады.

Силы Керенского и Краснова разложены и разбиты до основания.

Наши полки и отряды возвращаются в Петроград...

На следующий день, после обеда, Володарский предлагает поехать вместе с ним на Варшавский вокзал и к Зимнему дворцу — встречать возвращающиеся части...

Армейские полки и отряды Красной Гвардии прибыли.

Измученные, голодные, перепачканные в грязи...

Зато — спокойно - уверенные в себе и скромно - торжествующие...

Их направили к Зимнему...

Там с крыши автомобиля мы приветствовали победителей— один от ЦК, другой от ЦИК'а и Совнаркома — кратко, чтобы не задерживать, и... части направились по домам.

А мы поехали на Николаевский вокзал.

Простившись с Володарским, я пошел к поезду. Скоро подоспел и Рувим. Сели мы с ним в одно купе и даже на одну койку вагона второго класса и покатили вслед за Ерманом по направлению к таинственной, загадочной Москве...

Утро. Поезд мчится. Скоро Москва...

Какая Москва? Чья она теперь?

И что творится на станциях? Пропустят ли наш прямой поезд на Саратов?...

Вот и под'езжаем...

Ничего. Спокойно. Тихо. Порядок. По внешнему виду вагонов, складов, платформ и самого вокзала нельзя заметить ничего особенного. Все как обыкновенно, как и всегда.

Будто ничего тут не происходило и не происходит...

Поезд остановился...

И в ту же секунду в коридор вагона влетел газетчик - мальчик и звонким радостным голосом закричал:

— «Социал - демократ»!.. Победа большевиков!.. Кому «Социал - демократ»?.. Полная победа большевиков!..

И полетели по рукам листы скромной, небольшой, но исторически содержательной газеты...

Но через минуту, когда почти все пассажиры уже впились глазами в орган московских большевиков, из соседних купэ пара голосов каких - то по виду интеллигентов, заикаясь и почти шопотом, обратилась к мальчику - газетчику:

— А - а... скажите - е... других газет... н - небольшевиков... у вас нет?

И также громко, также радостно газетчик закричал:

— Больше никаких! Все газеты закрыты!...

И уже где-то за дверями вагона по платформе звенел его голос:

— Полная победа большевиков! «Социал-демократ»!.. Кому «Социал-демократ»?!..

Мы вышли из вагона, прошли вокзал.

Хотели посмотреть на центр города, где шли главные бои. Но трамвай не работал. А извозчик вести отказался:

— Не проедем: улицы перерыты, завалены. Да без особых документов и не пропустят...

Мы вернулись в вагон и ровно в назначенный по расписанию час — поезд покатил дальше.

На нижней полке, под нами, расположились тоже два пассажира: один — военный, казачий эсаул, другой — женщина, знакомая или родственница эсаула.

Когда они сели в Москве, за ними понатаскали в вагон массу вещей — чемоданы, сундуки, ящики. Блестящие, свежие, некоторые в чехлах.

Часть вещей напихали в нашем купэ, а все остальные поставили в коридоре под охраной денщика, который сопровождал казачьего офицера.

Эсаул и пассажирка то говорили громко о погоде и прочих пустяках, то о чем-то тихо шептались между собой...

Мы с Рувимом не обращали никакого внимания на наш нижний этаж и тоже шопотом делились друг с другом впечатлениями...

Когда поезд отошел от Козлова на Тамбов, эсаул вышел в коридор и вдруг забегал, заволновался:

— Весь багаж пропал из коридора, все тяжелые вещи!.. и денщика нет. Он должен был охранять багаж. А теперь и его нет. Видно, он и стащил...

Пассажирка вела себя спокойнее. А эсаул возмущался.

Но нам показалось подозрительным, что беспокоился и волновался он как-то не так, как это обыкновенно бывает с пассажирами, у которых крадут много ценных вещей...

Показалось нам, что и денщика он ругает как-то искусственно и что уж очень скоро успокоился он и, как ни в чем не бывало, опять тихо зашептался со своей соседкой.

Козлов — узловая станция. Одни поезда из тех, которые идут из Петрограда и Москвы, поворачивают тут на Саратов, другие — на Грязи-Царицын и на Грязи-Воронеж, словом по направлению к Донской Области.

И мы скоро остановились на предположении, что есаул отправил с денщиком на Дон какой-то очень ценный груз.

С этого момента мы почувствовали, что на нижней койке, под нами, едут наши злейшие враги. И стали вни-

мательно присматриваться к ним и прислушиваться к их разговорам...

К ночи мы должны быть в Тамбове.

Поезд аккуратно и быстро оставляет за собой одну станцию за другой.

И вот, после одной остановки, когда мы лежали наверху, на своей мягкой полке, вошел в купэ эсаул и говорит довольно громко своей спутнице:

— Сейчас передавали, будто в Тамбове неспокойно, будто население восстало против большевиков и захватило весь город и вокзал...

Эсаул, заметно, почувствовал себя веселее, хотя и старался говорить совершенно спокойно и как будто даже с тревогой.

Зато наше настроение несколько упало.

— А кто говорил вам это? — спрашиваю осторожно эсаула.

— Да там служащие, кондуктор...

Переждав некоторое время, я вышел в коридор.

Все пассажиры о чем-то шептались друг с другом. Очевидно, и они слышали о Тамбове.

Спрашиваю кондуктора вагона:

— Ну, как впереди до Саратова путь свободен?

— Свободен, да. Только вот в Тамбове что-то говорят...

Ничего определенного он не знал, но по всему видно, что в Тамбове, действительно, не все благополучно.

Мы купили последний номер «Известий Тамбовского Совета Депутатов» и старались понять причину слухов. Но ничего особенного уловить мы не могли кроме того, что газета не наша и что в Исполнительном Комитете большинство тоже не наше, какие-то там сидят «общественные деятели» и что даже прежний губернский прокурор играет какую-то заметную роль...

На всякий случай мы припрятали наши документы.

А слухи все ползли и ползли.

Поздно вечером мы улеглись спать. А потом и заснули...

Проснувшись на другой день, мы увидели, что поезд продолжает мчаться.

— Где мы едем? — спрашиваю эсаула.—Тамбов проехали?...

— Да. Проехали.

Итак, слухи оказались слухами. По крайней мере, мы проехали благополучно.

Мы достали наши документы и водворили их по карманам.

Саратов, как мы знали из газет, уже приветствовал переворот в Петрограде. Значит, там у власти большевики, и мы скоро будем среди своих.

Однако, чем ближе к Саратову, тем более определенно и твердо стали говорить и кондуктора и пассажиры, что мы, пожалуй, в Саратов не попадем.

— Почему?

— Саратов с той стороны, с которой идет к нему поезд, обложен казаками. Казаки наступают и, не сегодня-завтра, возьмут город...

Настроение эсаула и его компаньонки опять поднялось, а мы опять попрятали «компрометирующие» нас революционные мандаты.

Я спускаюсь с нашего верхнего этажа, чтобы выйти на площадку вагона и чтобы еще и еще раз с самым равнодушным видом порасспросить кондуктора и всех, кто попадется, о Саратове.

Вдруг спутница эсаула обращается ко мне:

— А мне кажется, будто я где-то вас видела.

— Не знаю. Может быть.

— Вы не из Царицына?

— Нет. Я постоянно живу в Саратове.

— Удивительно похожи. Как ваша фамилия?

— Рождественский.

— Странно...— говорит она и недоверчиво осматривает меня с ног до головы...

Я вышел из купэ и долго не возвращался.

А потом быстро проскользнул к Рувиму на койку.

...Скоро Саратов.

Чем-то все это кончится?..

Стоп!..

И поезд остановился в чистом поле.

Смотрим в окно: траншеи, пулеметные гнезда, солдаты... чьи?..

— Сейчас будет обыск, проверка багажа и документов!— несется по коридору вагона...

Что-то будет?...

Но траншеи и пулеметы смотрят как будто в нашу сторону, навстречу поезду. Ни одного казака.

Группа солдат проходит по вагонам и поверхностно бегло осматривает вещи и оглядывает пассажиров...

Прошли...

И вдруг... поезд тронулся... быстрее, быстрее...

Мелькают пехотинцы в окопах, искусно поставленные вдоль полотна батареи...

Мы — в стране большевиков...

А вот и сам Саратов...

«Сказать нашим про эсаула... Да, впрочем, чорт с ними... Не до них тут...»

И мы поспешили в Губернский Исполнительный Комитет, к Антонову и к Васильеву...

Да, это он — тот самый «губернаторский дом», в котором, после освобождения из тюрьмы, нас с Ерманом так нелюбезно встретили меньшивики и эс-эры...

А вот и он сам «диктатор» — Володя Антонов.

Расхохотался. Расцеловался.

И тотчас кратко, на скорую руку, осветил нам положение.

После переворота в Петрограде меньшевики и эс-эры сгруппировались в Думе, где и громили небольшую фракцию большевиков.

Когда Керенский разослал телеграммы о взятии им большевистского Петрограда, меньшевики и эс-эры устроили звериное торжество на заседании Думы: прочитали телеграмму, вскочили, запели, закричали «ура»... Но фракция большевиков продолжала спокойно сидеть на своих местах.

— Встать, негодяи!... — завопили на них тогда меньшевики и эс-эры...

Потом они решили силой подавить большевиков и расправиться с ними.

И собрали свой штаб и свою вооруженную силу в помещении Думы на Московской улице.

Офицеры, юнкера, гимназисты, реалисты, студенты...

Поставили баррикады. На церкви Михаила Архангела, недалеко от Думы, установили пулеметы.

Тогда и большевики выступили и пошли в наступление. На Соколову гору выкатили артиллерию и начали палить по Думе, да кстати сбили с колокольни благочестивые пулеметы и поставили там же свои.

Окружили Думу, взяли баррикады, при чем одну не только взяли, но даже... с‘ели, так как это были мешки с айвой...

«Демократия» сдалась и прямо из Думы переселилась пленарно в губернскую тюрьму.

Но меньшевики с эс-эрами успели дать телеграмму атаману Оренбургского Казачьего войска полковнику Дутову, с просьбой о немедленной помощи против большевиков.

Дутов сердечно отозвался на мольбу «демократии» и телеграфно приказал 4-й Оренбургской дивизии, расположенной под Саратовом, наступать на город, взять его, навести порядок и очистить от большевиков.

Казаки двинулись к Саратову.

А большевики об‘явили осадное положение, мобилизовали свой могучий гарнизон — пулеметные полки, пехотные, артиллерийскую бригаду, понарыли вокруг города окопы, поставили пулеметы, артиллерию и... стали ждать.

Казаки остановились. Там у них начались какие-то сомнения, колебания. Тогда к ним из Саратова послали делегатов. А потом и казаков пригласили послать от себя людей в город, чтобы убедиться, что в городе полный порядок и что никаких бесчинств нет и в помине...

Командиры приказывали наступать, но казаки, зная также, что город подготовился к решительной обороне, заявили будто-бы начальству:

— Не пойдем. Если хотите, наступайте сами.

А теперь, наконец, выбрали и послали в Саратов делегацию.

И Антонов обратился ко мне:

— Сейчас делегаты приедут на станцию. Поедем вместе с нами.

— Зачем?

— Встретить делегацию на вокзале и привести сюда...

Тогда я посоветывал не ездить, а послать машину и делегацию встретить в помещении Исполнительного Комитета...

В ожидании делегации мы сидели в том самом кабинете, где когда-то, повидимому, принимал своих визитеров губернатор, потом тут восседал губернский комиссар меньшевиков—Д. А. Топуридзе, а теперь это кабинет уже нового «губернского комиссара» большевика-юриста П. А. Лебедева.

О Ермане нам сообщили, что он уже проехал в Царицын.

Узнали мы также тут со слов саратовских железнодорожников, что в Тамбове в эту ночь действительно было восстание: меньшевики и эс-эры, вместе со всей прочей контр.-революцией, захватили Думу, Совет, а также станцию и вокзал, но, видно, уже после того, как наш поезд отошел на Саратов.

От беседы с делегатами Антонов, Васильев, Ковылкин (вождь и новое начальство железнодорожников), да и все саратовцы ожидали очень много: надо было так или иначе покончить с казаками — или убедить их отступить от Саратова и оставить его в покое или... просто прогнать эту дивизию, чтобы она не мешала, так как солдатам и красногвардейцам-рабочим надоело сидеть в окопах и постоянно быть на чеку...

Скоро под'ехала делегация.

Их было девять человек: один эсаул и восемь вахмистров. Рядовых казаков ни одного. Но вахмистры в большинстве — народ не старый и, должно быть, произведены в этот чин из казаков совсем недавно.

Расселись торжественно вокруг стола: мы по одну сторону, они — по другую.

Саратовцы спросили сначала делегатов, чего они собственно хотят, почему они лезут на Саратов и чего им тут надо?...

Делегация об‘яснила, что им приказано наступать, так как-де в городе беспорядок, нет никакой власти и т. д.

Ну, вот тогда-то мы и ударили по ним «очередями» и «залпами» наших речей. Антонов, Васильев, я и другие с богатыми фактами в руках показали им, что такое было прежнее правительство, чего хотели большевики, как произошел переворот в столицах и в Саратове и... что казакам прямой смысл не нападать на нас, а итти вместе с большевиками...

Во время наших речей эсаул недовольно двигался на своем кресле. Зато остальные делегаты впивались глазами в оратора и слушали, слушали, не шевелясь, с громадным интересом и с большим изумлением...

Ясно было, что никогда во всю свою жизнь они ничего подобного не слыхали, а многое им долбили как раз наоборот, и теперь эта ложь командиров и военного начальства так легко и просто разоблачалась.

А мы как раз и целились на то, чтобы окончательно отколоть массу дивизии от командного состава и противопоставить ему...

Под конец делегация заявила, что им на самом деле нет никакого смысла налаживать порядок в городе, который в этом совсем не нуждается, и что они должны поторопиться домой на родину.

А в частных беседах после официального разговора казаки были еще откровеннее.

В вестибюле, уже перед от‘ездом делегатов, ко мне подошел один из них. Мы стояли как раз на том самом место, где два месяца тому назад мой братец эс-эр уговаривал меня и Ермана опять вернуться в тюрьму...

— Все это верно — заявил казак:—это совершенно правильно. Мы теперь пойдем домой и сделаем там то же самое, что сделали вы тут у себя... Нельзя ли, товарищ, получить нам газет и книжек...

Делегатов накормили, напоили чаем, нагрузили большевистской литературой.

Они дружески простились и, довольные, поехали к своим частям...

А скоро под давлением низов, вопреки приказу войскового атамана Дутова, начальство принуждено было обойти с дивизией Саратов, переправить ее через Волгу и повести к родным местам...

Теперь и извне всякая опасность миновала.

И осадное положение было снято...

Мы с Рувимом остановились в той же комнате моей сестры, в квартире Романенко, где жили с Ерманом тотчас после освобождения.

Целыми днями мы бывали в Совете, помогая саратовцам-большевикам.

А когда возвращались домой ночевать, то старательно и всесторонне обдумывали то, что казалось нам теперь самым главным: какая положительная работа предстоит нам теперь и как мы на деле будем проводить социализм?

Рувим был поглощен этой работой всецело. И чем больше он излагал свои планы, и чем старательнее мы обсуждали вопрос, тем более легким и простым казался он нам.

Но на-ряду с этим, не забывали мы и другого:

Революция в опасности. А наш город, пожалуй, — в особенности. Область казачьего Донского Войска тесно прилегает к городу, почти окружает его. А казаки, как это мы уже видели и под Петроградом и под Саратовым — одна из более или менее надежных опор наших классовых врагов.

Потому-то и решили мы, как и Ерман, возвращаться в Царицын не по Юго-Восточной дороге, не по территории Донской Области, а по Рязано-Уральской линии до Саратова, а потом пароходом до Царицына.

Помнили мы также и то, что в корниловские дни уже появлялись враждебные отряды недалеко от Царицына и пытались угрожать ему...

Антонов, Васильев и другие саратовцы убеждали меня остаться у них на постоянной работе.

Работы у них было, действительно, много, работы захватывающей, интересной. Расставаться с друзьями тоже было тяжело... Но... разве можно было не вернуться в Царицын? Разве мы там не более необходимы и не более на месте, чем где бы то ни было?.

Даже Я. М. Свердлов издали оценивал это.

А мы-то знали достоверно...

Нет. Мы должны поехать. Больше оставаться нельзя.

И я просил у саратовцев отпустить нам достаточное количество вооруженной силы и техники для подкрепления Царицына...

Куда там!.. Наши друзья прямо-таки встали на дыбы:

— Вы и так сильны! Знаем. А нам гарнизон необходим.

— Да, ведь, мы, можно сказать, живем на границе. Прежних полков нет. Много нам не нужно, но дайте же нам подкрепление. Гарнизон у вас громадный. А зачем вам теперь такая силища?

Но — договорились таки:

Они отпускают с нами одну батарею полевой артиллерии и пятьдесят пулеметов «Максима» с соответствующими номерами-пулеметчиками.

Один из батарейных командиров, большевик Кучин тотчас из‘явил свою готовность поехать к нам вместе со своей командой и с четырьмя пушками.

Тогда я двинулся в один из пулеметных полков.

Созвал собрание и «кликнул клич».

Я сделал доклад о перевороте, потом рассказал о Царицыне и в заключение предложил желающим немедленно собраться и поехать с нами на пароходе в Царицын.

Чтобы отрезать путь последним колебаниям, какие могли быть, я пулеметчикам об‘явил:

— В Царицыне вас торжественно встретят, мы приложим все усилия к тому, чтобы ни в чем необходимом вы не нуждались...

Добровольцев нашлось и по количеству и по квалификации (по «номерам») вполне достаточно на наши пятьдесят пулеметов.

На следующий же день Кучин со своей батареей и пулеметная команда со своими «максимками» погрузились на большой пароход, и мы торжественно, да к тому же еще в полнейшей безопасности, отчалили от Саратова...

* *
*

Середина ноября. Солнечный осенний день.

На палубе очень прохладно. Но для такой поздней осени все же как-то непревычно тепло.

Показался Царицын.

И мы, царицане, и наши гости впились глазами в бесконечно растянувшийся по высокому берегу Волги город...

Из Саратова мы дали телеграммы. Теперь нас должны встретить и немедленно расквартировать привезенные части...

Перед заходом солнца, когда оно еще ярко освещало и степной берег, и Волгу, и город, наш пароход причалил, наконец, у царицынской пристани.

Но никто к нам не пришел и никто нас не встретил. Тогда мы зазвонили по телефону...

Уже солнце закатилось, и стало совсем темно и по-зимнему холодно, а я все сидел с пулеметчиками на берегу и дожидался, пока последние подводы вернутся из казармы и заберут оставшихся солдат с их оружием и пожитками...

Солдаты были явно разочарованы, так как я же сам наобещал им дружескую встречу и всякие удобства, а на деле не были готовы даже подводы.

Оказалось, нас ожидали: ждали целый день, дежурили на берегу, а потом в отчаянии махнули рукой и уже совсем успокоились...

Наконец-то опять я у себя дома после 40 дней путешествия и всяких событий.

Не успел я отдохнуть, согреться и вообще прийти в себя после долгого, холодного вечера, а уже надо итти на заседание Думы.

Там друзья сообщили, как у них прошли знаменитые последние дни Октября.

Все было тихо, спокойно. Ничего необыкновенного.

Совет послал привет революционному Петрограду.

Рабочие и солдаты встретили восторженно всероссийский переворот.

А меньшевики и эс-эры... не дремали.

Они собрались в Городской Думе и создали Комитет Спасения Родины и Революции...

Но они были так бессильны и жалки, что их даже не тронули. На них просто никто не обратил внимания...

Ерман открыл заседание Думы.

Козлов уже сообщил своим, а Ерман нашим, что мы вместо денег привезли из Петрограда большевистский переворот...

На повестке — очередные вопросы...

Усталый, иззябший, сидел я на своем кресле за столом, пока не позвал меня из зала Казаков, тот самый бывший меньшевик, который в дни казаков и юнкеров так торжественно перешел в нашу партию...

Вид у Казакова конспиративный и полный непонятной тревоги.

Мы пошли в мой кабинет. Зажгли все лампы и плотно закрыли за собою дверь.

Я оглядел с ног до головы Казакова. Его костюм отпечатал на себе следы какой-то недавней и тяжелой физической работы.

— В чем дело? Откуда это вы?

— Прямо с винного склада.

— С винного склада!?. Что же вы там делали?..

— Били посуду со спиртом...

— Зачем?

— У нас ожидается разгром и расхищение склада.

— У нас? В Царицыне!..

— Да.

И он рассказал, что после спиртовых погромов, разразившихся в нескольких городах, поползли и в нашем городе слухи о том, что кто-то собирается громить. Ожили все преступные, уголовные элементы. И даже среди солдат поговаривают о том, что не дурно было бы полакомиться спиртом...

— Так что же вы теперь делаете?

— Мы — ответил Казаков — решили уничтожить спирт. И сегодня начали. Но там такая прорва... По решению Коми-

тета мы пробрались туда только с ведома администрации, тайком от всех. Сегодня весь день били посуду со спиртом. Но пока идут только мелкие шкалики, мерзавчики, полубутылки. Никак не доберешься до ящиков с четвертями. А там их целые горы, да такие все тяжелые. А потом еще в цистернах и баках. Не знаю, как справимся и когда кончим, а надо торопиться и торопиться.

Я так оторвался от обстановки Царицына и так был поражен этим сообщением, что не нашелся ничего более рекомендовать, как одобрить принятый уже Комитетом план, т.-е. и день и ночь без устали уничтожать содержимое склада...

А вечером на следующий день толпы жаждущих алкоголя уже начали окружение крепости-склада. И тут на первом плане — солдаты наших новых 172 и 241 полков... За ними обитатели оврагов и городских трущоб. Наконец, даже рабочие из наиболее отсталых или развращенных старым режимом.

Склад окружен высокой кирпичной стеной. Просто перескочить через стену не так-то легко. Проникнуть можно только через ворота. Но ворота, тоже как у крепости, высокие, из толстых железных прутьев. Красногвардейцы-рабочие очень легко обороняют подступы к воротам...

Но когда стало совсем темно, толпа сгрудилась возле самых ворот. А красногвардейцы отступили за ворота, заперлись там и приготовили пулеметы.

Я прошел через калитку к осажденным и обошел склад.

Посуду еще били, но это было только начало. Под навесами и в закрытых помещениях оставались еще горы нетронутых ящиков.

А толпа уже подступила к самой решетке и начала требовать спирта:

— Выдайте по бутылке на брата! И мы разойдемся...

— Расходитесь! расходитесь по домам!... Или... будем стрелять.

— Стрелять?!. — закричали первые ряды: — А что же тут такого?.. Выдайте по паре бутылок и разойдемся...

Возле самых ворот стоял один солдат громадного роста в расстегнутой шинели.

— Я три с половиной года на фронте был. А вы — стрелять! Что вам жалко дать по четверти на человека...

— Три с половиной года на фронте!.. — отвечаем ему и другим из-за ворот. — Так вот и пошел бы в книжный склад и требуй себе там по книжке на брата... А ты за спиртом. Или ничему больше на царском фронте не научился...

Но толпа гудела все больше и больше, росла и все плотней придвигалась к воротам.

Они не угрожали нам. Но они и не боялись наших угроз. Их больше удерживало пока сознание своего беззакония, чем наши пулеметы с готовыми лентами...

А не выдать ли на самом деле по бутылке или по четверти?..

Но, ведь, это будет только начало, а кончится опять также разгромом...

Или об'явить продажу водки и спирта? Луганская Дума пошла таким путем и собрала порядочные средства. Но этот способ нам казался неприемлемым принципиально.

Стрелять? Пустить по громилам несколько очередей из пулеметов? Но в полках пулеметов больше, чем у нашей Гвардии...

Солдаты, конечно, разбегутся, но тотчас же вернутся со своим оружием. Из них многие и сейчас вооружены винтовками...

Пропаганда?.. Агитация?..

Поздно... Да и не та масса...

Это не наши славные 141 и 155 полки. Они бы навели порядок...

А тем временем Ерман отправился к только что привезенным из Саратова артиллеристам. Эта была наша последняя надежда. Он должен был привлечь артиллеристов к водворению порядка по своему усмотрению.

Но Ермана все нет и нет. И нет его артиллеристов. Должно быть, ничего не получилось...

А толпа нажимает, гудит и требует своего...

Но вдруг осаждавшие дрогнули.

— Казаки! Казаки!!!

Ах, какое это знакомое, магическое слово...

Толпа в тот же миг отпрянула от ворот и рассыпалась по окрестности...

А мы из-за ворот теперь уже отчетливо услышали грузный топот артиллерийских коней.

С шашками на-голо подскакали артиллеристы во главе с Яковом и остановились у ворот.

Порядок восторжествовал. Надолго ли?.. Может быть, окончательно?.

Мы оставили дежурных у ворот, у пулеметов и внутри здания, в конторе, у телефонов.

Мы пошли с Ерманом в бывшую гостиницу «Францию», теперь помещение Совета Депутатов, и я остался там дежурить у телефона.

Справится ли наша Красная Гвардия и батарея? Задержит ли толпу, пока спирт будет уничтожен? Справятся ли б е з полков... нет, хуже того: п р о т и в полков...

Зазвонил телефон:

— Товарищ Минин?

— Да.

— Толпа собралась опять. Того и гляди поломают ворота.

— А где же наша конная артиллерия?

— Артиллеристы скрылись от ворот, под'ехали к задней стене склада, поднялись на седла, перебрались внутрь и теперь нагружаются водкой... Что делать?

Что тут будешь делать?.. Все наши силы и все наши резервы исчерпаны. Теперь не помогут уже ничто и никто.



Б. гостиница «Франция»—большевистский Совет в Октябрьские дни.

— Отоприте ворота,—отвечаю дежурному товарищу.

— Хорошо.

— Уберите пулеметы. И сообщайте, что увидите, каждую минуту...

Тишина. Мрачная тишина...

Телефон опять:

— Вошли... Оглядываются... Бросились во двор... к подвалам...

Я оставался всю ночь в этой маленькой комнатке возле телефона... Там и дремал. Спать не мог. Да и разве можно спокойно спать в этот позорнейший для нашего города момент...

Контр-революционный командный состав полков и всякие прочие подобные политические и уголовные элементы подзадоривали солдат и толкали их на разгром. Кто-то, видно, рассчитывал и на политические результаты. Но солдаты и иные фактические участники разгрома шли определенно за водкой и спиртом, а не за политикой. Тут сказалось и бессмысленное пребывание целых действительно «три с половиной года на фронте», на фронте чужой, кровавой, жестокой войны, и невероятная культурная отсталость массы именно этих полков и проклятое вековое воспитание трудящихся царизмом...

Но... почему это несчастие свалилось и на Царицын? И на наш славный, революционный город?..

Неужели нельзя было этого предупредить?

Может быть, и можно было бы, но пока — вот он позорный и гнусный факт: бесшабашное расхищение и оголтелое, публичное пьянство — у нас вот тут, за полотном, рядом с Юго-Восточным вокзалом и прямо против центра города...

Утром продолжалось то же самое, но только в еще более грандиозных и диких формах.

Политически угрожающего ничего не было. Но к чему это поведет и чем это завершится в конце концов?..

И мы решили в нескольких местах сразу подпалить склад и сжечь его до тла — увы! — со всеми машинами и со всеми ценнейшими техническими приспособлениями, которые можно было бы использовать на каком-нибудь другом, полезном, производстве...

Днем, около полудня, ко мне в Совет явился член Управы, меньшевик Столповский:

— Мы собрались там, и вот меня послали наши к вам. Погром склада угрожает перекинуться на весь город. Пострадаете и вы. Ничего не поделаете: придется теперь вам вступить с нами, меньшевиками, в соглашение.

— То-есть, как! А при чем тут вы-то, меньшевики?..

— Надо действовать общими силами. Но для этого вы должны будете согласиться на уступки...

— Что такое! Какие же это «уступки»?.. Слушайте, уходите-ка вы. Нам некогда сейчас. И не беспокойтесь о городе. Справимся и без вас...

Вот политики! Вот вымогатели...

Банда растаскивает алкоголь и упивается им до потери сознания, до сумасшествия, до самоубийства...

А они — меньшевики — решили, что по этому случаю их акции поднялись в цене, что настал момент урвать кусочек власти.

Подняли голову. Заговорили тоном выше...

И, если бы хоть кто-нибудь, кроме буржуазии, скрывался за их спиной, как организованная сила... А то, ведь, никого и ничего, кроме животного страха, пустой болтовни и чудовищного самомнения...

Клубы дыма и языки ярко-белого пламени взвились над территорией склада...

Я вызвал почтенного Якова Филипповича, который вообще был не прочь выпить и часто по этому случаю «не годился», как мне отвечали по телефону. К моему удивлению, он тотчас явился к Совету, и мы поехали на наш новый «фронт»...

Постройки склада горят в нескольких местах. Все ярче пламя и все гуще и грознее клубы дыма.

Пожар оттесняет жадную, полупьяную толпу, но она не торопится отступать перед огнем.

Красногвардейцы безрезультатно пытаются разогнать бегущих за спиртом.

В подвале одного здания спирт поднялся до колена. И в этой ванне ползают люди и черпают посудой. А тут же рядом плавают трупы бессмысленно погибших...

Со склада на улицу бежит ручей из водки и спирта. Тупые лица с осоловелыми глазами склоняются над ручьем и жадно хватают губами смертоносную жижу...

Но банда все отступает и отступает перед огнем.

И вдруг вырвалось из-под крыши постройки бурное пламя и охватило на момент высоко-поставленный на подмостках громадный бак со спиртом.

— Сейчас взорвется бак!..—закричали красногвардейцы.

Все попятились, но потом опять жадность и одурение взяли свое.

— Надо бы расстрелять бак? А то взорвется и погубит много народу,—спрашивают меня.

Решили расстрелять.

Несколько острых винтовочных пуль скользнули по стенкам бака... Еще... еще... И...—

Почти из-под самого дна бака засвистел и зашипел ярко-огненный фонтан кипучего горящего спирта...

Я поехал в казармы когда-то 141, а теперь 172 полка.

Неужели не смогу созвать солдат, чтобы отогнать эту пьяную толпу и дать складу догореть без расхищения?

В казармах почти никого не было. А кто еще оставался, почти все были пьяны. Я обошел все бараки и вывел за собой... человек двадцать с винтовками.

Увы! по приходе к месту грабежа и пожара и эта последняя опора куда-то растаяла...

Ряды Красной Гвардии тоже поредели — отчасти от усталости, отчасти тоже от разложения и опьянения...

Но зато те красногвардейцы и их командиры, которые остались на постах, работали день и ночь, голодные, усталые и полные негодования на эту звериную картину.

И странно: те из них, кто до сих пор выпивал и подчас очень основательно, теперь не соблазнялись ни каплей спирта или водки и вместе со всеми остальными то уничтожали спирт, то поджигали его, то рассеивали пьяную толпу, волочили под арест хулиганов и, наконец, кроме всего прочего — охраняли город, Совет, Думу, банки...

Пожар и толпа уничтожали с каждым часом содержимое склада.

Но запасы были так огромны, что эта вакханалия могла продолжаться еще несколько дней.

И наконец-то мы додумались. Мы вспомнили...

Удивительно. Почему эта мысль не осенила нас раньше?

Мы призвали всех рабочих и работниц города на демонстрацию.

Если солдаты полков принимали участие в погроме, если разложилась до известной степени и Рабочая Красная Гвардия, то, стало быть... стало быть, и известная часть рабочих была поражена тою же заразой.

Но громадная масса передовых и вообще более сознательных пролетариев и пролетарок смотрели на всю эту историю с омерзением и негодованием.

И рабочая масса потянулась в назначенный час колоннами, со знаменами со всех окраин города и из пригородов...

Грандиозная демонстрация прошла мимо склада и также, как в апреле, сосредоточилась на площади, под балконом Земской Управы, а теперь — помещения Крестьянского Совета...

Демонстрация прикончила безобразие и моментально отрезвила весь город.

Пьяные банды разбежались.

Ворота склада, наконец, заперты.

У ворот и вдоль стен поставили надежный караул.

И тогда все, что осталось от огня и расхитителей, было предано окончательному уничтожению...

Так при помощи темных элементов и по инициативе присланных буржуазным правительством полков неожиданно вскрылся застарелый гнойный нарыв...

Разгромом винного склада Царицын отдал последнюю дань царизму и контр-революции...

* *
*

После переворота с фронтов империалистической войны потянулись по домам части прежней армии — полки, бригады, целые дивизии.

У многих из них Царицын стоял на перепутьи...

Через Царицын, как узел, стали проезжать воинские части по всем трем его железнодорожным линиям — по Владикавказской, Донецкой и Юго-Восточной, — с фронтов Кавказского, Западного, Юго-Западного и других.

Расквартированные в Петрограде казачьи полки держали себя во время переворота нейтрально. Но то было в Петрограде...

И корниловщина и поход Краснова—Керенского на Петроград, и общая отсталость казачьих областей, и, наконец, надежды всех врагов Советов на мелкобуржуазный, казацко-кулацкий, православно - старообрядческий Юго-Восток — Донскую Область, — все это заставило наших рабочих и Совет Депутатов с особым вниманием присматриваться к тем казачьим частям, которых путь должен теперь лежать через Царицын.

Не раз Владикавказский, а особенно Юго-Восточный Комитеты железнодорожных служащих и рабочих будили Ермана и меня среди ночи или ранним утром сообщением, что к Царицыну под'езжает и находится уже очень близко от города какая-то казачья часть, повидимому, контр-революционная и, возможно, с целью нападения на город.

И мы принимали самые срочные меры: ставили на ноги всю нашу вооруженную силу, окружали пулеметами вокзал и подступы к нему, посылали разведчиков...

А для официальной встречи частей посылали представителей и докладчиков...

Ночь. Мороз. Шуршит под ногами сухой снег. Звезды облепили все чистое, громадное, холодное небо.

На тубарете у дверей вокзала стоит большевик и горячо рассказывает о своей партии, о перевороте, о Царицыне.

А перед ним на перроне густая масса солдат или казаков. Они высыпали на приглашение из вагонов и жадно слушают о всех тех событиях и фактах, о которых так мало, так бледно и так скудно знали они в своих частях и на фронте. Потом выступают ораторы и от них...

Приветствия. Пожелания. Клятвы бороться вместе до конца. И... обыкновенно, благодарность царицанам, что так тепло, по-братски встречают возвращающихся по домам.

Так, пока что, все до одной наши тревоги оказывались напрасными и кончались полным братанием рабочих, солдат и казаков.

Но бдительность наша не ослабевала. Наоборот.

После целого ряда напрасных тревог мы стали узнавать через железнодорожные комитеты, благодаря их связи по линиям, уже не о том, что такая-то часть прибыла на станцию или под'езжает к городу и что-де она вызывает опасения. Нет. Теперь мы знали заранее за несколько станций до Царицына, что вот такие-то и такие-то части едут с такого-то фронта и направляются туда-то, а настроение части равнодушное, или нейтральное, или неуверенное, но не вызывает опасений, или, наконец, тревожное.

Наконец, мы создали даже особый военный орган.

19 декабря Исполнительный Комитет утвердил мой проект организации «Штаба Обороны Советов».

Задачи его были намечены такие:

1. Собирание точных и своевременных сведений обо всех воинских частях и вообще вооруженных силах Царицынского района и соседних округов Донской Области, а также о воинских частях, передвигающихся по нашей территории с фронтов.

2. Снабжение революционных организаций оружием.

3. Руководство революционными частями, отрядами и Красной Гвардией и их организация.

4. Боевая оборона Царицына и всех соседних революционных Советов и Комитетов.

Председателем «Штаба Обороны» Исполнительный Комитет утвердил меня.

С того же вечера закипела наша работа.

И с того же вечера начало оформляться «разделение властей».

Яков Ерман постепенно превратился в руководителя всей гражданской работы, а я стал специализироваться в «обороне» и потом целиком погрузился в совершенно неизвестное мне до тех пор военное дело.

Царицын не только крупный железнодорожный, но, понятно, также и телеграфный узел.

Кроме железнодорожного телеграфа мы пользовались теперь для наших целей и «правительственным». По нему мы сносились не только с Петроградом, но и с близлежащими пунктами, с их Советами, Исполнительными, Революционными и Партийными Комитетами...

И вот, присматриваясь теперь более внимательно к телеграфной машине, наши товарищи, члены партии из почтово-телеграфных служащих, обратили внимание на одно очень важное и странное обстоятельство: через царицынскую контору, через наш пролетарский революционный центр, посылаются и передаются депеши явно контр-революционного содержания. Особенно бросались в глаза телеграммы окружного атамана

Второго Донского округа Донской Области — Максимова. Второй Донской округ граничил с Царицыным и его уездом. Резиденция Максимова — кулацко-казацкая станица Нижне-Чирская. По Второму округу проходят большие куски Донецкой и Юго-Восточной железно-дорожных линий. При чем станции—и они же станицы—по юго-восточной линии особенно далеко расположены от окружного центра, таковы: Арчеда, Качалинская и другие.

С этими-то станицами-станциями и сносился атаман Максимов через нашу почтово-телеграфную контору. Депеши были адресованы к станичному и военному казачьему начальству и командному составу. А содержание телеграмм это — набор и мобилизация частей и отрядов с очевидной целью борьбы против революции и, в частности, против нашего города.

Нашему изумлению не было конца.

И мы тотчас же предложили телеграфу впредь подобные депеши не передавать по адресам, а задерживать и направлять в наш Исполнительный Комитет.

Однако, не тут-то было...

Подавляющее большинство почтово-телеграфных чиновников заявило, что они по самому положению своему обязаны передавать по назначению все, что посылают граждане по почте или по телеграфу.

Одновременно чиновники, враги переворота, начали усиленно сношения с подобными же группами в Саратове и в Астрахани, в Москве, Воронеже, Тамбове, Ростове...

Никакие наши убеждения и приказы на чиновников не действуют!

Странно! На кого же рассчитывает, по крайней мере в нашем городе, эта ничтожная группа старых, заскорузлых рабов?..

Разумеется, их тотчас же поддержали и меньшевики и эс-эры, торгово-промышленные и банковские служащие.

Но, ведь, это же все пустяки. Это не опора. И не спасут также почтово-телеграфистов-царицан ни их компании по другим городам, ни весь их союз...

Тем не менее бойкот распоряжений Совета продолжается...

Началось это в середине декабря и тянется вот уже несколько дней...

Тогда пришлось прибегнуть к силе.

В глубокой тайне подготовили мы отряд красногвардейцев и наметили комиссаров для конторы. Около 12 часов дня отряд, во главе с комиссарами, внезапно появился в конторе и занял все выходы. Наши представители заявили, что теперь в кон-

торе и на телеграфе будут дежурить комиссары, что ни одно отправление не может совершиться без санкции дежурного комиссара и что вообще все распоряжения власти должны исполняться точно и беспрекословно.

Затем предложено было всем оставаться на своих местах и продолжать работу.

Чиновники на местах остались, но потом, во главе с начальником конторы, бросили работу и в контору не являлись.

Так начался первый и последний в нашем городе саботаж.

Чиновники — одни сидели под арестом, другие — по домам, третьи—бегали по городу и будировали в свою пользу общественное мнение и требовали у сочувствующих подмоги, а некоторые, наконец, бежали «за-границу», в соседнюю «державу» и взмолились о помощи у самого атамана Максимова.

А атаман оказался не из трусливых и... вдруг вызывает к проводу представителя нашего Совета.

Мы тоже не прочь были вести переговоры «со всеми народами и их правительствами».

И Яков Ерман отправился на телеграф.

Однако, разговор их был очень краток:

— На каком основании вы преследуете мирных тружеников? — грозно запрашивает атаман.

— Это не ваше дело, — отвечает Ерман.

— Я требую, чтобы вы дали им свободно работать, — волнуется атаман.

— Мы так будем поступать со всеми контр-революционерами, — горячится и Ерман.

— Тогда я приду и силой заставляю вас подчиниться, — гремит по проводу атаман.

— Попробуйте. И не такие нам не страшны, — заканчивает Яков дипломатические переговоры.

Но «атаманы Максимовы» нашлись и в нашем городе.

Они обличали «насилие», клялись «демократией», защищали «мирных тружеников» и грозили нам... собственного изобретения фантазиями.

К почтово-телеграфной конторе примкнула почти целиком и городская и телефонная станция.

Но телефон для нас не имел такого значения, как почта и телеграф. Да и замену там произвести было гораздо легче. А потому было отдано распоряжение: оставить двух телефонисток-товарищей, а всех «барышень» уволить немедленно, подобрать нашим телефонисткам надежных учениц и срочно обучить их. Выключить все частные телефоны и работать только на самых необходимых.

И телефон тотчас же заработал — сначала медленно и с перебоями, а потом все быстрее и точнее.

Иную тактику пришлось применять к саботажникам, более квалифицированным.

Чтобы положить конец саботажу почтово-телеграфной конторы, заклеймить его защитников и чтобы подрезать в корне охоту и впредь к подобному содействию казачьим полковникам и атаманам, было об'явлено «чрезвычайное заседание Совета Депутатов» с участием представителей всех партий, всех профессиональных союзов, фабрично-заводских комитетов и прочих рабочих организаций, а также с участием представителей Красной Гвардии и всех воинских частей.

К назначенному часу громадный зал театра «Парнас» был полным полон приглашенными, так как вопрос о саботаже волновал и тревожил весь город.

Это — собрание подлинной демократии.

На-лицо целых 65 организаций!..

В том числе и те, кого мы обвиняли, а также и те, кто выступал их адвокатами...

«Чрезвычайное заседание» началось информационным докладом Исполнительного Комитета.

Это же был и «обвинительный акт».

— «При царе, — говорит докладчик — при самодержавии на почте и телеграфе царские жандармы устанавливали свои порядки — против революционеров, против рабочих и крестьян, и... почтово-телеграфные чиновники мирились с этими порядками, не протестовали против них... На царское, дворянское самодержавие они работали...

«Но вот совершился величайший в мире переворот: рабочие вместе со всеми трудящимися стали у власти, об'явлен мир всему миру, а крестьяне, веками дожидавшиеся от царя, а потом от „социалистов" земли и целые века боровшиеся за нее, получили, наконец, землю. И что же! Царские чиновники почты и телеграфа отказались передать крестьянам и рабочим эти радостные вести.

«Наоборот, они задерживали и уничтожали нашу революционную печать, а по телеграфу сообщали во все концы нашей страны лживые измышления Краснова и Керенского о подавлении революционной пролетарской столицы...

«А теперь. У нас... Вместо того, чтобы оберегать наш город, они спокойно, тайком передавали военные приказы казачьих атаманов об организации военных сил против революции, против рабочих, крестьян и рядовых казаков, против нашего же города...

«Совет запретил им. Но чиновникам, очевидно, приятнее выполнять приказы царских жандармов и служить буржуазии, помещикам и генералам, чем подчиняться власти рабочих и всех трудящихся. Они начали саботаж. Они не подчинились поставленным комиссарам. Мало того: они послали представителей — пожаловаться на нас казачьему атаману, который и обрушился на нас нелепыми угрозами...

«Вот смотрите. Слушайте...»

И докладчик огласил переданные чиновниками военные контр-революционные телеграммы.

Ропот негодования пронесся в зале...

Тогда начали выступать представители партий и всех прочих организаций...

В громадном напряжении «чрезвычайное заседание» длилось несколько часов.

На трибуну, в порядке записи, выходили представители всех до одной организации города — целых 65 ораторов.

И из этих 65 только 4 прямо или косвенно поддержали саботаж и защищали чиновников.

Это были представители эс-эров, меньшевиков, торгово-промышленных и банковских служащих.

Все остальные—61 организация—через своих представителей сурово заклеймили саботаж, как предательство и преступление...

В заключение, поздно ночью «чрезвычайное заседание» вынесло свое решение:

«Дать саботажникам срок — одну неделю, до 27 декабря. Не ставшие к этому дню на работу должны быть уволены со службы навсегда.

«Произвести переназначения ответственных работников почты и телеграфа и вообще установить в конторе необходимый революционный порядок.

«Привлечь к суровой ответственности руководителей саботажа.

«Одобрить все действия Исполнительного Комитета по борьбе с саботажем...»

При всем этом строгом решении чиновникам давался новый срок. Ибо все прекрасно понимали высокую квалификацию работников почты и телеграфа и знали, что заменить их далеко не везде будет легко.

Но в то же время собрание давало санкцию, в случае необходимости, действовать, не считаясь ни с какими препятствиями.

К 27 декабря часть саботажников стала на работу, часть продолжала саботаж, а некоторые уже были уволены и даже

арестованы. Тогда все неявившиеся были об'явлены отстраненными, а вместо них были выдвинуты работники низших квалификаций. А во главе конторы был поставлен, как ее главный комиссар, большевик-почтальон И. М. Морозов.

Итак, работа на почте и телеграфе возобновилась.

Однако, большинство телеграфных аппаратов пока еще молчали, так как саботаж центральных и окружающих Царицын передаточных пунктов продолжался...

На многочисленные вызовы с нашей стороны время от времени начинали отвечать и Воронеж и Саратов и Тамбов... Но как только соседи почувствуют наш новый порядок и наших комиссаров, опять выключаются и замолкают их аппараты...



И. М. Морозов.

* *
*

Так кончился наш бурный, полный переворотами 1917 год.

И это не просто календарное окончание одного года и календарное же начало другого.

Нет. Конец декабря 1917 года это — не только формальное округление старого года, но и подлинное завершение короткого по времени, но богатого по содержанию и единого по сути периода в истории Царицына...

Кто бы мог подумать в январе или кто мог бы предсказать даже в феврале, что за предстоящие десять месяцев Царицын — этот молодой город и отсталый в революционном отношении пролетарский центр—не только не отстанет от российских переворотов, как отстал он в 1905—6—7 годах, но быстро испытает и пройдет все классовые режимы, все политические диктатуры и раньше, чем многие и многие старинные пролетарские центры, завоюет тот политический режим, ту пролетарскую диктатуру, которая к концу года утвердится во всей стране...

С конца августа—начала сентября в Царицыне бесповоротно утверждается власть Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.

На перевыборах Советов и на демократических выборах в Городскую Думу рабочий класс, крестьяне и солдаты передают окончательно руководство политическое, а, стало быть,

военное, экономическое и культурное в руки организации партии большевиков.

Разгром и уничтожение винного склада и саботаж почтово-телеграфных чиновников были последними внутренними болезнями города. Но и эти болезни, эти нарывы к окончанию года вскрыты и прижжены каленым железом.

И теперь ни внутри города, ни в ближайшем районе налицо нет ни одного препятствия, нет ни одной враждебной силы, которые смогли бы не только уничтожить, но хотя бы надломить пролетарскую диктатуру в Царицыне, которые смогли бы помешать процветанию города и его района при новых, никогда небывалых, совершенно исключительных и необыкновенно благоприятных условиях...

И в этом отношении знаменателен последний день 1917 года 31 декабря. Это как бы ключ к тому положительному творчеству, которое теперь ожидает Царицын, и это как бы начало реального, фактического ответа на тот вопрос, который задали на докладе о «Царицынской Республике» в Москве:

«Какие социалистические мероприятия вы уже провели?..»

Ибо в этот день, 31 декабря 1917 года, было в городе конфисковано и национализировано первое крупное промышленное предприятие — громадный лесопильный завод Максимова.

Владелец завода бросил свое дело и бежал в Ростов.

Рабочие и служащие завода остались без денег и без всякого хозяйственного руководства. И они обратились за помощью к Совету.

Тогда Совет об‘явил завод государственным, взял на себя руководство предприятием и, таким образом, положил прочное начало своему социалистическому строительству.

Однако, не менее знаменательным оказался и предпоследний день этого года — 30 декабря, но уже совершенно в ином роде:

В этот самый день в политическом центре Донского Казачьего Войска, в Новочеркасске, на заседании Войскового Круга казачий атаман генерал Каледин заявил, что город Царицын — очень важный во всех отношениях пункт и что поэтому самому он должен быть присоединен к территории Области Войска Донского.

И на Царицын был об‘явлен поход...

А, стало быть, и этот день — 30 декабря 1917 года — тоже является как бы ключом к тому, что теперь ожидает Царицын и что сделает его узлом событий, весьма важных не только уже для самого города, или для Саратовской губернии, или для «Казанского военного округа», но для громадной тер-

ритории Юго-Востока и даже, в значительной степени, для всей Республики Советов.

Ибо за «шестью диктатурами» 1917 года последовали не только энергичное и глубокое развитие социалистического хозяйства внутри города, но и «шесть окружений-осад» Царицына в 1918—1919 годах.

Харьков.
Крым: Симеиз-Мисхор.

С.С.С.Р. Институт Ц.И.К.

Оглавление.

9238

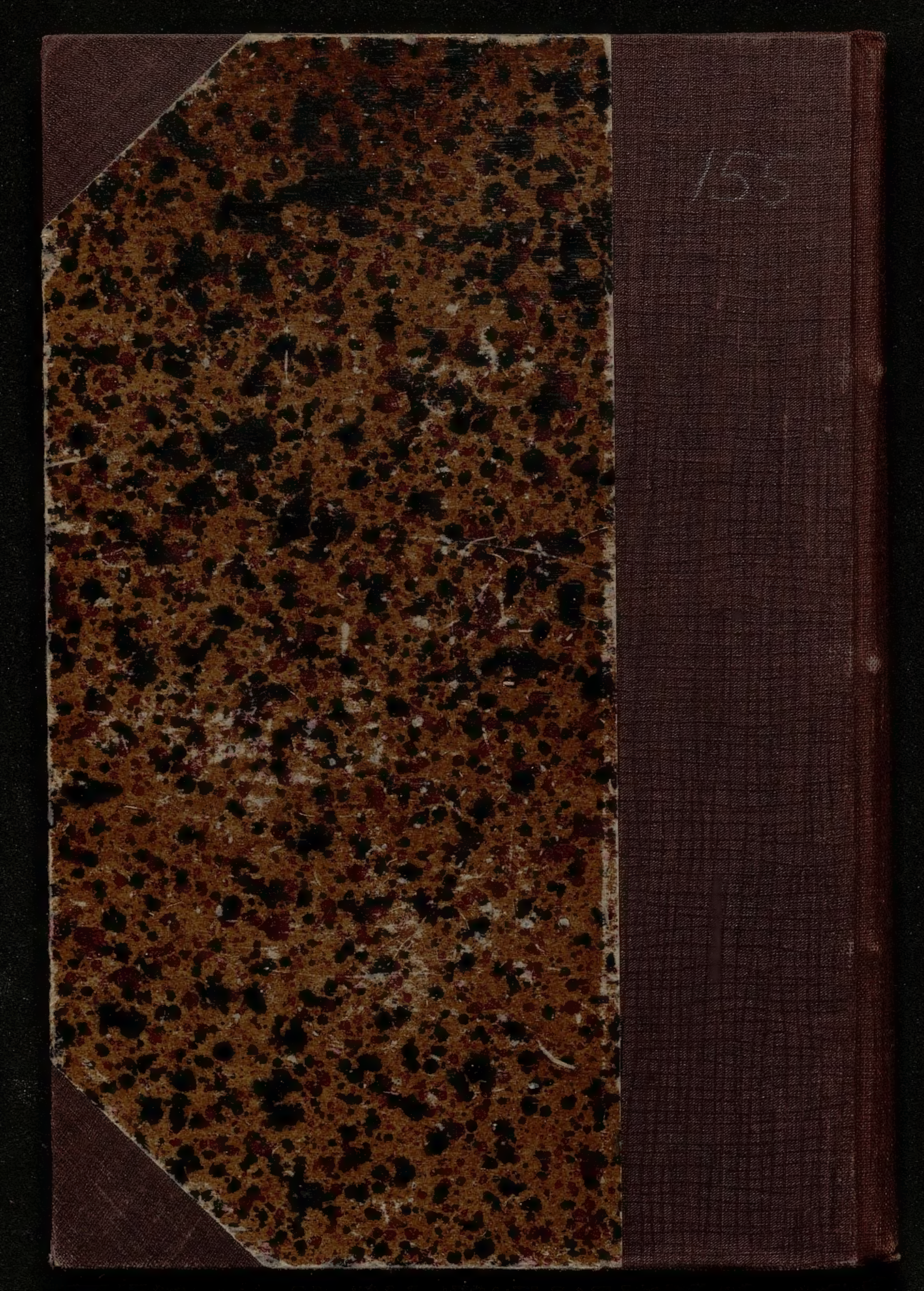
Цена 1 р. 10 к.



СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ:

Ленинград: просп. 25 Октября, 52, магазин „Книжные Новинки". Телеф. 5-45-77

Москва: Московское отд. изд-ва „ПРИБОЙ", Лубянский пассаж, №№ 47, 48, 49. Телеф. 2-24-09


153